



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

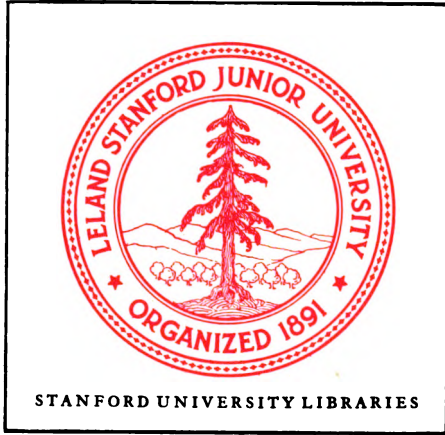
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG
3356
Z42
v. 3

9

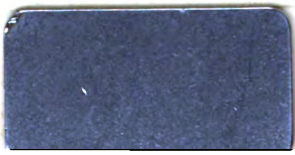
3. 13



ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

3558.				
			лик. 7/1	
Проверено				
ГОВ				

№ 74. БЦК Книгоцентра



Проверено
год

С. И. СТЕПАНОВ
№ 12
1912

PG 3356

Z42

v.3

Проверка 1932 г.

ПРОВЕРЕНА

Провер. 1932 г.

XV
251354
РУССКАЯ

8(с)
3.49 3-494
Фил. зал

№ 35 г.

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

А. С. ПУШКИНА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

СОСТАВИЛЪ

В. Зелинский.



МОСКВА.

Типографія Э. Лисснера и Ю. Романа, Арбатъ, д. Платонова. 1888.



ПЕЧАТ

1955

7HE34
3-49

КАМНЕТ
ПЕЧАТК.
№ 3558
Филологич. ф-та МГУ

КРИТИКА ТРИДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

1830 г.

*) *Евгеній Онгинъ*. Сочиненіе Александра Пушкина. Спб. Въ т. Деп. Народн. Просв. 1830. 57 стр. in 12.

Стихотворенія А. С. Пушкина въ нашей Литтературѣ можно уподобить сѣверному сіянію среди мрака полярныхъ странъ. Они какъ бы показываютъ, что мы еще не совсѣмъ умерли, не совсѣмъ оледенѣли для поэзіи, въ глубокомъ снѣ поэтическихъ силъ нашихъ, которыя растутъ и, можетъ быть, еще съ большею прочностью развиваются для будущихъ поколѣній, покрытыя снѣгами и ледяными холмами. Наши, нынѣ мертвыя, поля поэзіи воскреснутъ для жаркаго лѣта, или, чего еще усерднѣе желаемъ мы, отойдутъ къ климатамъ болѣе благораствореннымъ, и будутъ въ мірѣ поэзіи представлять то же, что въ политическомъ мірѣ представляетъ нынѣ Британія, нѣкогда бывшая театромъ буйныхъ дикарей, Скотовъ и Бритовъ. Среди нынѣшнихъ нашихъ льдовъ и снѣговъ, или, если угодно, среди нашихъ Скотовъ и Бритовъ, Пушкинъ есть явленіе утѣшительное. Жалѣемъ объ одномъ: зачѣмъ столь блестящее дарованіе окружено обстоятельствами самыми неблагоприятными? Освободиться отъ нихъ очень трудно, если не ~~совсѣмъ~~ невозможно. Будь Пушкинъ въ такой Литтературѣ, въ такомъ обществѣ, гдѣ все перечувствовано, все объяснено, все, что обстоятельства заставляютъ его вносить въ свою поэзію: онъ сталъ бы на весьма высокой степени. Конечно, Байронъ не увлекъ бы съ собою ~~всѣхъ~~; если бы онъ выражалъ только то, что соотечественникъ его читаетъ въ Шекспирѣ, или чувствуетъ въ Парламентѣ, или презираетъ въ собраніяхъ *fashionables* и на шумныхъ сборищахъ Лондонской черни. Но у насъ все

*) „Московскій Телеграфъ“ 1830 г., часть 32.

это ново, все это насъ поражаетъ, какъ поражаютъ дѣтей всеневныя дѣянiя людей взрослыхъ. Мы еще дѣти и въ гражданскомъ быту и въ поэтическихъ ощущенiяхъ. Пушкинъ же можетъ освободиться отъ Русскихъ чувствъ при взглядѣ на жизнь общественную, и потому-то онъ кажется такъ слабъ въ сравненiи съ Байрономъ, изображавшимъ въ нѣкоторыхъ сочиненiяхъ своихъ то же, что представляетъ намъ Пушкинъ въ Онѣгинѣ. «Гостинныя, дѣвы и модники, герои деревень, городовъ и баловъ! Какой подвигъ взглянуть на нихъ сардонически!» Вотъ господствующая мысль въ *Онѣгинѣ*, которую можетъ быть и самъ творецъ сего романа худо объясняетъ себѣ, ибо иначе онъ увидѣлъ бы, что тѣсниться вокругъ нея въ семи стихотворныхъ главахъ — утомительно и для него и для читателей. Первая глава Онѣгина и двѣ-три, послѣдовавшiя за нею, нравились и плѣнили, какъ превосходный опытъ поэтическаго изображенiя общественныхъ причудъ, какъ доказательство, что и нашъ гордый языкъ, наши *Московитскiя* кувлы могутъ при отзывахъ поэзiи пробуждаться и составлять стройное, гармоническое цѣлое. Но опытъ все еще продолжается, краски и тѣни одинаковы, и картина все та же. Цѣна новости исчезла — и тотъ же Онѣгинъ нравится уже не такъ какъ прежде. Надобно прибавить, что поэтъ и самъ утомился. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 7-й главы Онѣгина онъ даже повторяетъ самъ себя. Укажемъ, для примѣра, на описанiе зимы, на измѣнчивость чувствованiй, на памятникъ Ленскому, подъ которымъ даже и *лапотъ* плететь, можетъ быть, тотъ же мужикъ, который игралъ роль въ 6-й главѣ. Сверхъ того, нельзя указать на рѣшительныя повторенiя, но перевернутыхъ и вмѣстѣ одинаковыхъ намековъ и мыслей есть довольно.

Высказавъ все злое о 7-й главѣ Онѣгина, мы съ удовольствiемъ замѣтимъ, что прелесть стиховъ въ оной, во многихъ мѣстахъ сила мыслей и поэтическiя чувствованiя показываютъ неизмѣнность дарованiя Пушкина. Кто-то сказалъ, что *Евгенiй Вельскiй* есть то же, что *Евгенiй Онѣгинъ*. Необдуманно сказано! Евгений Вельскiй доказываетъ только то, какъ трудно подражать Пушкину: *Вельскiй* вздоръ, а *Онѣгинъ* поэзiя. — Этого мало: какой-то — видно умный и благонамѣренный человекъ! — торжественно возгласилъ, что въ *Телеграфѣ* печатаются пародiи на стихотворенiя Пушкина. Не угодно ли Г. Возглашателю указать хоть на одну пародiю? Или не угодно ли ему самому написать пародiю, напримѣръ, на Онѣгина? А мы отказы-

ваемся отъ этого, ибо до сихъ поръ еще не замѣтили въ Пушкинѣ тѣхъ сторонъ, которыя могли бы отражаться въ зеркалѣ насмѣшки. Если въ *Телеграфѣ* и печатаются пародіи, если въ нихъ и узнаютъ своихъ дѣтищъ нѣкоторые поэты, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы тамъ же были и пародіи на Пушкина. Для пародіи надобна какая-нибудь странность, нелѣпость, что-либо смѣшное, составляющее главный характеръ пародируемаго автора — тогда его завербуютъ насмѣшники. А что Г. Возглашатель находитъ страннаго, нелѣпаго или смѣшнаго въ стихотвореніяхъ Пушкина?

Въ 7-й главѣ *Онъгина* есть еще одинъ недостатокъ, случайный. Большая часть ея состоитъ уже изъ напечатанныхъ и слѣдственно извѣстныхъ публикѣ отрывковъ. Кромѣ того, что не весело встрѣчать въ новой книгѣ старое, это показываетъ, и показываетъ неоспоримо, что Онъгинъ есть собраніе отдѣльныхъ, безсвязныхъ замѣтокъ и мыслей о томъ о семъ, вставленныхъ въ одну раму, изъ которыхъ авторъ не составитъ ничего, имѣющаго свое отдѣльное значеніе. Онъгинъ будетъ поэтическій Лабрюеръ, рудникъ для эпиграфовъ, а не органическое существо, котораго части взаимно необходимы одна для другой.

Не въ подкрѣпленіе сказаннаго нами, а просто для угожденія читателямъ нашимъ, выписываемъ изъ 7-й главы изображеніе кабинета Онъгина. Вотъ оно:

Татьяна взоромъ умиленнымъ
 Вокругъ себя на все глядитъ,
 И все ей кажется безцѣннымъ,
 Все душу томную живить
 Полумучительной отрадой:
 И столъ съ померкшею лампадой,
 И груда книгъ, и подъ окномъ
 Кровать, покрытая ковромъ,
 И видъ въ окно сквозь сумракъ лунной,
 И этотъ блѣдный полусвѣтъ,
 И Лорда Байрона портретъ,
 И столбикъ съ куклою чугунной,
 Подъ шляпой, съ пасмурнымъ челомъ,
 Съ руками сжатыми крестомъ.

Это напоминаніе о Наполеонѣ показываетъ необыкновенное чувство поэтическое. Наполеонъ, какъ оживленный символъ и какъ странное, въѣвское проявленіе могущества человѣческаго и вмѣстѣ слабости,

оазисъ, окруженный песками современнаго ему, долженъ былъ найти мѣстечко въ кабинетѣ Онѣгина, вѣровавшаго въ одно то, что среди людей выходитъ изъ границъ обыкновенныхъ явленій.

И долго плакала она.
 Потомъ за книги принялася;
 Сперва ей было не до нихъ,
 Но показался выборъ ихъ
 Ей страненъ. Чтенью предалася
 Татьяна жадною душой —
 И ей открылся мѣръ иной.
 Хотя мы знаемъ, что Евгенийъ
 Издавна чтенье разлюбилъ,
 Однако жъ нѣсколько твореній
 Онъ изъ опалы исключилъ:
 Пѣвца Манфреда и Жуана,
 Да съ нимъ еще два-три романа,
 Въ которыхъ отразился вѣкъ,
 И современный человекъ
 Изображенъ довольно вѣрно...

Замѣтивъ выше сего, что *Русскія чувстваванія* Пушкина не достигаютъ высоты Байроновскихъ ощущеній, мы тѣмъ болѣе убѣждаемся, что если бы при своемъ великомъ искусствѣ писать стихи, и при своемъ поэтическомъ взглядѣ на предметы, нашъ поэтъ перешелъ въ Русскій мѣръ, углубился въ отечественное, родное ему, то онъ сдѣлался бы высокимъ, оригинальнымъ поэтомъ. Залоговъ для исполненія сего у насъ довольно, и для осуществленія нашихъ желаній, для пользы Словесности нашей и для бѣльшей славы Поэта нужна только одна твердая воля его. Неужели благимъ желаніямъ и искреннему упованію суждено никогда не осуществиться?

* * *

*) Чтеніе седьмой главы Онѣгина такое же производитъ надъ нами дѣйствіе, какъ зрѣлище нѣкогда милыхъ намъ мѣстъ, но уже оставленныхъ тѣми особами, которыя ихъ одушевляли. Прелесть ихъ не измѣнилась: но мы, разсматривая ихъ, напрасно хотимъ воскресить въ душѣ тѣ чувстваванія, которыми наполнялась она въ прежнее время. Авторъ до таковой степени совершенства довелъ искусство

*) „Литературная Газета“ 1830 г. томъ I, № 17.

свое, что читатель, пока еще не успѣетъ замѣтить поэтическаго обмана въ произведеніи, можетъ быть, станетъ мысленно укорять поэта въ недоконченности цѣлой картины. Но это самое впечатлѣніе, это желаніе перемѣны въ чувствованіяхъ и неудовлетворительность надеждъ, есть верхъ искусства художника. Власть его надъ нами столь сильна, что онъ не только вводитъ насъ въ кругъ изображаемыхъ имъ предметовъ, но изгоняетъ изъ души нашей холодное любопытство, съ которымъ являемся мы на зрѣлища постороннія, и велитъ участвовать въ дѣйствіи самомъ, какъ будто бы оно касалось до насъ собственно. Всѣмъ извѣстенъ анекдотъ о Королѣ, который бывалъ недоволенъ собою, слушая своего проповѣдника. Онъ можетъ служить объясненіемъ и подтвержденіемъ нашего замѣчанія.

Отъѣздъ Онѣгина и Ольги, двухъ лицъ, которымъ бы мечта-тельница наша желала посвятить всю жизнь свою, такую грусть поселилъ въ душѣ Татьяны, что общимъ характеромъ всей седьмой главы стало что-то меланхолическое.

И въ одиночествѣ жестокомъ
Сильнѣе страсть ея горитъ,
И объ Онѣгинѣ далеко
Ей сердце громче говоритъ.
Она его не будетъ видѣть:
Она должна въ немъ ненавидѣть
Убійцу брата своего;
Поэтъ погибъ... но ужъ его
Никто не помнитъ; ужъ другому
Его невѣста отдалась.
Поэта память пронеслась,
Какъ дымъ по небу голубому.

Чувство унынія еще сильнѣе овладѣваетъ душою Татьяны, когда она узнаетъ, что должна сама оставить деревню и на зиму переселиться въ Москву.

Вставая съ первыми лучами,
Теперь она въ поля спѣшитъ
И, умиленными очами
Ихъ озирая, говоритъ:
Простите, мирныя долины,
И вы, знакомыхъ горъ вершины,
И вы, знакомые лѣса;

Прости, небесная краса,
 Прости, веселая природа;
 Мнѣню милый, тихій свѣтъ
 На шумъ блистательныхъ суетъ...
 Прости жъ и ты, моя свобода!

Очеркъ Москвы и тамошнихъ увеселеній представляетъ новый образецъ удивительной легкости, съ какою авторъ можетъ переходить отъ предмета къ предмету и, не измѣняя одному главному тону, разнообразить свое произведеніе всѣми волшебными звуками. Особенно благородная сатира есть такое орудіе, которымъ онъ дѣйствуетъ съ высочайшимъ достоинствомъ своего искусства. Странность, порокъ, ошибка, слабость, всѣ они замѣчены поэтомъ въ духѣ нашего времени, а частно въ томъ или другомъ лицѣ, такъ что, не оскорбляя ни чьей личности, онъ приноситъ пользу цѣлому поколѣнію. Но этотъ предметъ одинъ требуетъ разсмотрѣнія самаго обширнаго. Онѣгинъ даетъ къ тому поводъ удобный и примѣръ наставительный.

* * *

*) Есть пословица: *куй желѣзо, пока горячо*; если бы талантливый А. С. Пушкинъ постоянно держался этой пословицы, онъ не такъ бы скоро проигралъ въ мнѣніи читающей публики, и, можетъ быть, еще до сихъ поръ *не спалъ бы съ голоса*. Написавши *Руслана и Людмилу*, прекрасную маленькую поэмю, онъ вдругъ вошелъ, какъ говорится, въ славу, которая росла съ каждымъ новымъ произведеніемъ сладко-гласнаго пѣвца до самой Полтавы; съ Полтавою она, не скажемъ, пала, но *ослаась*, и съ тѣхъ поръ уже не подымается вверхъ. Что далѣе будетъ, не извѣстно; но послѣднее произведеніе Музы А. С. — *седьмая глава Евгения Онегина*, предвѣщаетъ мало добра. — Если бы зналъ А. С., съ какою горестію произнесли мы этотъ приговоръ!!! Творецъ *Руслана и Людмилы* общалъ такъ много, а исполнилъ?... Онъ еще въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ; онъ могъ подарить насъ произведеніемъ зрѣлымъ, блистательнымъ, и — подарилъ *Седьмою главою Онегина*, которая ни содержаніемъ, ни языкомъ не блистательна.

*) „Галатея“ 1830 г., часть 13, № 14.

Въ 7-ю главу Онъгина втиснуть почти цѣлый годъ романическихъ произшествій, но въ этихъ произшествіяхъ вы почти никакого дѣйствія не найдете. Съ самаго начала описывается весна, и описывается не отлично:

Гонимы вешними лучами,
 Съ окрестныхъ горъ уже снѣга
 Сбѣжали мутными ручьями
 На *потопленные* дуга.
 Улыбкой ясною природа
 Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года;
Синья блестятъ небеса.
 Еще *прозрачные* лѣса
 Какъ будто *пухомъ зеленѣютъ*.
 Пчела за данью полевой
 Летитъ изъ кельи восковой.
 Долины *сожнутъ* и пестрѣютъ;
 Стада шумятъ, и соловей
 Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей.

Во II и III-мъ стансѣ поэтъ говоритъ о себѣ самомъ; такихъ отступленій у него много и въ первыхъ шести главахъ. III-ій стансъ ярко бросается въ глаза своею *логическою* и *словесною* пестротой, а потому мы и не можемъ не выписать его.

III.

Или не радуясь возврату
Погибшихъ осенью листовъ,
 Мы помнимъ *горькую* утрату,
 Внимая *новый шумъ* лѣсовъ;
 Или съ природой оживленной
 Сближаемъ душою смущенной
 Мы *увяданье* нашихъ лѣтъ,
Которымъ возрожденья нѣтъ?
 Быть можетъ, въ мысли намъ приходитъ,
 Средь поэтического сна,
 Иная старая весна,
 И въ трепетъ сердце намъ приводитъ
 Мечтой о дальней сторонѣ,
 О чудной ночи, о лунѣ...

Далѣе сочинитель Романа приглашаетъ въ деревню на весну добрыхъ лѣнивцевъ, эпикурейцевъ-мудрецовъ, равнодушныхъ счаст-

ливцевъ, агрономовъ, деревенскихъ Пріамовъ (?), чувствительныхъ дамъ и читателя:

И вы, читатель благосклонный,
Въ своей коляскѣ *выписной* (?),
Оставьте *градъ неугомонный*,
Гдѣ веселились вы зимой;
Съ моею музой своенравной
Пойдемте слушать шумъ дубравной

туда, гдѣ, еще недавно жилъ Евгеній;

Но гдѣ его теперъ ужъ нѣтъ...
Гдѣ грустный онъ оставилъ слѣдъ.

Вы думаете, что сочинитель въ самомъ дѣлѣ поведетъ васъ прямо въ деревню Онѣгина? извините! *своенравная* Муза его дастъ прежде изрядный крюкъ и поведетъ васъ по проселкамъ прежде къ памятнику Ленскаго, гдѣ

.... Съдой и хилой
Пастухъ по прежнему поетъ
И обувь бѣдную плететъ.

За этимъ въ слѣдъ, по Байроновски, поставитъ:

VIII. IX.

X.;

потомъ выдастъ Ольгу замужъ за Улана:

Уланъ *увлекъ* ея вниманье,
Уланъ умѣлъ ея страданье
Любовной лестью усыпить,
Уланъ умѣлъ ея плѣнить,
Уланъ любимъ ея душою...

XII.

И скоро звонкій голосъ Оли
Въ семействѣ Лариныхъ умолкъ.
Уланъ, своей невольникъ доли,
Былъ долженъ ѣхать съ нею въ полкъ.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, съ дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плавать не могла....

Послѣ этого сочинитель, какъ сами изволите видѣть, намѣренъ занять васъ положеніемъ Татьяны:

Нигдѣ, ни въ чемъ ей нѣтъ отрадъ,
И облегченья не находитъ
Она подавленнымъ слезамъ —
И сердце рвется пополамъ.

XIV.

И въ одиночествѣ жестокомъ
Сильнѣе страсть ея горитъ,
И объ Онѣгинѣ далеко

(наконецъ дошло дѣло и до Онѣгина)

Ей сердце громче говоритъ.
Она его *не будетъ* видѣть;
Она должна въ немъ ненавидѣть
Убійцу брата своего;
Поэтъ погибъ... но ужъ его
Никто не помнитъ, ужъ другому
Его невѣста отдалась.

Теперь просимъ покорно впередъ — за Татьяною, или, что все равно, за *своенравною* Музою нашего поэта, въ деревню Онѣгина. Однажды, вечеромъ,

Въ полѣ чистомъ,
Луны при свѣтъ серебристомъ
Въ свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна,

и куда бы, вы думали, пришла? въ домъ Онѣгина. Это немного неприлично, но такъ угодно было поэту-живописцу Русскихъ нравовъ.

И входитъ (Татьяна) на *пустынный дворъ*.
Къ ней, лая, кинулись собаки.
На крикъ испуганный ея
Ребятъ дворовая семья
Сбѣжалась шумно. Не безъ драки
Мальчишки *разомали* псовъ,
Взявъ барышню подъ свой покровъ.

Какъ бы то ни было, но *барышня* была въ комнатахъ Онѣгина, все тамъ видѣла, выпросила позволеніе ходить на *пустынный дворъ*, на которомъ встрѣтили ее собаки и семья ребятъ, и читать

въ бариновомъ кабинетѣ книги. — Эта прогулка продолжалась до самой зимы. Пришла зима, Татьяну привезли въ Москву; а что было съ нею въ Москвѣ — читатели наши сами знаютъ изъ Московскаго Вѣстника и Сѣверной Пчелы. Нужно ли сказывать, какъ бѣдно содержаніе 7-й главы Онѣгина? Но содержаніе въ сторону; оно почти во всѣхъ произведеніяхъ Г-на Пушкина не богато; самый языкъ, на которомъ основана слава пѣвца *Бахчисарайскаго фонтана*, въ Онѣгинѣ, особенно въ разбираемой нами главѣ, не выдержать не только строгой, но даже и снисходительной критики; во многихъ стихахъ мы не узнаемъ Пушкина; есть цѣлыя тирады, которыя не понравятся любителямъ изящнаго; за образчиками далеко ходить не для чего. Чтобы не упрекнули насъ въ излишней привязчивости и пристрастїи, выпишемъ сряду нѣсколько стиховъ:

.
Вотъ Сѣверъ, тучи нагоняя,
 Дохнулъ, завылъ — и вотъ сама
 Идетъ волшебница зима.

XXX.

Пришла, разсыталась; клоками
Повисла на сукахъ дубовъ;
 Легла волнистыми коврами
 Среди полей, вокругъ холмовъ;
 Брега съ недвижною рѣкою
 Сравняла пухлой пеленою;
 Блеснулъ морозъ; и рады мы
Проказамъ матушки зимы.
 Не радо ей лишь сердце Тани,
Нейдетъ она зиму встрѣчать,
Морозной пылью подышать
 И первымъ снѣгомъ съ кровли бани
 Омывать лицо, плеча и грудь:
 Татьянѣ страшенъ зимній путь.

XXXI.

Отъѣзда день давно просрочень,
 Приходитъ и послѣдній срокъ.
 Осмотрѣвъ, вновь обить, упрочень
Забвенью брошенный возокъ.
Обозъ обычный, три кибитки.

*Везутъ домашніе пожитки,
Кострюльки, стулья, сундуки,
Варенье въ банкахъ, тюфяки,
Перины, кѣтки съ птущами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякаго добра.
И вотъ въ избѣ между слугами
Поднялся шумъ, прощальный плачъ:
Ведутъ на дворъ осьмнадцать клячъ,*

XXXII.

*Въ возокъ боярскій ихъ впрягаютъ, (?)
Готовятъ завтракъ повара,
Горой кибитки нагружаютъ,
Бранятся бабы, кучера.
На клячъ тощей и косматой
Сидитъ форрейторъ бородатой.
Сбѣжалась челядь у воротъ
Прощаться съ барами. И вотъ
Усѣлись, и возокъ почтенный,
Скользя, ползетъ за ворота,
«Простите, милыя мѣста!
«Прости, пріютъ уединенный!
«Увижу ль васъ?...» И слезъ ручей
У Тани льется изъ очей!*

Стихи, которые сами себя рекомендуютъ съ невыгодной стороны, напечатаны курсивомъ для того, чтобы не утомить читателей нашихъ подробнымъ объясненіемъ, почему именно каждый стихъ не хорошъ. На счетъ недостатковъ, замѣченныхъ нами въ стихотворномъ языкѣ Г-на Пушкина, мы могли бы сказать многое, такъ, напр., онъ неудачно соединяетъ слова простонародныя съ Славянскими; часто употребляетъ неточныя выраженія, неправильныя метафоры; многіе стихи у него не стихи, но проза, заостренная рифмою, которая часто заставляетъ его повторять одну и ту же мысль; — но боимся оскорбить многочисленныхъ почитателей поэта, любимца публики.

Но не ужели во всей VII-й главѣ Онѣгина нѣтъ ничего хорошаго? скажетъ кто-нибудь. Мы этого не говоримъ: есть мѣста, въ которыхъ видѣнъ еще Пушкинъ, но этихъ мѣстъ очень мало. Больше всего понравился намъ стансъ:

LII.

У ночи много звѣздъ прелестныхъ,
 Красавицъ много на Москвѣ.
 Но ярче всѣхъ подругъ небесныхъ
 Луна въ воздушной синевѣ.
 Но та, которую не смѣю
 Тревожить лирою своею,
 Какъ величавая луна
 Средь женъ и дѣвъ блеститъ одна;
 Съ какою гордостью небесной
 Земли касается она!
 Какъ нѣгой грудь ея полна!
 Какъ томень взоръ ея чудесной!...
 Но полно, полно; перестань:
 Ты заплатилъ безумству дань.

* * *

*) Какъ стихъ безъ мысли въ пѣснѣ модной,
 Дорога зимняя гладка.

Евг. Онѣгинъ, Глава VII, стр. 35.

Въ № 3 Московск. Телеграфа на сей 1830 годъ (на стр. 356 и 357) объяснено нынѣшнее состояніе общаго мнѣнія въ Литературѣ и, между прочимъ, сказано: «Нынѣ требуютъ отъ писателей не одной подписи *знаменитаго* имени, но достоинства внутренняго и изящества внѣшняго». — Справедливо! медленное, траурное шествіе Литературной Газеты и холодный приѣмъ, оказанный публикою Поэмъ *Полтава* (о которой такъ остроумно сказано было въ № 2 Вѣстника Европы на стр. 164) служатъ яснымъ доказательствомъ, что очарованіе именъ исчезло. И въ самомъ дѣлѣ, можно ли требовать вниманія публики къ такимъ произведеніямъ, какова, на примѣръ, глава VII Евгенія Онѣгина? Мы сперва подумали, что это мистификація, просто шутка или пародія, и не прежде увѣрились, что эта Глава VII есть произведеніе Сочинителя Руслана и Людмилы, пока книгопродавцы насъ не убѣдили въ этомъ. Эта Глава VII — два маленькіе печатные листика, — испещрена такими стихами и балагурствомъ, что въ сравненіи съ ними даже Евгеній Вельскій

*) „Сѣверная Пчела“ 1830 г., №№ 35 и 39. (Новыя книги).

кажется чѣмъ-то похожимъ на дѣло. Ни одной мысли въ этой водянистой VII Главѣ, ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣнія! Совершенное паденіе, *chute complète!*

И такъ надежды наши исчезли! Мы думали, что Авторъ Руслана и Людмилы устремился за Кавказъ, чтобъ напитаться высокими чувствами Поэзіи, обогатиться новыми впечатлѣніями, и въ сладкихъ пѣсняхъ передать потомству великіе подвиги Русскихъ современныхъ героевъ. Мы думали, что великія событія на Востоцѣ, удивившія міръ и стяжавшія Россіи уваженіе всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, возбуждаютъ геній нашихъ Поэтовъ — и мы ошиблись! Лиры знаменитыя остались безмолвными, и въ пустынь нашей Поэзіи появился опять Онѣгинъ, блѣдный, слабый... Сердцу больно, когда взглянешь на эту безцвѣтную картину! — Читатели наши спросятъ: какое же содержаніе этой VII Главы въ 57 страничекъ? Стихи Онѣгина увлекаютъ насъ и заставляютъ отвѣчать стихами на этотъ вопросъ:

Ну, какъ разсѣять горе Тани?
 Вотъ какъ: посадятъ дѣву въ сани,
 И повезутъ изъ милыхъ мѣстъ,
 Въ Москву на ярмонку невѣсть!
 Мать плачется, скучаетъ дочка:
 Конецъ седьмой главъ — и точка!

Точно такъ, любезные читатели, все содержаніе этой главы въ томъ, что Таню везутъ въ Москву изъ деревни! Всѣ вводныя и вставныя части, всѣ постороннія описанія такъ ничтожны, что намъ вѣрить не хочется, чтобъ можно было *печатать* такія мелочи! Разумѣется, что какъ въ предъидущихъ главахъ, такъ и въ этой, Авторъ часто говоритъ о себѣ, о своей скукѣ, *томленьи*, о своей мертвой душѣ, которой все кажется темно и проч. Великій Байронъ ужъ такъ утомилъ насъ всѣми этими выходками, что мы сами чувствуемъ невольное *томленіе*, слыша непрерывное повтореніе одного и того же. Глава начинается описаніемъ весны (старая пѣсня), которою наслаждаться Поэтъ выкликаетъ изъ города поименно разныя лица. Между прочимъ является новое сословіе. Поэтъ кличетъ:

Вы, школы Левшина птенцы,
 Вы, деревенскіе Пріамы! —

Что такое птенцы школы Левшина? Для этого въ концѣ книги находится объясненіе слѣдующаго содержанія: «Левшинъ, Авторъ

многихъ сочиненій по части хозяйственной». Что мы узнали изъ этого объясненія? Левшинъ писалъ и о лошадяхъ, и объ овцахъ, и о курахъ. Не это ли птенцы? Не ихъ ли вызываютъ на пиръ весны? Не догадываемся! А кто таковы деревенскіе Пріамы? гдѣ деревенская Троя! Гдѣ ея Гомеръ? Объясненія нѣтъ—и мы отвѣчать не можемъ. Думаемъ однако жъ, что *Пріамы* находятся въ стихѣ для рѣшмы: *дамы*. Далѣе Поэтъ выкликаетъ своего *благоклоннаго* читателя—оставить городъ *неугомонной*, въ своей коляскѣ *выписной*, городъ, гдѣ этотъ читатель, по словамъ Поэта, веселился всю зиму съ Музой *своенравной* пѣвца Онѣгина! Ужъ полливно *своенравная* Муза!

На стр. 13, мы съ величайшимъ наслажденіемъ находимъ двѣ пропущенныя, самимъ Авторомъ, строфы, а вмѣсто ихъ двѣ прекрасныя Римскія цифры VII и IX. Какъ это мило, какъ это нестрить Поэму, и заставляеть читателя мечтать, догадываться *о небываломъ!* Это производитъ полный драматическій эффектъ, и мы благодаримъ за сіе Поэта!

Послѣ двухъ пропущенныхъ строфъ, въ строфѣ X, васъ увѣдомляютъ, что Олинька, за которую убить Ленскій, вышла замужъ за Улана. Объ немъ никто не груститъ, и очень хорошо. Самъ Поэтъ говоритъ:

На что грустить?

Нынѣ грустятъ *такъ*, изъ ничего, а о смерти друзей не беспокоатся. И дѣльно. Въ слѣдъ за этимъ описаніе вечера:

Былъ вечеръ. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.

Вотъ является новое дѣйствующее лице на сцену: жукъ! Мы расскажем читателю о его подвигахъ, когда дочитаемся до этого. Можетъ быть, хоть онъ обнаружитъ какой-нибудь характеръ.

При тихомъ журчаніи водъ и жужжаніи жука, Таня идетъ въ поле, видитъ передъ собой господскій домъ, и входитъ въ него: это домъ Онѣгина. Ей показываютъ опустѣлыя комнаты любовника, гдѣ она находитъ кій, *отдыхающій* на биліардѣ, манежный *хлыстинъ*, а въ кабинетѣ портретъ Лорда Байрона (вѣроятно для того, чтобъ читатель помнилъ, съ чѣмъ должно сравнивать Онѣгина), чугунную куклу и сочиненія Байрона:

Да съ нимъ еще два-три Романа,
 Въ которыхъ отразился вѣкъ,
 И современный челоувѣкъ
 Изображенъ довольно вѣрно,
 Съ его безнравственной душой,
 Себялюбивой и сухой,
 Мечтанью преданный безмѣрно,
 Съ его озлобленнымъ умомъ,
 Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

Стихи эти весьма замѣчательны. Правду сказать, что это весьма жалкое понятіе о современномъ челоувѣкѣ — но что дѣлать? покоримся судьбѣ!

Таня начинаетъ раздумывать о своемъ любовникѣ, объ Онѣгинѣ, и хочетъ догадаться, кто онъ таковъ:

Что жъ онъ? Ужели *подражанье*,
 Ничтожный *призракъ*, иль еще
 Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
 Чужихъ причудъ истолкованье,
 Словъ модныхъ полный лексиконъ?
 Ужъ не пародія ли онъ?

О томъ, что Онѣгинъ есть неудачное подражаніе Чайльдъ-Гарольду и Донъ-Жуану, давно уже объявлено было въ Русскихъ журналахъ.

Наконецъ везутъ Таню въ Москву. Вотъ пѣтическое описаніе, à la Вугон, выѣзда.

Осмотрѣвъ, вновь обить, упрочень
 Забвенью брошенный возокъ.
 Обозъ обычный, три кибитки
 Везутъ домашніе пожитки,
 Кострюльки, стулья, сундуки,
 Варенья въ банкахъ, тюфяки,
 Перины, клѣтки съ пѣтухами,
 Горшки, тазы et cetera
 Ну, много всякаго добра.

Мы никогда не думали, чтобъ сіи предметы могли составлять прелесть поэзіи, и чтобъ картина горшковъ и кастрюль et cetera была такъ приманчива. Наконецъ поѣхали! Поэтъ увѣдомляетъ читателя, что:

На станціяхъ клопы да блохи
Заснуть минуты не даютъ.

Подъѣзжаютъ къ Москвѣ.

Тутъ Авторъ забываетъ о Танѣ, и воспоминаетъ о незабвенномъ 1812 годѣ. Вниманіе читателя напрягается; онъ готовъ простить Поэту все прежнее пустословіе за нѣсколько высокихъ порывовъ; слушаетъ первый приступъ, когда Поэтъ воспоминаетъ, что Москва не пошла на поклонъ къ Наполеону, радуется, намѣревается благодарить Поэта, но вдругъ исчезаетъ очарованье. Одна строфа мелькнула — и опять то же! Читатель ожидаетъ восторга при воззрѣніи на Кремль, на древнія главы храмовъ Божіихъ; думаетъ, что ему укажутъ славные памятники сего *Славянскаго Рима* — не тутъ-то было. Вотъ въ какомъ видѣ представляется Москва воображенію нашего поэта:

Прощай, свидѣтель *надшей* (?) славы, (?????)
Петровскій замокъ. Ну! не стой,
Пошодь! Уже столпы заставы
Бѣлѣютъ; вотъ ужъ по Тверской
Возокъ несется черезъ ухабы.
Мелькаютъ мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины, моды,
Балконы, львы на воротахъ,
И стаи галокъ на крестахъ.

Начинается описаніе Московской жизни и общества. Здѣсь поэтъ взялъ обильную дань изъ *Горя отъ ума*, и, просимъ не прогнѣваться, изъ другой извѣстной книги. Изъ *Горя отъ ума* являются: архивные юноши, и дранье за уши Хлестовой, тотъ же французикъ изъ Бордо, тотъ же шницъ, тотъ же клуба членъ исправный, тотъ же глухой князь Тугоуховскій, тотъ же мужъ, Платонъ Михайловичъ, и словомъ, много всего, весьма много кое-чего въ перифразахъ.

Мы по крайней мѣрѣ надѣялись найти въ Онѣгинѣ тонъ большаго свѣта, о которомъ намъ толкуютъ непрерывно въ альманах-

ныхъ обзорѣніяхъ Словесности; но что же мы видимъ? Московскія барышни

Сначала молча озирають
Татьяну съ ногъ до головы.

Потомъ:

Взбиваютъ кудри ей по модѣ.

А на балѣ:

Другъ другу тетушки мигнули,
И локтемъ Таню вразъ толкнули.

Въ цѣлой главѣ VII, нѣтъ блестящихъ стиховъ, *прежнихъ* стиховъ Автора, исключая двухъ строфъ XXXVI и XXXVII, которыя очень хороши. Двѣ строфы въ цѣлой книгѣ! За то стиховъ прозаическихъ и *непонятно-модныхъ* бездна, и всѣ описанія состоятъ только изъ наименованія вещей, изъ которыхъ состоитъ предметъ, безъ всякаго распорядка словъ. Напримѣръ, что значить:

Развозятъ Таню каждый день,
Представить бабушкамъ и дѣдамъ
Ея разсыпанную льнь.

Развозятъ *разсыпанную льнь!* Что это за стихи:

И близъ *нею* ее замѣтъ,
Объ *ней*, поправля свой парикъ,
Освѣдомляется старикъ.

Мы полагали, что въ описаніи бала, поэтъ возлетитъ воображеніемъ. Но это то же поименованіе предметовъ безъ всякаго порядка, какъ въ описаніи Москвы, и въ выѣздѣ Тани изъ деревни.

Ее привозятъ и въ собранье.
Тамъ тѣснота, волненье, жаръ,
Музыка грохотъ, свѣчь *блистанье (?)*,
Мельканье (?), *вихорь быстрыхъ паръ (?)*,
Красавиць легкіе уборы,
Людьми пестрѣющіе хоры,
Невѣсть обширный полукругъ,
Всѣ чувства поражаетъ вдругъ. (!!!)
Здѣсь кажутъ франты записные
Свое нахальство, свой жилетъ
И *невнимательный* лорнетъ (!?);
Сюда гусары отпусные
Спѣшать вайтятся, прогремѣтъ (?).
Блеснутъ, цѣпнютъ и улетѣтъ.

В. Зеленинскій. Русскія притчи.

БИБЛИОТЕКА
Московского Полиграф.
Института

РАСЧЕТЪ
ПЕЧАТИ
№ 3558
Филологич. ф-та ИГУ

Больно и жалко, но должно сказать правду. Мы видѣли съ радостью подоблачный полетъ пѣвца Руслана и Людмилы, и теперь съ сожалѣніемъ видимъ печальный походъ его Онѣгина, тихимъ шагомъ, по большой дорогѣ нашей Словесности!

* * *

*) *Евгеній Онѣгинъ, романъ въ стихахъ. Глава VII, сочиненіе Александра Пушкина.*

— Давно ль
Я, кажется, тебя крестила! —
— А я такъ на руки брала! —
— А я такъ пряникомъ кормила! —

Евг. Онѣг. Гл. VII, с. 45.

— «Дома ли хозяинъ?» — раздался громкій голосъ въ предѣвнѣйшей мирной моей каморки: тогда какъ я, усѣвшись подъ окномъ послѣ обѣда, въ блаженномъ бездѣйствіи любовался золотымъ сіяніемъ солнца, разыгравшагося на изнывающемъ черепѣ *Патріаршаго Пруда*, съ длиннаго зимняго просонья. — «Дома ли хозяинъ?» — повторилось снова: и — проказница дверь моя, имѣющая похвальное обыкновеніе отсырѣвать всегда къ веснѣ, отозвалась однимъ глухимъ шумомъ на мочный ударъ, данный ей, вѣроятно, ногою назойливаго пришельца.

— Сейчас! сейчас! — отвѣчалъ я, приподнимаясь. Но едва только успѣлъ встать, какъ неравное бореніе между *лицемъ* и *вещью* кончилось — *романтически*. *Вещь* уступила *лицу*: дверь отпахнулась. И — глазамъ моимъ представился незваный и неожиданный гость — залетная птаха... *Тльнскій*.

— «Mille diables! — вскричалъ онъ, свергая съ раменъ огрязненный плащъ свой. — «До тебя, не изломавъ ноги, не доберешься!»

— Mille pardons! — отвѣчалъ я, улыбаясь. — Давай-ко руку! Ноги изломать у меня не обо что: но — да позволено будетъ употребить парадіальный тонъ вашего окологда — но *преткнуться* можно и не объ одно *гробнице романтическаго* суесловія!

— «Будь проклято его гробнице!» — возразилъ еще громче *Тльнскій*.

*) «Вѣстникъ Европы» 1830 г., № 7. (Изящныя искусства, науки и литература). Статья Н. Надеждина.

— «Будь проклято оно и съ тобою, нечестивый гробоконпатель!»

— Я. Со мною... Что ты, любезнѣйшій. Что съ тобой?... Да ты вѣрно прямо теперь — изъ *Конторы Московскаго Телеграфа!*... Сядь-ко лучше и преткни хульные уста свои етимъ чубукомъ, въ которому только что придѣланъ новый мундштукъ. Авось-либо гнѣвъ твой развѣтается съ табачнымъ дымомъ! — *Тльн. (сѣвши и затянувшись).* Нѣтъ — не развѣтается!... ты не отдѣлаешься отъ меня такъ дешево!... Скажи — удовольствовалося ли твое ретивое? Напраздновался ли ты досыта?... (*выпуская облако дыма съ жалкою гримасою*). Исполненіе желаній... поздравляю... Я. Да объяснись, дражайшій! Что это значить? Ты пааетизируешь не на шутку... О чешъ дѣло?... — *Тльн.* Какъ будто не знаешь, притворщикъ!... (*вынимая изъ боковаго кармана листъ измятой печатной бумаги и бросая передо мною на столъ*). А это что? А?... Я (*подымая и развертывая*). Это?... Да это моя дорогая кумушка — *Съверная Пчелка!*... Что-жъ тутъ такое?... Ужъ не измѣна ли *Телеграфу?*... Такъ и это — право — не слишкомъ большая диковина?... — *Тльн.* Не умничай, а читай — ниже... ниже... Рубрика: *Новыя книги...* Я. Вижу! *Новыя книги...* Что-жъ тутъ новаго?... *Евгеній Онъгинъ, романъ въ стихахъ. Глава VII. Сочиненіе А. Пушкина* *). Bravo! поздравляю... Давно бы пора!... (*Складывая листокъ*) Ну такъ что же!... Чай — это одинъ пушечный выстрѣлъ и торжественная пѣснь съ многократнымъ *визатъ!*...

Тльн. Такъ ты дѣйствительно ничего еще не знаешь!... Читай же далѣе — и... (*пускаетъ новое облако дыма*)... Я (*развертывая опять и продолжая*):

*Какъ стихъ безъ мысли въ пѣснь модной,
Дорога зимняя гладка.*

Евг. Онъг. Гл. VII, с. 35.

Ба! какой епіграфъ-то! Да еще и изъ самаго *Онъгина!*... — *Тльн. (жалобно)* Читай далѣе... Я (*продолжая*). «Въ № 3 Москов. Телеграфа на сей 1830 годъ объяснено нынѣшнее состояніе общаго мнѣнія въ Литературѣ и, между прочимъ, сказано: «нынѣ требуютъ отъ писателей не одной подписи *знаменитаго*

*) «Съв. Пч.» № 35.

имени, но достоинства внутренняго и изящества внѣшняго». Справедливо!... Ай! ай!... ай!... что такое... что за чудо!... — *Тлн.* Читай далѣе! Я. «Медленное, траурное шествіе Литературной Газеты и холодный пріемъ, оказанный публикою поемѣ *Полтава* (о которой такъ остроумно сказано было въ № 2 Вѣстника Европы)...» Праведное небо! *Вѣстника Европы!*... Да полно — *Пчела* ли ужъ это?... Такъ — она!... «такъ остроумно сказано было въ № 2 Вѣстника Европы служить яснымъ доказательствомъ, что очарованіе именъ исчезло...» Ну!!! — *Тлн.* (*возвышая голосъ*). Да читай далѣе!... Я. «И въ самомъ дѣлѣ, можно ли требовать вниманія публики къ такимъ произведеніямъ, какова, напримѣръ, Глава VII Евгенія Онѣгина? Мы сперва подумали, что это мистификація, просто шутка или народія, и не прежде увѣрили, что это Глава VII есть произведеніе Сочинителя Руслана и Людмилы, пока книгопродавцы насъ не убѣдили въ этомъ. Эта Глава VII — два маленькіе печатные листка — испещрена такими стихами и балагурствомъ, что въ сравненіи съ ними даже Евгеній Вельскій кажется чѣмъ-то похожимъ на дѣло. Ни одной мысли въ этой водянистой VII Главѣ, ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣнія! Совершенное паденіе, chute complète!» И порусски и пофранцузски!... Ну!!! — *Тлн.* (*Ударивъ по столу кулакомъ съ яростью*) А! что ты на это скажешь?... Я. Что я скажу на это?... Говорить нечего! Само дѣло говорить за себя весьма ясно... — *Тлн.* Такъ! Я это зналъ напередъ. Тебя это должно было обрадовать... Я. Какъ оправданіе моихъ предчувствій и предсказаній — конечно...

Тлн. И ты нисколько не трогаешься?... Я. Боже мой! Да чѣмъ тутъ трогаться! Я зналъ давно, что этому когда-нибудь... а надо будетъ случиться!... Раненько правда немножко: ну — да нынѣ вѣкъ такой!... Шагаетъ исполински: совѣсть и правду хвостомъ застилаетъ, мелкія приличія — перепрыгиваетъ... — *Тлн.* Но — валявшись прежде у ногъ *Пушкина*... не умѣвши бывало влюбоваться малѣйшею его строчкою... рассыпавшись всевозможными похвалами и ласкательствами цѣлые шесть разъ сряду для шести первыхъ главъ *Онѣгина*... Я. При седьмой почить отъ трудовъ своихъ и запѣть другимъ голосомъ — это тебѣ кажется удивительнымъ!... Вотъ что право забавно!... Да *Исторія Государства Россійскаго* — сей великій трудъ, слава честь и украшеніе Россіи —

не *шесть*, а *одиннадцать* *) разъ была предметомъ слѣпаго, безотчетнаго благоговѣнія; и въ *двенадцатый* — должна была сдѣлаться цѣлю неистоваго остервененія, замыслившаго воздвигнуть на ея развалинахъ... *мерзость запустыня!*... Великое дѣло — VII Глава Онѣгина!... Ей бы должно было еще гордиться приглашеніемъ испытать судьбу творенія — безсмертнаго, великаго... пускай она ее вынесетъ!... — *Тлн.* И отъ кого же? *Я.* Стало быть — ругательства *Московского Телеграфа* тебѣ кажутся почетнѣе ругательствъ *Сѣверной Пчелы!*... Погоди немножко! Дойдетъ чередъ и до нихъ... Флюгеръ этой каланчи уже передудло. Мы хотя люди и темные: но понимаемъ довольно ясно, кто въ *Телеграфскомъ* райкѣ освистывается подъ именемъ *Пустоцветтова*, изъ поемы коего, именуемой яко бы: *Курбскій* — предложены были намъ такіе занимательные отрывки!... Это достойная награда тому, который, бывало безотговорочно и безостановочно, ставилъ на заказъ привѣтныя словечки для друзей и остренькія пикюльки для непріятелей всего *Телеграфскаго* окологда!... Зрѣлище конечно поучительное и назидательное! *Sic transit gloria mundi!*... — *Тлн.* Провались ты съ своей проклятой Латинью! Это ты — всему злу причиною! Отъ тебя сыры боры загорѣлися!... *Я.* Отъ меня!... Извини, любезнѣйшій!... По крайней мѣрѣ я и не думалъ зажигать ихъ... Чего добраго можно ожидать отъ этого пожара, кромѣ курнаго дыма, который выѣстъ всѣмъ глаза, и черной смолы, которая ко всему прилипаетъ и все марать станетъ... Я дождался напротивъ спокойно, пока они сами собой посохнутъ и переведутся...

Тлн. И однако — не изъ твоего ли арсенала взято оружіе, коимъ измѣнническая рука замышляетъ поразить *Онѣгина*? Дай мнѣ сюда листокъ! — «И такъ надежды наши исчезли! мы думали, что Авторъ Руслана и Людмилы устремился за Кавказъ, чтобъ напитаться высокими чувствами Поезіи, обогатиться новыми впечатлѣніями и въ сладкихъ пѣсняхъ передать потомству великія подвиги Русскихъ современныхъ героевъ. Мы думали, что великіе событія на Востокѣ, удивившія міръ и стяжавшія Россіи уваженіе всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, возбуждать гений нашихъ Поетовъ — и мы ошиблись! Лиры знаменитыя остались безмолвными, и въ пустынь нашей Поезіи появился опять Онѣгинъ, блѣдный, слабый...

*) Не тысячу ли одиннадцать? *Пр. Посьт.*

сердцу больно, когда взглянешь на эту безцвѣтную картину!... > — Чьи это мысли? Чей языкъ — *traître qui tu es?*...

Я отъ мыслей не смѣю отказываться: въ языкъ — уже не вступаюсь! Признаюсь однако искренно, что мнѣ не хотѣлось бы слышать повтореніе ихъ тамъ, гдѣ самая чистая истина тратитъ свою цѣну. Такъ — можетъ быть и правда, что VII Глава *Онъина* хуже *шести* прочихъ. Талантъ — особенно не закупоренный печатью истиннаго образованія — скоро очень выдыхается. Но — я весьма сомнѣваюсь, чтобы въ сравненіи съ нею <Евгеній Вельскій казался чмъ-то похожимъ на дѣло>. Статсея можетъ, что въ ней нѣтъ ни одной свѣтлой и глубокой мысли, ни одного теплаго и благовоаннаго чувствованія: но — чтобы не было — ни одной картины, достойной воззрѣнія...> Это для меня непостижимо! Правда — я не понимаю еще порядочно, что такое значить: картина, достойная воззрѣнія. Но нашему простому понятію, воззрѣніе есть такое дѣйствіе зрительнаго нерва, коимъ совѣстно скупиться даже — для лубочной картинки. Да и давно ли *Съверная Пчела* стала дорожить своими воззрѣніями. Съ какимъ рабскимъ подобострастіемъ *взира*ла она еще недавно на самую ничтожную блестящую, винутую *Пушкинымъ* въ *Радугу*? Не мерещилось ли ей, что она-то одна и составляетъ всю поэтическую лучезарность сего мглистаго метеора?... А теперь!... изъ того же дула — о тѣхъ же вещахъ — и какія вѣсти!... Правда — повторяю опять — можетъ быть VII Глава слишкомъ уже...

Тлн. Увѣряю тебя, что нѣтъ!... совсѣмъ нѣтъ!... Прочти только — и ты увидишь, что геній великаго поэта, представителя современной человечества на небосклонѣ отечественной нашей словесности, остался и здѣсь себѣ вѣрнымъ! Это перло достойно быть визанннымъ въ драгоценное ожерелье *Онъина* — честь и красу нашей Поэзіи! *Пушкинъ*, не смотря на пошлое жужжанье безжаленной *Пчелы*, всегда и вездѣ пребываетъ *Байрономъ*!...

Я. Вотъ то-то и дѣло... Зачѣмъ повторяешь ты эти высокопарныя *Телеграфскія* фразы, которыя только что могутъ извинять въ глазахъ строгихъ ревнителей истины — это ожесточеніе противъ *Пушкина*? Поднимать выше, нежели гдѣ можно держаться, значить — заставлятъ падать большѣ!... И это именно случается теперь съ *Пушкинымъ*, коего талантъ заслуживалъ бы лучшей и почтеннѣйшей участи!... Ты и подобные тебѣ — вы самые лютѣй-

шіе враги его! Превышающими всякую мѣру хвалебными взывами, вы забросили его за облака и, не ссаливъ поддержать тамъ — уронили въ преисподнюю! Вѣрно плохо вы читали прекрасную басню *Крылова о Пустынникѣ и Медвѣдѣ*, начинающуюся сими прекрасными, поучительными и назидательными стихами:

Хотя услуга намъ при нуждѣ дорога,
Но за нее не всякъ умѣетъ взяться.
Не дай Богъ съ дуракомъ связаться:
Услужливый дуракъ опаснѣе врага!

Глн. (сердяся). Такъ тебѣ бы — по твоему... Я. А почему жъ и — не по моему?... Никто, можетъ быть, болѣе меня не возмущается своеволіемъ, съ каковымъ пѣвецъ *Руслана и Людмилы* грязнилъ часто лучшія свои изображенія; и однако я первый готовъ сказать и нынѣ и послѣ, что изъ подъ его — истинно *свое-нравной* — кисти выпадали не рѣдко — не скажу *картины* — *картинки*, на которыя нельзя не засмотрѣться. Талантъ *Пушкина* я признавалъ всегда — *талантомъ*: и какъ больно было видѣть его сокровище — иждиваемымъ всеу... въ угожденіе вѣтренному легкомыслію... на посмѣшище здоровому вкусу!... Еще можно было однако надѣяться, что время и опытность угмоняютъ его рѣзвое скаканіе разгульной фантазіи. Пѣвецъ *Руслана и Людмилы* могъ выработать изъ себя — Русскаго *Аріоста*. Эта необузданная шаловливость воображенія, помыкающая природою, какъ игрушкою, и уродующая безжалостно ея стереотипныя пропорціи, какъ бы для потѣхи надъ ея педантическою чиновностію и аккуратностію, что могла бы произвести, еслибъ заключилась въ предѣлахъ эстетическаго благоразумія?... Но... не тутъ-то было!... По несчастію, юный талантъ былъ замѣченъ слишкомъ скоро, оцѣненъ слишкомъ опрочетчиво. Наша добродушная публика при видѣ новаго литературнаго явленія, пришедшагося ей совершенно по плечу — রাখалась отъ удивленія; а услужливые прихлебатели, снискивающие себѣ насущное пропитаніе громогласнымъ подтакиваніемъ общему мнѣнію, не умедлили переложить ети *ахи* и *охи* въ пышныя возгласы, составленные изъ высокопарныхъ фразъ, вытянутыхъ со грѣхомъ пополамъ изъ иноземныхъ программъ и журналовъ. Явленіе *Бахчисарайскаго фонтана* — снабженное лихимъ *Предисловіемъ* отъ извѣстнаго Автора *Предисловіи* къ пріятельскимъ сочиненіямъ — произвело такую тревогу въ нашемъ литературномъ муравейникѣ,

какой не производила въ Германіи *Клопштокова Мессіада*. Загорѣлась жестокая война на перьяхъ: и *Предисловищикъ*, изувѣченный смертельно стрѣлами Логикѣ, изнесенъ былъ съ поля сраженія подъ щитомъ *Дамскаго Журнала*, купивъ однако своей неудачей *Пушкину* — почетное имя *Романтическаго Поэта*. Вскорѣ выстроился *Телеграфъ*, зажужжала *Пчела*. И тотъ и другая наперерывъ старались расхваливать *Пушкина*, дабы прикрыть его *романтическою* славою *антиклассическое* невѣжество. Такимъ образомъ слава *Пушкина* — если только можно назвать такъ молву, скитающуюся по гостиницъ и будуарамъ на крыльяхъ журнальныхъ листовъ, вмѣстѣ съ модами и извѣстіями о *Лебедянскихъ скачкахъ* — слава *Пушкина* созрѣла, прежде нежели онъ самъ успѣлъ развернуться. Его огласили великимъ геніемъ, неподражаемымъ поэтомъ, представителемъ современнаго человѣчества, Русскимъ *Байрономъ* — вѣроятно прежде еще, чѣмъ онъ узналъ о *Байронѣ*. И кто Богу не грѣшенъ, кто Еввѣ не внучъ!... можно ли быть слишкомъ строгу и взыскательну къ молодому поэту за то, что онъ имѣлъ слабость — столь простибельную нашей бѣдной человѣческой природѣ — повѣрить безразсуднымъ ласкательствамъ, вокругъ него раздававшимся *)?... *Пушкинъ* возвышается еще безконечно надъ тѣми, кои сами себя нахально выдаютъ за *Кузеней и Гизотовъ* — думая заполнить общее мнѣніе безстыдною дерзостью. Его задачили дымнымъ куревомъ невыслуженной славы: *обайронили* насильно: и онъ — увлекаясь своей слишкомъ таланной звѣздой — началъ и въ самомъ дѣлѣ *байронить*... безталанно!... Но — лишь только выбился онъ изъ своей колеи, какъ и стало кидать его во всѣ четыре стороны.

*) Не одни впрочемъ ласкательства слышалъ онъ; голосъ истины раздавался и прежде неумолчно. Въ *В. Е.* за 1824 годъ (№ 1, стран. 71), по случаю представленія на театрѣ извѣстной пѣсенки, подъ пышнымъ титуломъ кантаты, *Черной шали*, отдана была ея автору болѣе чѣмъ должная справедливость; но тамъ же немногіе вопросы указывали и настоящее мѣсто ему на Парнассѣ: «Гдѣ mens diviniog? гдѣ os. magna sonaturum?» Батарей, кажется, немудреная; а какой сильной зарядъ электричества мгновенно пробѣжалъ тогда черезъ всю фалангу романтиковъ, истинныхъ и мнимыхъ? *Прим. одного поэт.* — А за чѣмъ не приложено было Русскаго перевода къ Латинскимъ выраженіямъ? Вѣдь извѣстно было уже и тогда, что *Латынь* для нашихъ литературныхъ крикуновъ то же, что тарабарская грамота! *Прим. другою поëтителемъ.*

На славу!

По камнямъ, рытвинамъ: пошли толчки, прыжки!

Лѣвѣй, лѣвѣй! и... бухъ въ канаву!

Прощай прекрасные стихишки!

Тлн. И ты осмѣливаешься еще говорить — что уважаешь талантъ *Пушкина*... нечестивецъ!... *Я.* Да! уважаю! — несравненно болѣе, чѣмъ невѣжды, которые хвалятъ его по наслышкѣ... чѣмъ вертопрахи, которые хвалятъ въ немъ самихъ себя... чѣмъ *барышники*, которые собирали жидовскіе проценты съ наемныхъ похвалъ своихъ, поддерживая на литературной биржѣ курсъ достоинства *Пушкина* — изъ собственныхъ расчетовъ и видовъ!... Давно ли слышали мы отъ людей и притомъ тѣхъ, которые бывало крикивали больше всѣхъ и громче всѣхъ — давно ли слышали увѣренія, что на *Пушкина* была... *мода* — и что теперь сія *мода* начинаетъ изживать вѣкъ свой?... Не есть ли это торжественное признаніе, что имъ торговали доселѣ, какъ модной вещицею!... О tempoга!... Одно только развѣ можетъ утѣшить нашего Поета въ столь унижительномъ оскорбленіи, что оно досталось не одному ему!... Намъ тоже безъ всякихъ обиняковъ говорено было, что и на *Наполеона* была *мода*, которая также кончилась. *Мода* — на *Наполеона*!... О стыдъ разума человѣческаго!... Я весьма далека отъ того, чтобы сравнивать *Пушкина* съ *Наполеономъ* иначе, какъ только въ шутку: и очень жалѣю, что позволилъ себѣ однажды это ироническое сравненіе *), которое теперь переиначено такъ не къ стати и не у мѣста. Не смотря на то, я нахожусь теперь вынужденнымъ сказать, что достоинство *Пушкина*, точно какъ и *Наполеона* — должно и не можетъ зависѣть отъ прихотей *моды*!... *Мода* можетъ быть на *Телеграфѣ*, на *Ивана Выжигина*... на *Дмитрія Самозванца* — да и то развѣ въ провинціяхъ!... Но стихотворческій талантъ *Пушкина* есть сокровище неподдѣльное, съ котораго цѣна никогда спастись не можетъ! Не усиливайся только онъ придавать ему фальшиваго блеска — насильственной примѣсью веществъ чуждыхъ!... Ввались опять въ свою колею — иди своей дорогою: и я увѣренъ, что *Пушкинъ* заиграетъ опять блестящей звѣздой на горизонтѣ нашей словесности... *Тлн.* Что жъ по твоему долженъ онъ теперь дѣлать... *Я.* *Разбайронитъ*ся добровольно и добросовѣстно. Сжечь

*) См. „Вѣстн. Европа“. 1830 г., № 2, стр. 164.

Годунова и — докончить *Онтыгина*... *Тлн.* Такъ по этому *Онтыгинз* тебѣ нравится... *Я.* Что идетъ, какъ слѣдуетъ, то не можетъ не нравиться...—*Тлн.* Ну! слава Богу! По крайней мѣрѣ это гениальное произведеніе... *Я.* Успокойся, успокойся! Совсѣмъ не гениальное! Я и не думалъ такъ называть его... *Тлн.* Какъ? *Я.* Да такъ!... Тфу пропасть! какой безтолковой! Развѣ одно только гениальное можетъ нравиться? Мнѣ нравится теперешняя твоя прическа, сообщающая головѣ твоей необыкновенный *романтическій* рельефъ; и однако — самъ ты вѣрно не назовешь ее гениальнымъ произведеніемъ...—*Тлн. (вскакивая).* Ты ругаешься надо мною — ты издѣваешься — ты безчестишь *Русскую словесность*!... Какъ?... Возможно ли сравнивать поэтическое произведеніе съ прическою... *Я.* Почему же не такъ?... Нынѣ рядятъ Музъ въ *душегрѣйки*: стало быть можно ихъ и *причесывать*?... И что — если бы мнѣ вздумалось въ какомъ-нибудь привилегированномъ *Альманахѣ* наименовать *Онтыгина* букошкой... букошкой изъ роскошнаго локона, хотя бы *десятой* — Музы?... Меня бы занесли за облака похвалами... не правда ли?... *Тлн.* Букошкой изъ роскошнаго локона *десятой* Музы — это дѣло другое... Но почему жъ одинъ только *Онтыгинз* — а не вмѣстѣ и всѣ другія произведенія *Пушкина*?... *Я.* Потому что въ одномъ *Онтыгинѣ* только — послѣ *Руслана* и *Людмилы* — вижу я талантъ *Пушкина* на своемъ мѣстѣ... въ своей тарелкѣ. Ему не дано видѣть и изображать Природу поэтически — съ лицевой ея стороны, подъ прямымъ угломъ зрѣнія: онъ можетъ только мастерски выворачивать ее на изнанку. Слѣдовательно — онъ не можетъ нигдѣ блистать, какъ только въ — *арабескахъ*. *Русланз* и *Людмила* представляетъ прекрасную галерею физическихъ *арабесковъ*; *Евгеній Онтыгинз* есть *арабескъ* міра *нравственнаго*...—*Тлн.* То-есть — уродъ, говоря простѣе... *Я.* Именно — уродъ... но образованный эстетически... *Тлн.* Теперь я вижу, что ты уважаешь талантъ *Пушкина*... Вижу... *Я.* И странно бы было, еслибъ ты не видѣлъ. Удивительно — право удивительно! По вашему мнѣнію, нельзя иначе выразить своего уваженія къ поэту, какъ присосѣдивши его къ *Шекспиру*, *Данту* или *Байрону*! Какъ будто бы на поэтическомъ ристалищѣ одни только сильные могучіе атлеты, съ богатырскою силой и колоссальными мышцами, могли имѣть право на вѣнцы и рукоплесканія!... *Скарронз* и *Пирронз*, *Берни* и *Аретинз* умѣли смѣшать поэтически и — при-

грѣли себѣ порядочное мѣстечко на *Парнасъ*. Не говорю уже объ *Аристофанѣ* и *Апулеѣ*, *Аріостѣ* и *Вольтерѣ*, *Свифтѣ* и *Виландѣ* — истощавшихъ геній свой на построеніе чудныхъ *иротесковъ*, коимъ долго-долго жить и пережить многія великолѣпныя зданія! Не уже ли жъ для Пѣвца *Онѣгина* оскорбительно, если я предскажу ему ту же судьбу и — ту же славу?... — *Тлн.* (*почесывая затылокъ*). Оно конечно такъ... но... *Я.* Но?... Что еще?... — *Тлн.* Но... ты еще не читалъ VII *Главы Онѣгина*... Тамъ нашелъ бы ты — право — не арабески... *Я.* И тѣмъ хуже... Стало быть, *Пушкинъ* не вѣренъ самому себѣ — вѣроломъ къ своему таланту... Въ это время слышался тихій шелестъ шаговъ въ моей передней. Я обратился къ открывающейся медленно двери и — бросился обнимать другаго нежданого гостя... моего любезнѣйшаго *Пахома Силича*. Это былъ онъ самъ — своею почтенною персоною.

«Вы ли это, дорогой мой!» вскричалъ я, усаживая добраго старика, запыхавшагося отъ дальней дороги и высокой лѣстницы.

— Кому жъ, кромѣ меня! — отвѣчалъ онъ, улыбаясь. Никто вѣрно не захочетъ мною нарядиться — даже и для — домашняго маскарада. Ну — какъ вы поживаете!... — *Я.* Понемножку, почтеннѣйшій, понемножку. А ваше здоровье... здоровье доброй вашей старушки... — *П. С.* Какъ нельзя лучше по стариковски. Бредемъ тихонько. *Я.* Вѣрно однако не отстаете отъ хода дѣлъ любимой вами Словесности... — *П. С.* (*отирая потъ съ лица*). Да для этого, кажется, и не нужно особой приткости... *Я.* Вы шутите! *Московский Телеграфъ*, шагая исполински, едва можетъ за нею угнаться... — *П. С.* Ахъ! Боже мой! блоха и за черепахою должна прыгать, а все — назади остается!... *Я.* Позвольте однако испытать васъ. Знаете ли вы о пріятной литературной новости? VII *Глава Онѣгина*, явилась... — *П. С.* Я несу теперь ее обратно въ бібліотеку *Ширяева*... *Я.* О! о! стало быть вы меня уже перегнали. Ходки, ходки, *Пахомъ Силичъ*!... И такъ — внижка съ вами — дозволейте взглянуть мнѣ по крайней мѣрѣ... *П. С.* (*вынимая изъ боковаго кармана*). Вотъ она! Вотъ наше литературное нещичко, котораго мы насилу дождались!... *Тлн.* (*стремительно вмѣшиваясь въ разговоръ*). Такъ слѣдственно не мы одни дождались *Онѣгина*!... Слышишь?... (*къ Пахоми Силичу*) О, почтеннѣйшій! Я не имѣю чести знать васъ! но я васъ уважаю! Я — благоговѣю предъ вами!... *П. С.* (*улыбаясь*). Благоговѣніе, дешево купленное — дешево и пропадаетъ. Я еще не умѣю

объяснить себѣ, чѣмъ могъ возбудить въ васъ столь высокое чувство... *Тлн.* Вы дожидались *Онгина* и — довольно!... *Я* (*перевертывающая книжку*). Да кто жъ его не дожидался! Признаюсь однако, при видѣ на эту книжечку, мнѣ становится жутко: не обманулись ли полно многія ожиданія! *Пахомъ Силить!* вы изволили прочесть ее. Позвольте угостить васъ *Съвѣрною Пчелою*. — *П. С.* Много доволенъ вашею милостью! Не стоитъ благодарности! *Я.* Но я желалъ бы слышать ваше мнѣніе о приѣмѣ, который сдѣлала она *VII Главѣ Онгина!* Почитайте и — подивитесь! — *П. С.* Я уже читалъ и — дивился... *Я.* Что же вы однако скажете о хулахъ, которыя на нее изрыгнуты? Имѣютъ ли онѣ *предлежательное* основаніе? Неужели въ самомъ дѣлѣ эта *VII Глава* такъ далеко отстала отъ *шести* прочихъ?... *П. С.* Ничего не бывало! *Глава* какъ *Глава!* *Онгинъ* какъ *Онгинъ!* *Я.* Стало быть, эти выраженія: *ни одной мысли, ни одною чувствованія, ни одной картины...* *П. С.* Той же пробы и того же достоинства, какъ и тѣ, кои ставливались прежде вмѣсто ихъ: *свѣрный Байронъ, представитель современнаго человечества...* *Я.* Но — Пoesія *Пушкина* и прежде не роскошна была *мыслями* и *чувствованіями!* Развѣ не разбогатѣлъ ли онъ недавно? Не дался ли ему філософскій камень?... *П. С.* Ну! этого непримѣтно. — *Тлн.* Какъ непримѣтно! Пожалуйте мнѣ книжку, и теперь — слушайте внимательнѣе эту строфу:

Или, не радуясь возврату
Погибшихъ осенью листовъ,
Мы помнимъ горькую утрату,
Внимая новый шумъ лѣсовъ:
Или съ природой оживленной
Сближаемъ думою смущенной
Мы увяданье нашихъ лѣтъ,
Которымъ возрожденья нѣтъ?
Быть можетъ, въ мысли намъ приходитъ
Средь поетическаго сна
Иная, старая весна,
И въ трепетъ сердце намъ приводитъ
Мечтой о дальней *) сторонѣ,
О чудной ночи, о лунѣ...

Это не мысли? Не глубокія — поетическія мысли?... *П. С.* Что-то похоже на мысли: но — кто пойметъ ихъ? Первое предположеніе:

*) Не опечатка ли? *Пр. Соч.*

Или, не радуясь возврату
Погибшихъ осенью листовъ,
Мы помнимъ горькую утрату,
Внимая новый шумъ лѣсовъ—

завиваетъ въ себѣ дѣйствительно мысль, и — мысль оригинальную, представляющую новой способъ рѣшенія одной изъ труднѣйшихъ задачъ сердца человѣческаго. Скажу болѣе: отъ ней пахнетъ даже *Байронизмомъ*; ибо *Байронъ* только могъ жалѣть о *веснѣ*, какъ объ *утратѣ зимы*. Но кому удастся скоро добраться до настоящаго ея смысла, сквозь, темную чащу словъ, сплетенныхъ такъ неудачно?... Второе же — скажемъ словами самого Поэта — есть

*старая весна,
Средь поэтическаго сна,*

пришедшая ему въ мысли и заставившая его съ пресонья пробормотать нѣсколько невнятныхъ звуковъ, кои исчезли наконецъ въ неудачномъ подражаніи *Жуковскому!*... въ давно тертой и истертой *мечтѣ*.

о дальней сторонѣ,
О чудной ночи, о лунѣ...

И кто знаетъ — можетъ быть о той *глупой лунѣ*, которую Поэтъ нашъ видѣлъ нѣкогда на *глупомъ небосклонѣ!*... Нѣтъ! воля ваша! а *Пушкинъ* — не мастеръ мыслить!... *Тлѣн*. А изображеніе *современнаго чловѣка?* послушайте:

Два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный чловѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствиі пустомъ.

И это не мысль?... *П. С.* Мысль — да не своя. Это общее мѣсто, развитое довольно порядочно. И — только!... *Тлѣн*. Такъ вамъ вѣрно бы хотѣлось выслушать здѣсь полный курсъ *Метафизики!* Вспомните, что *Евгеній Онъгинъ* романъ, а не учебная книжка! Душу Поэзіи составляютъ чувства, а не — мысли... *П. С.* *Безмысленныя чувства!*... Это — диковинная Поэзія... Гдѣ жъ однако

сіа драгоценныя рѣдкости! Дайте намъ ими полюбоваться!... *Тлн.*
Извольте слушать.

На вѣтви сосны преклоненной,
Бывало, ранній вѣтерокъ
Надъ етой урною смиренной
Качалъ таинственный вѣнокъ.
Бывало, въ поздніе досуги,
Сюда ходили двѣ подруги,
И на могилѣ при лунѣ,
Обнявшись, плакали онѣ.
Но нынѣ... памятникъ унылой
Забить. Къ нему привычный слѣдъ
Заглохъ. Вѣнка на вѣтви нѣтъ;
Одинъ, подъ нимъ, сѣдой и хилой
Пастухъ по прежнему поетъ
И обувь бѣдную плететъ.

Неужели и здѣсь черствая, съ позволенія сказать, душа ваша —
ничего не слышитъ?... *П. С.* Слышитъ подражаніе прекрасному за-
ключенію прекрасной *Мессениі Казимира Делавиня о Напо-*
леонѣ:

Et le pêcheur le soir s'y repose en chemin;
Reprenant ses filets qu'avec peine il soulève,
Le s'éloigne à pas lents, foule ta cendre, et rêve...
A ses travaux du lendemain.

Слышишь и — невольно дѣлаешь шагъ отъ *великаго* — къ *смѣш-*
ному... столько близкій, по выраженію воспѣваемаго *Делавинемъ*
героя!... И замѣтьте, какъ надорвался Поетъ, разродившись етимъ
займственнымъ чувствомъ! У него не достало духу на цѣлыя двѣ
строфы: и вы видите двѣ крупныя Римскія цифры:

VIII. IX,

означающія очень ярко пустоту, слѣдовавшую за столь чрезмѣрнымъ
напряженіемъ.—*Тлн. (разгорячаясь опять)*. Чортъ меня возьми!
Такъ зачѣмъ вы ругаете *Съверную Пчелу*? Воронъ ворону глазъ
не выклевываетъ. Если въ *VII Главѣ Онтгина* нѣтъ ни *мыслей*,
ни *чувствъ*; что же есть въ ней?... *П. С.* *Картины* и — *кар-*
тины прекрасныя. Вотъ что составляетъ истинное достоинство
Пушкина, неуроненное имъ и въ *VII Главѣ Онтгина*!... *Тлн.*

Вашъ пріятель не находитъ однако и *картинъ* у *Пушкина*, а только — *картинки!*...

П. С. (посматривая на меня). Екой строгой *Аристархъ!* Весь въ батюшку!... (*къ Тльнскому*). Но позвольте оправдать предъ вами *Никодима Аристарховича*. Уменьшеніе, которое онъ позволилъ себѣ употребить, говоря о *картинахъ Пушкина*, означаетъ, можетъ быть, льстивую привѣтливость таланту Поета: но ни сколько не уменьшаетъ его достоинства. На прекрасную *картинку* не меньше потребно мастерства, какъ и — на хорошую *картину!* *Тльн.* Это — лукавая только увертка... не болѣе! Я понимаю очень хорошо васъ и вашего пріятеля... *П. С.* Совѣмъ не увертка. Что есть *Поезія?* Живопись Природы!... Ея достоинство слѣдовательно должно состоять въ вѣрности, живости и красотѣ изображеній, въ коихъ она ее представляетъ. Но Природа есть безпредѣльное зданіе, проявленное однимъ духомъ во всѣхъ безчисленныхъ частяхъ своихъ. Въ ней вездѣ жизнь — вездѣ Поезія! Величественныя Альпы и мшистый камень — равно говорятъ воображенію; только одинъ нашептываетъ то, что другія проповѣдуютъ велегласно. Но въ одномъ только грозномъ рокотѣ грома слышится эхо вѣчной гармоніи, одушевляющей вселенную; ухо чуткое чувствуетъ ее и въ щебетаніи равней ласточки, и въ жужжаніи вечерняго жука, и въ чиликаньи запоздалаго вузничика. Пусть Поезія изображаетъ намъ вѣрно то, что видитъ и слышитъ въ Природѣ! Будутъ ли то *картины* или *картинки!*... до формата нѣтъ нужды... *Я. Шахомъ Силичь!* *Шахомъ Силичь!* Не увлекитесь слишкомъ далеко!... Я боюсь, чтобы знаменитый мадригалъ *на прыщикъ Деліи* не заслужилъ отъ васъ названія поетической миниатюрной *картиночки!*... *П. С. Лубочной!* почему не такъ?... Но — и *прыщикъ* можетъ имѣть поетическое достоинство... не на прекрасномъ личикѣ *Деліи*; а на красной рождѣ кухарки *Аксиньи* — въ каррикатурномъ зрѣлищѣ: ибо онъ тамъ можетъ возбуждать *поетическій* — смѣхъ... основаніе *комическаго* услажденія!... И это ни чуть не низко для Поезіи! Ибо если сама Природа забываетъ иногда свою важную степенность до того, что пародируетъ саму себя подобными уродливостями: то, почему и Поезіи, какъ вѣрному ея зеркалу, не позволить себѣ удовольствія ихъ передразнивать?... Лишь бы только это удовольствіе было невинно и не выходило изъ должныхъ границъ уваженія, коимъ она обязана всегда Природѣ и самой себѣ!... Будь Поезія,

какъ Природа! Изображай *червячковъ*, но — *свѣтящихся*, коихъ Природа сама развѣшиваетъ торжественно по древеснымъ листьямъ, какъ бы для потѣшной иллюминаціи; а — не копайся въ навозѣ, чтобы открывать тамъ гнусныхъ насѣкомыхъ, утаеваемыхъ ею самою отъ человѣческихъ взоровъ! Заставляй улитку высовывать рожки: но не срывай съ нея скорлупы, прикрывающей ея отвратительную уродливость!... Я буду всегда любоваться подобными *картинками*, сколь ни мелочны онѣ кажутся... Я. Но какое жь будутъ имѣть онѣ поэтическое значеніе?... П. С. Значеніе *забавной болтовни*: — и этого довольно! Знаменитый нашъ Поетъ сказалъ нѣкогда, говоря о *сказкѣ*:

Но все ли одного полезнаго искать?
 Для сказки и того довольно,
 Что слушаютъ ее безъ скуки, добровольно;
 И можетъ иногда улыбку съ насъ сорвать!

Такія *сказки*, право, дороже иной *Исторіи* пѣлаго *Народа*!... Я улыбнулся горько, начитавши въ етомъ же самомъ номерѣ *Сверной Пчелы* чудную выходку противъ двухъ прекрасныхъ стиховъ, выдернутыхъ изъ *VII Главы Онѣгина*:

Былъ вечеръ. Небо меркло. Воды
 Струились тихо. Жукъ жужжалъ.

Наша *Пчелка* насмѣшливо называетъ бѣднаго *жука*, о которомъ здѣсь говорится, новымъ дѣйствующимъ лицомъ Романа, и дожидается, не покажетъ ли по крайней мѣрѣ онъ въ себѣ характера!... Бѣдняжка! она не примѣчаетъ, что эти два слова:

Жукъ жужжалъ —

обрисовываютъ характеръ новаго дѣйствующаго лица если только можно такъ назвать бѣдное насѣкомое, гораздо лучше, вѣрнѣе и полнѣе, чѣмъ четыре полновѣсные тома — характеръ *Димитрія Самозванца*, и что етѣ двѣ строки имѣютъ приличнѣйшее мѣсто и производятъ успѣшнѣйшее дѣйствіе въ *VII Главѣ Онѣгина*, чѣмъ длинный эпизодъ *Калеріи* въ такъ называемомъ новомъ *Историческомъ Романѣ*!... Тьмн. Но оставьте етого *жука* въ покоѣ!... Въ *VII Главѣ Онѣгина* сыщется довольно *картинъ* набросанныхъ истинно поэтической кистью. Напримѣръ — это описаніе зимы:

Вотъ съверъ, тучи нагоняя,
 Дохнулъ, завылъ — и вотъ сама
 Идетъ волшебница зима.
 Пришла, рассыпалась; клоками
 Повисла на сукахъ дубовъ;
 Легла волнистыми коврами
 Среди полей, вокругъ холмовъ;
 Брега съ недвижною рѣкою
 Сравняла пухлой пеленою;
 Блеснулъ морозъ.

Кажется, право, читаешь оду *Державина*... *П. С.* И тѣмъ хуже для *Пушкина*! Это совсѣмъ не его тонъ... И посмотрите-ка, на что наконецъ сведено это пышное описаніе!... Пожалуйте мнѣ книжку!...

Блеснулъ морозъ. И рады мы
Проказамъ матушки зимы!

Вотъ и запѣлъ опять своимъ натуральнымъ голосомъ!... Но зато и пошло лучше!...

Не радо ей лишь сердце Тани.
 Неидетъ она зиму встрѣчать,
 Морозной пылью подышать
 И первымъ снѣгомъ съ кровли бани
 Умыть лицо, плеча и грудь.

Эта послѣдняя черта — прекрасна! Я узнаю съ ней — деревенскую *Таню*! — *Тлмн.* Но не уже ли только... *П. С.* Нѣтъ — не только!... Двѣ слѣдующія строфы представляютъ Фламандскую *картинку*, довольно вѣрно набросанную:

Отъѣзда день давно просроченъ,
 Проходитъ и послѣдній срокъ.
 Осмотрѣвъ, вновь обить, упроченъ
 Забвенью брошенный возокъ.
 Обозъ обычный, три кибитки
 Везутъ домашніе пожитки,
 Кастрюльки, стулья, сундуки,
 Варенье въ банкахъ, тюфяки,
 Перины, клѣтки съ пѣтухами,
 Горшки, тазы *et cetera* (???)...

Это *et cetera* пора бы и устать повторять безпрестанно!...

Ну, много всякаго добра.
 И вотъ въ избѣ между слугами
 Поднялся шумъ, прощальный плачъ:
 Ведутъ на дворъ осьмнадцать влячъ,
 Въ возокъ боярскій ихъ впрягаютъ,
 Готовятъ завтракъ повара,
 Горой кибитки нагружаютъ,
 Бранятся бабы, кучера.
 На влячъ тощей и косматой
 Сидитъ форрейторъ бородатой.
 Сбѣжалась челядь у воротъ
 Прощаться съ барамн. И вотъ
 Усѣлись, и возокъ почтенный
 Скользя, ползетъ за ворота.

Ну, право, хорошо!... Но — драгоцѣннѣйшее сокровище всей этой *VII Главы* есть безъ сомнѣнн — *описанн Москвы*, которое, правду сказать, одно и составляетъ всю ея поэтическую *реальность*. Это описанн сдѣлано истинно — *Гоголтовски!* Талантъ *Пушкина* здѣсь именно — въ своей тарелкѣ!... Каковъ, напримѣръ, сталъ первый *сoup-d'oeil*, брошенный имъ на эту *большую деревню!*...

Уже столпы заставъ
 Бѣлбютъ; вотъ ужъ по Тверской
 Возокъ несется чрезъ ухабы,
 Мелькаютъ мимо будки, бабы,
 Мальчишки, лавки, фонари,
 Дворцы, сады, монастыри,
 Бухарцы, сани, огороды,
 Купцы, лачужки, мужики,
 Бульвары, башни, козаки,
 Аптеки, магазины моды,
 Балконы, львы на воротахъ,
 И стая галокъ на крестахъ.

Не такъ же ли точно пестрѣетъ у насъ въ глазахъ, какъ если бъ мы въ самомъ дѣлѣ мчались по *Тверской* съ *Таней*? Не представляетъ ли это Вавулонское смѣшенн безпорядочныхъ и безсвязныхъ словъ — живой образъ нашей старушки?... Или далѣе... потрудимся завернуть вмѣстѣ съ *Таней* въ *переулокъ* къ *Харитоню!*

Къ старой теткѣ,
 Четвертый годъ больной въ чахоткѣ,
 Онѣ прнѣхали теперь.
 Имъ настезь открываетъ дверь,

Въ очкахъ, въ изорванномъ кафтанѣ,
 Съ чулкомъ въ рукѣ, съдой калмыкъъ.
 Встрѣчаетъ ихъ въ гостиной крикъ
 Княжны, простертой на диванѣ.
 Старушки съ плачемъ обнялись,
 И восклицанья полились.

Истинно умильное зрѣлище!... А привѣтственная рѣчь доброй тетушки?

Охъ, силы нѣтъ... устала грудь...
 Мнѣ тяжела теперь и радость,
 Не только грусть... душа моя,
 Ужъ никуда не годна я...
 Подъ старость жизнь такая гадость...
 И тутъ, совсѣмъ утомлена,
 Въ слезахъ раскашлялась она.

Право — самъ раскашляешься здѣсь невольно!... Но — *pes plus ultra* карикатурнаго изящества есть пародіальное изображеніе блаженной неизмѣняемости *Московскихъ антиковъ*, запоздавшихъ отъ послѣдняго столѣтія:

У тетушки Княжны Елены
 Все тотъ же тюлевой чепецъ;
 Все бѣдится Лукерья Львовна,
 Все тоже жетъ Любовь Петровна.
 Иванъ Петровичъ также глупъ,
 Семень Петровичъ также скупъ;
 У Пелагеи Николавны
 Все тотъ же другъ мосье Финмушъ;
 И тотъ же шпигъ, и тотъ же мужъ;
 А онъ, все клуба членъ исправный,
 Все также смиренъ, также глухъ,
 И также ѣсть и пьеть за двухъ.

Прелестно! неподобно!... Вотъ гдѣ надобно видѣть *Москву*, а не — въ литературныхъ *выжмахъ*... Я. Но — какое отношеніе имѣютъ всѣ эти изображенія къ *Евгенію Онъгину*?... На своемъ ли они здѣсь мѣстѣ? — П. С. Очень на своемъ! Прочитайте эпіграфъ, избранный *Пушкинымъ* для этой *VII Главы*:

Москва, Россіи дочь любима!
 Гдѣ равную тебѣ сыскать?

Вотъ текстъ, на который Поетъ хотѣлъ проповѣдывать! И не выполнилъ ли онъ предположенной себѣ задачи... Наши *Пчелиныя* пропустили это безъ вниманія; и — пустились отыскивать... *вчерашняго дня!*... Его любимое обыкновеніе всѣхъ неумытыхъ... Я хотѣлъ сказать — неумытыхъ... критиковъ *Улья* и *Каланчи*, воющихъ при подошвѣ нашего Парнасса!... На Поетъ не больше должно взыскивать, какъ сколько обязался онъ самъ сдѣлать. *VII Глава Онтыгина* назначалась самимъ творцемъ своимъ — повертѣть предъ нами *Москву* въ поетическомъ калейдоскопѣ: это и — сдѣлано, какъ нельзя лучше... *Я. Но Евгений Онтыгинъ* назвавъ *Романомъ*. Гдѣ жъ дѣйствіе... — *П. С.* Это правда! Имя здѣсь не соотвѣтствуетъ дѣлу.

Но — что намъ нужды до названья?

Въ наши времена именами не очень какъ-то дорожатся. Развѣ не видимъ мы бездушныхъ глыбъ, не имѣющихъ ни жизни, ни движенія, величаемыхъ пышными названіями *Романовъ Историческихкихъ*? Развѣ не суждено намъ было изломить глазъ о безобразнѣйшую и уродливѣйшую компиляцію, нареченную даже великимъ именемъ *Истории*? И такъ пусть *Онтыгинъ* величается названіемъ *Романа*: такъ и быть ужь!... какъ ни зовись — лишь знай свое дѣло!... *Я. Но* что же онъ въ самой вещи?... *П. С. Евгений Онтыгинъ*?... На мои глаза — это рама, въ которую нашему Поету заблаго-разсудилось вставить свои фантастическія наблюденія надъ жизнью, представлявшеюся ему — не съ степеннаго лица, а съ смѣшной изнанки! Сама рама смастерена неудачно; но *картинки*, вставляемыя въ нее, большею частью — прелестны!... Онѣ производятъ вполне эффектъ, требующійся отъ подобныхъ поетическихъ бездѣлокъ. Ихъ можно слушать —

безъ скуки, добровольно;

И могутъ *завсегда* улыбку съ насъ сорвать!...

а иногда — и полный сардоническій хохоть!... Пусть Поетъ нашъ продолжаетъ тѣшить насъ съ такимъ, ему одному свойственнымъ, искусствомъ! Это ни мало не унижаетъ его таланта! Гдѣ жизнь обвисаетъ и плѣснѣетъ, тамъ Поезія имѣетъ полное право морщиться и гримасничать!... И — я признаюсь охотно, искренно, что дожидаюсь *семи* новыхъ *Главъ Онтыгина* съ большимъ нетерпѣніемъ

и надѣюсь отъ нихъ большаго удовольствія — даже большей чести нашей литературѣ — чѣмъ отъ *одинадцати* толстыхъ грудъ *сумбуру*, посвященнаго *Нибуру!*... — Тутъ подали намъ чай, и — разговоръ обратился на несчастное сумасшествіе *Нибура*, грозившее было ему въ самое время пожалованія въ *первыя Исторіки нашего вѣка*. *Тлѣнскій* окружалъ себя безпрестанно густыми облаками табачнаго дыма; но — на лицѣ его видны были слѣды стыда и уничиженія. Примѣта добрая!...

Съ Патріаршихъ прудовъ.

(*Н. Надеждинъ*).

* * *

*) *Бахчисарайскій фонтанъ*, соч. А. С. Пушкина, напечатанъ уже третьимъ тисненіемъ: форматъ одинъ съ мелкими стихотвореніями того же Автора, вышедшими въ двухъ частяхъ въ С.Пб. 1829. Издатели не помѣстили прежняго предисловія, теперь уже не необходимаго, но въ свое время возбудившаго жаркіе споры. Въ немъ князь П. А. Вяземскій первый выказалъ всю смѣшную сторону такъ называемыхъ у насъ классиковъ, первый поднялъ знамя умной и благомыслящей критики. Въ замѣнъ сей убили, прибавленъ къ выпискѣ изъ занимательнаго Путешествія по Тавридѣ, И. М. Муравьева-Апостола отрывокъ письма самого Сочинителя къ Д..., въ которомъ читатели увидятъ, какъ часто первыя впечатлѣнія, прозаически скользя по душѣ, нечаянно послѣ разгораются въ ней огнемъ вдохновенія и созрѣваютъ до высокой Поэзіи. — Мы читали и перечитывали и въ третьемъ изданіи *Бахчисарайскій фонтанъ*. Человѣкъ, не лишенный чувства изящнаго, не устанетъ читать подобныя сочиненія, какъ охотникъ до жемчугу пересматривать богатое ожерелье. Въ каждый новый разъ удовольствіе усугубляется, потому что все болѣе и болѣе убѣждаешься въ неподдѣльной красотѣ своей драгоценности. Пушкинъ въ сей поэмѣ достигъ до неподражаемой зрѣлости искусства въ поэзіи выраженій, а въ сценѣ Заремы съ Маріей уже ясно обнаружилъ истинное драматическое дарованіе, съ боль-

*) «Литературная Газета» 1830 года, томъ I, № 22 (Рецензія подъ заглавіемъ: «Бахчисарайскій фонтанъ»). Сочиненіе Александра Пушкина. Изданіе третье. — Спб. въ типогр. Департ. Народ. Просвѣщ. 1830 (46 стран. въ 8-ю д. л.).

шимъ блескомъ въ послѣдствіи развившееся въ трагедіи: *Борисъ Годуновъ* и въ исторической повѣсти: *Полтава*. *)

1831 г.

**) *Борисъ Годуновъ*. Сочиненіе Александра Пушкина С.-Пб. 1831 г., въ т. Дѣп. народн. просвѣщенія, in-8, 142 стр.

Давно ожиданное твореніе Пушкина, наконецъ предъ судомъ публики. Поэтъ не называетъ его ни *трагедіею*, ни *драмою*, ни *историческими сценами*. Онъ конечно знаетъ, что онъ писалъ, но, кажется, хочетъ посмотрѣть, что придумаютъ другіе, опредѣляя, сущность его творенія. Вотъ любопытная задача для Русской критики! Тѣмъ, которые слышали, что Пушкинъ написалъ *трагедію*, скажемъ, что изданный имъ нынѣ *Борисъ Годуновъ* есть то самое, что называли имъ, по слухамъ, *трагедіею*.

Если отъ насъ потребуютъ читатели мнѣнія *О Борисъ Годуновъ*, скажемъ прежде всего, что мы желали бы объяснить наше мнѣніе не въ краткихъ словахъ, но въ разборѣ подробномъ.

Бориса Годунова можно обозрѣвать въ двухъ отношеніяхъ. Первое, какъ произведеніе Пушкина, Русскаго литератора, Русскаго поэта. Съ этой стороны, *Борисъ Годуновъ* есть великое явленіе нашей Словесности, шагъ къ настоящей Романтической Драмѣ, шагъ смѣлнй, дѣло дарованія необыкновеннаго. Нужно ли прибавлять, что Пушкинъ становится имъ, уже рѣшительно и безспорно, выше всѣхъ современныхъ Русскихъ поэтовъ; имя его дѣлается послѣ сего

*) Сюда не вошли еще три рецензіи, появившіяся въ 1830 году: въ «Русскомъ Инвалидѣ», № 79 (*О Евгеніи Онегинѣ*); въ «Сѣверномъ Меркуріѣ», № 55, стр. 17—218 (*Нѣчто о собраніи насѣкомыхъ, эпиграмма А. Пушкина, помѣщенная въ Подсѣнженикѣ*); въ «Дамскомъ Журналѣ», ч. 30 № 20, стр. 108—111 (*О Евгеніи Онегинѣ*).— Въ 1830 году появились статьи, относящіяся къ біографіи А. С. Пушкина въ слѣдующихъ изданіяхъ: «Галатея», ч. 17, № 35, стр. 198—200 (Некрологъ В. Л. Пушкина); «Московскій Вѣстникъ», ч. 2, № 6, стр. 201—204 (Письмо къ издателю «Московского Вѣстника.» Статья С. Аксакова); «Сѣверный Меркурій», № 27 (А mademoiselle ***, прбсавшей меня прислать ей романъ А. С. Пушкина: «Евгеній Онегинъ.» Стихотвореніе Б. Р.).

Прим. В. Зелинскаго.

**) «Московскій Телеграфъ» 1831 г., ч. 37, № 2 («Русская литература»).

причастно небольшому числу великихъ поэтовъ, донинѣ бывшихъ въ Россіи, и между ими горитъ оно яркою звѣздою.

Но, бывши Русскимъ, бывши современнымъ, Пушкинъ принадлежитъ въ то же время вѣкамъ и Европѣ. Вотъ второе отношеніе, въ которомъ должно разсматривать «Бориса Годунова». Здѣсь получаетъ онъ, безъ сомнѣнія, почетное мѣсто, но только какъ надежда на будущее, болѣе совершенное. Первый опытъ Пушкина въ семъ отношеніи не удовлетворяетъ насъ; первый шагъ его смѣлъ, отваженъ, великъ для *Русскаго поэта*, но не полонъ, не вѣренъ для поэта нашего вѣка и Европы. Можемъ теперь видѣть, что въ состояніи сдѣлать въ послѣдствіи Пушкинъ, этотъ ознаменованный небеснымъ огнемъ истинной Поэзіи человекъ; но въ «Борисѣ Годуновѣ», онъ еще не достигъ предѣловъ возможнаго для его дарованія. Языкъ Русскій доведенъ въ «Борисѣ Годуновѣ» до послѣдней, по крайней мѣрѣ въ наше время, степени совершенства; сущность творенія, напротивъ, запоздалая и близорукая: и могла ли она не быть такою даже по исторической основѣ творенія, когда Пушкинъ рабски влекся по слѣдамъ Карамзина въ обзоръ событій, и когда посвященіемъ своего творенія Карамзину, онъ невольно заставляетъ улыбнуться, въ дѣтскомъ какомъ-то раболѣпствѣ называя Карамзина — Богъ знаетъ чѣмъ! Это дѣлаетъ честь памяти и сердцу, но не философіи Поэта!

Обо всемъ этомъ постараемся поговорить подробнѣе.

*) *Борисъ Годуновъ. Сочиненіе Александра Пушкина. Санкт-петербургъ 1831 г.*

Мы прочли въ первый разъ *Бориса Годунова* очень бѣгло, удовлетворяя одному только любопытству, столь сильно возбуждаемому каждымъ сочиненіемъ Пушкина, но въ особенности «Борисомъ Годуновымъ», о которомъ такъ давно и такъ много слышали и слышимъ. Мысли и впечатлѣнія волновались въ головѣ и душѣ нашей, подобно легкому челноку на безбрежномъ океанѣ, не представляющемъ *никакой пристани*.

Надлежало возобновить путь, съ тѣмъ чтобы непремѣнно ввести умъ и чувство въ желанную пристань, и мы имѣли удовольствіе воскликнуть: *берегъ! берегъ!*

*) «Дамскій Журналъ» 1831 г. ч. 33, № 6. Статья Издателя (К. Шаликова.)

Такъ! прочитавши «Бориса Годунова» въ *другой* разъ, уразумѣешь и почувствуешь достоинство сего необыкновеннаго творенія. Оно не подходитъ подъ обыкновенные вопросы о родѣ, о формѣ и проч. и проч. Нѣтъ! на немъ лежитъ особенная, или, лучше сказать, собственная печать, подобная Микаль-Анджеловой печати на безсмертномъ куполѣ знаменитаго Римскаго храма — печать таланта неустрашаемаго, всемогущаго!

Вмѣсто *выписокъ*, мы приглашаемъ *всмотрѣться* въ сердца и умы дѣйствующихъ лицъ; въ колоритъ и перспективу картинъ общихъ и частныхъ; въ тайныя пружины страстей и напѣреній; въ основу и разнообразіе положеній, уготовляющихъ великія происшествія; въ глубину и оттѣнки характеровъ, тонкими или рѣзкими чертами отдѣляющихся одинъ отъ другаго; въ неожиданность случаевъ, кажется, не Авторомъ, но самимъ жребіемъ предназначенныхъ; наконецъ, въ языкъ, столь соотвѣтственный времени и столь свойственный каждому на той сценѣ, которую онъ занимаетъ — однимъ словомъ: кто прочтетъ наскоро и только *однажды* Бориса Годунова и станетъ судить о немъ *рѣшительно*, тотъ можетъ во многомъ легко ошибиться. Въ противномъ случаѣ каждый безпристрастный читатель скажетъ вмѣстѣ съ нами: «Одно только непостижимое воображеніе гениевъ творить *такимъ* образомъ!»

Смѣшно? а? что? что-жь не смѣешься ты?

спрашиваетъ Годуновъ у Шуйскаго въ такую минуту, когда *всякой другой вопросъ*, или вопросъ, иначе выраженный, былъ бы гораздо несовершеннѣе, и менѣе означилъ бы Годунова, Шуйскаго и семнадцатое столѣтіе.

Любовь, любовь ревнивая, слѣпая,
Одна любовь принудила меня
Все высказать.

говоритъ Маринѣ, прелестной Маринѣ, сластолюбивый Самозванецъ на тайномъ свиданіи съ нею.

Чѣмъ хвалится безумецъ!

Кто требовалъ признанья твоего? и проч.

сказала дочь Мнишеа Лжецаревичу.

Намъ кажется, что довольно сихъ двухъ примѣровъ для поясненія нашихъ мыслей о семъ твореніи, достойномъ драгоцѣнной для

Россіянь памяти Николая Михайловича Карамзина, которой оно посвящено благодарнымъ Сочинителемъ.

«Но когда дойдетъ дѣло до *классификаціи* Бориса Годунова, — между какими же сочиненіями помѣститъ его?» Вотъ нашъ отвѣтъ:

Когда Лашоссе ввелъ новый родъ комедіи (*comédie mixte*) во Французскій театръ, подъ именемъ драмы; то чрезвычайное множество критиковъ того времени взирало на нее, какъ на искаженіе искусства. Но столѣтній успѣхъ драмы доказаль, что ея достоинство зависѣло не отъ новости и моды, которыя во всякое время и во всякомъ родѣ весьма могущественны, но не надолго — и драма не осталась *безпріятною*. Напротивъ того всѣ Европейскіе театры, какъ извѣстно, приняли *драму* въ свои объятія. Останется ли *новый родъ* сочиненія, вышедшій изъ-подъ магическаго пера, безъ послѣдователей? и *Борисъ Годуновъ* будетъ началомъ новой классификаціи.

Издатель (К. Шаликовъ).

* * *

*) *Разговоръ о Борисъ Годуновъ А. С. Пушкина.*

Онъ. Читали-ль вы Бориса Годуновъ?

Я. Читаль.

Онъ. Я и самъ читаль его; но и теперь еще не знаю, какъ онъ писанъ: стихами или прозою?

Я. И стихами, и прозой, и чѣмъ вамъ угодно. Мы теперь не называемъ *стихами* выраженій, предлагаемыхъ числомъ условленныхъ слоговъ. Пишите прозой или стихами, и вы достигнете своей цѣли, если перо выразитъ душу; если сочиненіе ваше не исказитъ природы и если сердце ваше передаетъ сердцамъ другимъ чувствованія пламенныя, живыя и тѣ величественныя мысли, которыя *Лонгинъ* называль звуками и отголосками души возвышенной.

Онъ. Вы упоминаете о *Лонгинъ*. Но вить и *Лонгинъ* предлагаль правила?

Я. Нѣтъ! онъ только отдаваль себѣ отчетъ въ томъ, какъ дѣйствовали на него выраженія необычныя и величественныя, принадлежащія душѣ и сердцу, а не правиламъ схоластическимъ. Вотъ

*) «Дамскій Журналь» 1831 г., ч. 33, № 10. Статья Мечтателя. (С. Глинка).

его слова: «Мы переселяемъ въ произведенія свои внутреннюю мысль, внутреннее чувство, и — *высокое*, такъ сказать, есть звукъ, издаваемый душой великой».

Онъ. Такъ по вашему мнѣнію правила вовсе ненужны?

Я. Монтескьё радовался, когда въ обществѣ другіе говорили, а онъ могъ молчать и не тратить словъ, которыя часто вѣтръ тогда же разноситъ, когда произносимъ ихъ. А потому вмѣсто собственнаго моего отвѣта предложу вамъ то, что *Вольтеръ* сказалъ о *правилахъ*.

«Почти всѣ искусства», говоритъ онъ, «обременены безчисленными *правилами*, по большей части ложными и бесполезными. Вездѣ видимъ уроки, а образцовъ почти нигдѣ. Всего легче уместовать о томъ, чего самъ не сдѣлаешь! На одного *поэта* есть сто *пистикъ*. Видишь множество учителей *элокаенции*, а ни одного оратора. Вездѣ *критики* вездѣ *истолкованія* и *перетолкованія*, вездѣ *опредѣленія* и *раздѣленія*, и все для того, чтобы запутать, затемнить то, что само по себѣ и просто и ясно». Говоря о томъ же предметѣ, остроумный *Сюаръ* сказалъ: «Геній подобенъ Гуливеру, опутанному *Лилипутцами* во время сна его: онъ проснулся, всталъ и разорвалъ паутины оковы, которыя карликами почитались за канаты».

Онъ. Согласенъ и несогласенъ. Вы такъ меня засыпали *ситуациями*, что я и опомниться не успѣлъ. Но къ какому разряду, къ какому роду Словесности принадлежитъ «Борисъ Годуновъ»?

Я. Не знаю. Это тайна А. С. Пушкина. Онъ не назвалъ произведенія своего ни трагедію, ни драмою и никакимъ извѣстнымъ именемъ, относящимся къ драматическимъ сочиненіямъ. Но дѣло не объ имени, а о томъ: видите ли вы старину; видите ли тѣ лица, которыя тогда дѣйствовали; слышите ли вы ихъ рѣчи? прошедшаго нельзя переименовать. Слѣдственно: если Пушкинъ силою очарованія такъ увлечъ васъ въ прошедшее, что вы на время забыли настоящее; то онъ, какъ мнѣ кажется, достигъ цѣли своей.

Онъ. И на это не дамъ рѣшительнаго отвѣта. У насъ такъ много наговорено о *классицизмѣ* и о *романтизмѣ*, что я не знаю, къ чему пристать?

Я. Къ тому, куда сердце поведетъ. — Свободныя искусства потому названы свободными, что они позволяютъ наслаждаться тѣмъ,

что кому нравится, а откладываетъ въ сторону то, что заставляетъ зѣвать.

Онъ. Признаюсь, что Пушкинъ такъ быстро увлекалъ меня за собою летучими своими переходами, что мнѣ нѣкогда было и передохнуть, и зѣвнуть.

Я. Слѣдственно онъ достигъ своей цѣли...

Онъ. Слѣдственно...

Тутъ принесли ко мнѣ новый романъ: *Киргизъ-Кайсакъ*. Пріятель мой ушелъ, и я принялся читать и, при всей охотѣ моей къ раннему сну, зачитался до зари утренней.— Еслибъ мой пріятель спросилъ у меня мнѣніе мое о *Киргизъ-Кайсакъ*, то, по привычкѣ къ *ситуціямъ*, я отвѣчалъ бы ему словами *Паскаля*, котораго никто еще не причислялъ къ *романтикамъ*. «У сердца», сказалъ онъ, «есть такіе доводы, которыхъ умъ не понимаетъ».

Вотъ вся тайна романтизма.

Мечтатель (С. Глинка).

* * *

*) *Борисъ Годуновъ. Сочиненіе Александра Пушкина.*

Твореніе первокласнаго Поэта, обращающаго на себя вниманіе отечественной и иностранной публики, достойно подробнаго, основательнаго, во всѣхъ отношеніяхъ обдуманнаго разбора, а на это надобно время: вотъ почему мы донинѣ не печатали разсмотрѣнія сего новаго блистательнаго произведенія. Одинъ просвѣщенный любитель Литературы доставилъ намъ на сихъ дняхъ разборъ «Бориса Годунова»; но какъ статья его вышла весьма пространная, и заняла бы въ Сѣверной Пчелѣ нѣсколько нумеровъ сряду, то мы и рѣшились напечатать ее въ Сынѣ Отечества. Начало ея появится въ 24-й книжкѣ сего Журнала.

* * *

*) Литературные преобразователи, подобно политическимъ, бываютъ двухъ родовъ: одни дѣйствуютъ по внутреннему голосу генія,

*) «Сѣверная Пчела» 1831 г., № 133. «Новыя книги».

***) «Сынъ Отечества» 1831 г., т. 20, часть 142 и 143, №№: 24, 25, 26, 27 и 28. Статья В. Плавина, подъ заглавіемъ: «Замѣчанія на сочиненіе А. С. Пушкина: *Борисъ Годуновъ*».

по призванію, и хотя такъ, что не въ силахъ противостоять сему безпокойному, вѣчно алчущему дѣлу духу, но во всѣхъ ихъ начинаніяхъ, дѣлахъ и преобразованіяхъ видна сила предвѣднія, свободное избраніе. Такъ дѣйствовалъ великій Ломоносовъ; такъ шелъ по слѣдамъ его, менѣе сильный, съ меньшею смѣлостію, но кажется, съ большею увѣренностію, Карамзинъ; такъ дѣйствовалъ недовѣрчивый къ могуществу своему В. А. Жуковскій. Другіе развиваютъ свои силы и направляютъ ихъ беззаботно, не думая о своемъ великомъ назначеніи, о призваніи — жить и дѣйствовать для человѣчества, вести его въ дѣлѣ совершенствованія. Первые имѣютъ свой постоянный характеръ: ихъ совершенства суть пополненія того, чего не доставало человѣчеству и къ чему оно уже готово; ихъ ошибки и заблужденія носятъ печать современности и мѣстности; — а послѣдніе равно постоянны, безхарактерны въ совершенствахъ своихъ и недостаткахъ; ихъ самое величіе нерѣдко кажется чудовищнымъ, часто остается незамѣченнымъ; ибо тамъ господствуетъ воля твердая, непоколебимая и произвольная подчиненность принятымъ однажды навсегда правиламъ; здѣсь — прихоть, мелочные и ничтожные случаи, физическая необходимость, деспотизмъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Заслуги первыхъ мы принимаемъ съ благодарностію благотворимыхъ; ошибки прощаемъ, какъ неизбѣжныя слѣдствія слабости человѣческой природы; онѣ столь же поучительны, какъ и совершенства. Заслуги послѣднихъ мы принимаемъ какъ долгъ, неожиданно заплаченный; на ихъ бесполезныя ошибки смотримъ, какъ на похищенія, ибо чувствуемъ — часто безъ сознанія — что талантъ является на службу человѣчеству.

Я не хочу опредѣлять мѣста А. С. Пушкину въ ряду образователей нашей Литературы, потому, что не пишу характеристики сего Поэта, а только думаю по возможности оцѣнить послѣднее его произведеніе: *Борисъ Годуновъ*, и въ той только мѣрѣ буду касаться общаго духа его Поэзіи, сколько нужно для моей цѣли, и сколько оный проявляется въ семъ произведеніи. — Читатель увидитъ, когда сей Поэтъ возвышается даже надъ первыми, и когда падаетъ до послѣднихъ. Но тѣмъ не менѣе нахожу приличнымъ показать здѣсь главную заслугу Г. Пушкина относительно языка, и какъ полезное, такъ и вредное его вліяніе въ нашей Литературѣ. Онъ, послѣ И. А. Крылова, въ своемъ родѣ, по всей справедливости можетъ назваться первымъ народнымъ поэтомъ, въ полномъ смыслѣ этого выраженія.

Всѣ ихъ предшественники, Классики и Романтики, писали для немногихъ, для высшихъ только сословій; самые Висописцы всегда употребляли языкъ внижній. И. А. Крыловъ *Басни*, а потомъ А. С. Пушкинъ *Поэмы* начали писать такъ, что одно и то же произведеніе и вельможа и простолюдинъ читаютъ съ равнымъ удовольствіемъ. Г. Пушкинъ не старается, такъ сказать, *орымарство-рить* Русскихъ витязей; онъ умѣлъ найти черты изящества въ нихъ самихъ; онъ не старается, подобно В. А. Жуковскому, обогащать Русскій языкъ новыми оборотами, а разработываетъ богатый, неисчерпаемый рудникъ языка народнаго; онъ матеріальную часть нашего языка знаетъ лучше всѣхъ другихъ Писателей; его можно назвать окончательнымъ образователемъ внѣшней стороны нашей Поэзіи; онъ въ сладкозвучіи стиховъ превзошелъ даже Батюшкова. Но съ другой стороны, большая часть его Поэмъ отличается бѣдностью содержанія, недостаткомъ единства идеи, цѣлости, *поэтической истины*, а часто смѣлость и удалство героевъ замѣняютъ *доблесть*. Эти недостатки, не всегда замѣтные въ немъ по причинѣ прелести формъ, вошли въ моду у второстепенныхъ и мелочныхъ Поэтовъ, и многіе значительные таланты сдѣлались отъ сего подражанія смѣшными.

Лучшіе наши Критики давно отдали ему вѣнокъ первенства предъ всѣми Русскими новѣйшими Поэтами; противъ этого не могу ничего сказать; всѣ назвали его гениемъ, — противъ сего еще менѣе можно спорить; но думаю, время рѣшить вѣрнѣе насъ: ни голосъ друга, ни голосъ врага не пробьется сквозь тьму вѣковъ; ни злонамѣренная лесть, ни хилая зависть, ни усердное невѣжество не уменьшатъ и не увеличатъ силы истиннаго таланта. Гений есть искра Божества: дѣла его суть, какъ бы ревность къ мощной творящей природѣ, съ которою онъ находится въ непрерывной борьбѣ, въ какомъ-то непрестанномъ дружественномъ спорѣ; въ произведеніяхъ своихъ онъ простъ, но простота его недосыгаема, — она всегда имѣетъ свою особенность; онъ свободенъ, но его свобода подчинена вѣчной идеѣ изящества, оживленной стройностію цѣлаго, величественною доблестію; его произведенія возвышаютъ духъ и радуютъ сердце бытіемъ своимъ; онъ небреженъ, но самая небрежность его разливаетъ какую-то сладость. Воспламенившись предметомъ, онъ не думаетъ объ извѣстномъ классѣ читателей; онъ осуществляетъ свою идею, дабы плѣнить *человѣка!* — Гений не всегда чуждъ

своекорыстныхъ видовъ, но никогда не забываетъ чловѣчества, коего онъ есть представитель и на службу коего явился, ибо самому себѣ принадлежитъ только своими страстями, чувствами, тѣмъ, что въ немъ есть обыкновеннаго. Онъ увлекаетъ за собою свой вѣкъ, или по крайней мѣрѣ націю. И такъ, если гевій Поэта не принадлежитъ ему самому, если Поэтъ не имѣетъ права направлять его къ мелочнымъ житейскимъ расчетамъ, не можетъ употреблять его, какъ игрушку, — что же есть Поэзія? Назовемъ ли ее *стопомѣтною рѣчью*? Это значитъ назвать безцвѣтные, безхарактерные, безжизненные очерки, являющіеся только въ двухъ протяженіяхъ, Живописью! Не есть ли она стремленіе *подражать природѣ*? Нѣтъ! Тогда бы она не отличалась отъ Прозы, которая выражаетъ чувственныя представленія и умозрѣнія, возбуждаемыя дѣйствительною природою, съ которою они имѣютъ живое сходство. Прозаикъ идетъ по слѣдамъ природы; списываетъ, подражаетъ, находится подъ вліяніемъ дѣйствительности. Поэтъ чувствуетъ, что самыя изящнѣйшія произведенія природы суть чувственно-несовершенны, ибо они существуютъ не для себя, не какъ отдѣльныя, самостоятельныя картины, но *необходимо нужны* для цѣлости *вселенной*, которая необозрима, слѣдовательно неоцѣняема, и притомъ всякая часть природы первоначальною цѣлію имѣетъ назначеніе житейское, прозаическое, слѣдовательно является какъ издѣліе ремесла. Посему духъ Поэта, преобладая надъ природою, побуждаетъ его къ преобразованію сей послѣдней, къ произведенію существъ идеальныхъ, чувственно-совершенныхъ, которыя самыми недостатками, отсутствіемъ сущности, малообъемлемостію, прозрачностію, какъ, напримѣръ: въ Живописи *третье протяженіе*, въ Поэзіи *движенія*, прельщаютъ насъ; и въ семъ-то отношеніи Поэтъ выигрываетъ въ спорѣ съ Природою.

Не имѣя надобности здѣсь различать Художество отъ Поэзіи, и сію послѣднюю раздѣлять подробно и точно, по родамъ предметовъ и способамъ изложенія, я однако почитаю необходимымъ для моей цѣли опредѣлить Поэзію Драматическую, и отличить ее отъ всякой другой. Художества, какъ Искусства вещественно изящныя, оспариваютъ въ твореніяхъ своихъ и природу вещественную, постепенность которой ясно отражается въ постепенномъ переходѣ ихъ отъ *Пластики* до *Живописи Исторической*; а Поэзія, какъ Искусство идеальное, развивается по степенямъ духовной жизни

человѣка: чувствованія изливаются въ *Лирической Поэзіи*; изображенія мечтаній о минувшемъ въ *Эпопее*; прекрасныя помыслы о дѣлахъ житейскихъ и нравственныхъ — въ *Дидактической Поэзіи*; живыя дѣянія, рождаемыя и сопровождающіяся сильными, постоянными чувствованіями, или чувствованія, являющіяся въ живыхъ дѣяніяхъ, питаемыхъ мечтами, устрояемыхъ сильнымъ разумомъ къ возвышенію нравственнаго бытія человѣка, составляютъ *Драму*.

И такъ Драма, какъ изящное произведеніе, требуетъ извѣстной идеи и сообразнаго оной выраженія; она нуждается въ стройности цѣлаго, въ доблести чувствованій и помысловъ и въ пріятности формъ; какъ словесное произведеніе, ищетъ связнаго теченія рѣчи и соблюденія правилъ языка; какъ Поэзія, должна выражать въ звуковой, въ согласно текущей рѣчи міръ идеальный. Но всѣ сія условія еще не опредѣляютъ Драмы: она есть послѣднее высшее развитіе изящнаго; представляетъ дѣянія нравственно-духовныхъ существъ, которыя, въ слѣдствіе изложенныхъ требованій, не могутъ здѣсь являться съ характерами обыкновенными, каковыя мы встрѣчаемъ повсемѣстно. Если Драма *положительно* изящная, *не комическая*, то она отбрасываетъ все смѣшное; здѣсь мелочныя повседневныя движенія сердца не могутъ ни вести, ни останавливать дѣйствія. Впрочемъ это не значитъ, что Поэтъ долженъ выбирать дѣйствія, имѣющія только историческую важность — нѣтъ! — только великіе характеры могутъ дѣйствовать въ *высокой* Драмѣ; только души сильныя, борясь или съ собственной натурою, или съ игрою случая и прихотью судьбы, или ухищреніями и страстями другихъ лицъ также сильныхъ, могутъ потрясти, возвысить душу крѣпкую и привести ее въ умиленіе; ибо цѣль Драмы, равно какъ и всего изящнаго, сдѣлать читателя или зрителя чувствительнѣе, добрѣе, благороднѣе.

Сей родъ Поэзіи требуетъ дѣйствія занимательнаго, сильнаго, достаточнаго для дѣйствованія на благородно-чувственную сторону: это необходимое условіе Драмы. Сія необходимость предполагаетъ извѣстныя *единства*, безъ которыхъ нельзя держать въ непрерывномъ напряженіи душу зрителя и направлять его чувствованія. Но что сія *единства*? Какъ должно понимать ихъ? Чего требуетъ, относительно сихъ единствъ, существо Драмы? — Ихъ считается обыкновенно три: единство дѣйствія, единство времени и единство мѣста; но забываютъ къ тому прибавить четвертое, единство характеровъ, и кажется потому, что сливаются оное съ первымъ. Если

это предположеніе справедливо, то я не знаю, почему бы всѣхъ ихъ не слить въ одно единство дѣйствія, ибо подъ симъ послѣднимъ надобно разумѣть не только непрерывную послѣдовательность случаевъ, къ одному концу направленныхъ и развивающихъ ходъ Драмы, но и преимущественно то, чтобъ все дѣйствіе имѣло одинаковый характеръ, не смотря ни на какія препятствія, ускоренія и измѣненія, чтобъ каждое лице, при всѣхъ бореиныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ, дѣйствовало по одному чувствованію, или одной идеѣ; чтобъ фізіономія его видна была во всѣхъ многообразныхъ положеніяхъ; чтобъ желанія и усилія всѣхъ вмѣстѣ самымъ противоборствомъ своимъ составляли одно цѣлое *d'ensemble*. Слѣдовательно Драма можетъ столько обнимать времени, сколько, по естественному ходу дѣлъ, чувствованія и идеи, какъ силы, движущія героевъ, могутъ сохранять свой характеръ. — И такъ количество времени здѣсь опредѣляется степенью измѣняемости побужденій къ дѣйствію; посему высокая Драма ни совершиться не можетъ въ нѣсколько часовъ, ни продолжиться на нѣсколько возрастовъ человѣка. Вотъ единство времени! — Мѣсто дѣйствованія подчиняется тѣмъ же условіямъ; впрочемъ перемѣна онаго ограничивается не одною возможностью, но и необходимостію, проистекающею изъ характера дѣйствія и обстоятельствъ, въ которыхъ находятся лица. Ибо что можетъ быть неприятели, когда видишь, какъ Сочинитель выводитъ героевъ своихъ на сборное мѣсто, подобно Китайскимъ тѣнямъ, чтобъ показать ихъ зрителю, или когда заставляетъ зрителя на *коврѣ самолетъ* гоняться по *бѣлу свѣту* за героями, потому только, что они властны быть *тамъ и сямъ*? Зритель можетъ перенестись и за *тридевять земель*, если необходимый ходъ дѣйствія требуетъ того, такъ, чтобъ мѣсто, развивая оное, не могло быть перемѣнено, не вреда цѣлому.

Вотъ условія, безъ которыхъ нельзя произвести извѣстнаго вліянія въ чувствованіяхъ, дабы дать имъ то или другое направленіе; но Поэтъ, хотя и не обязанъ размножать наши познанія, уничтожать заблужденія, объяснять метафизическія и историческія истины, однако онъ не можетъ положительно противорѣчить симъ послѣднимъ и вводить насъ въ заблужденія; а драматическій Поэтъ, представляя въ изящныхъ видахъ свободно-дѣятельную сторону человѣка, отдаленнѣйшею цѣлію имѣетъ нравственность. Посему дѣйствіе Драмы, должно быть назидательно; и притомъ какъ общій

ходъ ея, такъ и частныя поступки лицъ, ихъ мысли и чувстваванія, изображая собственные ихъ характеры, должны выражать и характеръ того народа и духъ того времени, къ которымъ принадлежитъ дѣйствию. Языкъ, также удовлетворяя симъ требованіямъ, долженъ быть чистъ, благороденъ, звученъ и выразителенъ.

Конечно, приступая къ разбору извѣстнаго сочиненія, кажется, совсѣмъ бы не нужно было говорить столь много о предметахъ постороннихъ, или, по крайней мѣрѣ, имѣющихъ съ главнымъ предметомъ связь посредственную, отдаленную; но не всегда и вездѣ можно дѣйствовать одинаково: у насъ мнѣнія литературныя еще совсѣмъ не установились, — они теперь въ какомъ-то броженіи; одни крѣпко держатся старофранцузской чопорной школы, и готовы прокричать: *анаема, аще кто прибавитъ или убавитъ!* Другіе хотятъ произвести какую-то литературную революцію, полагая, что Романтизмъ не долженъ имѣть ни правилъ, ни законовъ; они думаютъ установить какое-то, въ отношеніи къ изящному, равенство между частями, дѣйствіями, явленіями и даже отправленіями природы, и, какъ бы въ отмщеніе доблестному самоотверженію героевъ и величію душъ сильныхъ, которыя во всѣхъ вѣкахъ воспламеняли гени пѣснопѣвцовъ, съ большимъ жаромъ воспѣвають низкихъ бродягъ, головорѣзовъ, бездушныхъ самоубійцъ, безжизненныхъ сластолюбцевъ, сладострастныхъ буяновъ, нежели великихъ людей. Третьи, боясь отступить отъ учительскихъ тетрадовъ, ищутъ въ Поэзій положительныхъ наставленій, и не отличаютъ Поэмы отъ Исторіи, Сатиры отъ Провѣди. Не принадлежа ни къ одной изъ сихъ партій, равно и ко многимъ другимъ, основаннымъ на дружбѣ, на расчетахъ и проч., я счелъ нужнымъ предварительно обнаружить мой образъ мыслей о семъ предметѣ, дабы показать и самое въ дѣлѣ семъ мое намѣреніе, которое истекаетъ изъ внутренняго моего убѣжденія.

Можетъ быть, Поэтъ и всякій другой читатель найдетъ здѣсь ошибочныя мнѣнія — это необходимо; но никто не уличитъ меня въ злонамѣренности и пристрастіи. Только любовь, только состраданіе къ сиротствующей нашей Литературѣ, которую нещадно искажаютъ великіе таланты, созданные для того, чтобъ возлелѣять, возрастить и возвеличить ее, побудили меня накликать на себя непріязнь усердныхъ защитниковъ того, кто выше ихъ покровя. Можетъ быть, какой-нибудь юный талантъ услышитъ мой голосъ, и... но къ дѣлу!

Прочитавъ *Бориса Годунова*, стараешься припомнить дѣйствіе, хочешь остановиться на тѣхъ случаяхъ, которые бы, удерживая героевъ въ подвигахъ доблестныхъ, или увлекая къ бѣдствіямъ и гибели, беспокоили, тревожили, устрашали читателя, но — не находишь сего? Ищешь сильныхъ, возвышенныхъ чувствованій, и — вромѣ двухъ или трехъ мѣстъ, принужденъ остаешься довольствоваться милыми, живыми, вѣрными списками съ обыкновенной природы!

Конечно можно бѣ было спросить: зачѣмъ произведеніе сіе названо *Борисъ Годуновъ*? Можетъ ли *Борисъ* назваться главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, героемъ Драмы? —

Рѣшительно нѣтъ! — Но это назовутъ мелочными придирками; это послужитъ источникомъ и основаніемъ эпиграммъ. — И такъ, рассмотримъ *дѣйствіе*. Оно состоитъ изъ 22, въ разныхъ мѣстахъ происходящихъ сценъ: въ 1-й, — 1598 года, въ Кремлевскихъ палатахъ — Шуйскій, утверждая, что Борисъ притворно отговаривается отъ Престола, котораго конечно никакъ и никому не уступить, рассказываетъ Воротынскому о убіеніи Дмитрія, о своемъ криводушіи, спомоществовавшемъ скрыть злодѣяніе, и доказываетъ права всѣхъ Князей на престоль. —

Во второй, — на Красной площади — Щелкаловъ, верховный Дьякъ успокоиваетъ сѣтующій народъ, объявляя, что Патріархъ и Воаре хотятъ употребить рѣшительное средство къ убѣжденію Бориса принять Корону. — Въ 3-й, въ Кремлевскихъ палатахъ — Борисъ, упрошенный за кулисами, на сценѣ соглашается царствовать; а Шуйскій, который и прежде зналъ, чѣмъ все это кончится, теперь отказывается отъ своихъ словъ, за что Воротынскій назвалъ его *лукавымъ царедворцемъ*. — Четвертая сцена происходитъ 1603 года въ Чудовомъ монастырѣ, гдѣ *никто Григорій*, рассказавъ свой сонъ отцу Пимену, который писалъ въ то время лѣтопись, разспрашиваетъ у него о смерти Царевича, и потомъ грозитъ Борису *судомъ мірскимъ* и *Божіимъ*. — Въ 5-й — палата Патріарха — Патріархъ приказываетъ поймать убѣжавшаго Григорія. — 6-я представляетъ въ царскихъ палатахъ двухъ Стольниковъ, разбѣжавшихся при появленіи Царя, который, поскучавъ неблагоугодною народа, и самъ скрывается. — 7-я состоитъ въ томъ, что монахи, пируя въ корчмѣ на Литовской границѣ, попались въ руки царскимъ сыщикамъ, отъ которыхъ Григорій, бывший съ монахами, хотѣлъ было отдѣлаться хитростію; но не успѣвъ въ томъ, долженъ былъ

прибѣгнуть къ силѣ, и тѣмъ спасся. — 8-я представляетъ домъ Шуйскаго, гдѣ множество гостей ужинаютъ и, выпивъ за здоровье Царя, расходятся; остается одинъ Пушкинъ, разсуждаетъ съ хозяиномъ о Самозванцѣ, о предстоящей опасности, о безразсудной жестокости Бориса, окружившаго всѣхъ Бояръ шпионами, и уходитъ. — Въ 9-й царскія палаты — Царевна оплакиваетъ жениха; Царевичъ чертитъ карту; Царь, вошедъ, состраждетъ первой, одобряетъ трудъ другаго, наслаждается семейственнымъ счастьемъ; но Семенъ Годуновъ, явившись съ доносами, разстроилъ тихія и пріятныя мечты Царя; ихъ мѣсто заступаетъ подозрѣніе и злоба. Когда же является Шуйскій и обнаруживаетъ опасность отъ появленія Самозванца, то страхъ и отчаяніе овладѣваютъ сердцемъ Царя. Въ 10-й сценѣ, которая происходитъ въ Краковѣ, въ домѣ Вишневецкаго, сначала Pater Черниковскій даетъ наставленія Самозванцу, потомъ сей послѣдній принимаетъ всѣхъ собирающихся подъ его знамена. 11-я представляетъ балъ въ Самборскомъ домѣ Мнишека. Марина назначаетъ тайное свиданіе Самозванцу; въ слѣдствіе сего назначенія, онъ является *ночью, въ саду, у фонтана* — это 12-я сцена, — и тамъ сначала въ монологѣ, а потомъ предъ Мариною изливаетъ свои чувствованія любви; но сія гордая шляхтянка, упоенная мечтами будущаго величія, а не любовію, заставляетъ его разсказать, что онъ бродяга. Марина, оскорбленная любовію и надеждами обманщика, рѣшается разорвать съ нимъ связь и открыть его обманъ, но за гордость и рѣшимость признаетъ его Царевичемъ, вопреки собственному его признанію, и уходитъ, приказавъ ему спѣшить въ Москву.

Въ 13-й, Самозванецъ съ войсками переходитъ Литовскую границу, гдѣ онъ завидуетъ чистой радости Курбскаго. — 14-я представляетъ думу Царскую. Патріархъ совѣтуетъ, для успокоенія народа, волнуемаго появленіемъ Лже-Димитрія, открыть мощи Димитрія; но Шуйскій, замѣтивъ смущеніе Царя, отклоняетъ сей совѣтъ, и берется самъ успокоить встревоженный народъ. — 15-я происходитъ близъ Новгорода-Сѣверскаго, гдѣ, при побѣгѣ Царскихъ войскъ, Маржеретъ и Вальтеръ-Розень разсуждаютъ по-*Французско-Нѣмецки* о семь дѣлѣ. — Въ 16-й, предъ дверьми Собора, Царь далъ милостыню юродивому за то, что сей совѣтовалъ ему перерѣзать ребятишекъ, какъ онъ зарѣзалъ Царевича. — Въ 17-й — Сѣвскѣ. — Самозванецъ допрашиваетъ плѣннаго Русскаго, осуждаетъ

распоряженія Бориса, приказываетъ приготовиться къ бою; плѣнникъ пугаетъ Поляка кулакомъ. — Въ 18-й, — Лѣсъ. — Лже-Димитрій и Пушкинъ, спасаясь послѣ пораженія, располагаются ночевать въ лѣсу. — 19-я происходитъ въ Царскихъ палатахъ: Борисъ предполагаетъ уничтожить мѣстничество, поручаетъ Басманову главное начальство надъ войсками, идетъ принять гостей иноземныхъ, и вдругъ, почувствовавъ приближеніе смерти, дѣлаетъ завѣщаніе Царевичу и приказываетъ постричь себя въ схиму. — Въ 20-й, ставка Басманова. — Пушкинъ, посланный Самозванцемъ къ Басманову, склоняетъ его измѣнить Θεодору; Басмановъ остается вѣрнъ; Пушкинъ уходитъ, тотъ начинаетъ колебаться, и вдругъ на что-то рѣшается. — Въ 21-й, Пушкинъ на лобномъ мѣстѣ убѣждаетъ народъ принять сторону Лже-Димитрія. Народъ въ изступленіи стремится ко дворцу низложить Θεодора. — Въ послѣдней сценѣ Голицынъ, Масальскій, Молчановъ, Шеремединовъ и три стрѣльца входятъ въ домъ Годунова, и задушивъ Царицу вдову и Θεодора, объявляютъ, что они отравились ядомъ.

Изъ сей выписки содержанія, въ которой я старался ни прибавить, ни убавить, какъ связи, такъ и несвязности, видно, что дѣйствіе Драмы не имѣетъ ни единства, ни полноты; ибо сначала дѣйствующая сила содержится въ Борисѣ, а съ четвертой сцены все принимаетъ другой видъ: дѣйствіе проистекаетъ изъ Самозванца, такъ, что Бориса уже нѣтъ, а Драма все еще идетъ. Множество совершенныхъ картинъ, которыя хотя мастерски отдѣланы, не имѣютъ здѣсь никакой цѣли, и нимало не способствуютъ ходу цѣлаго; напримѣръ: разговоръ Патріарха съ Игуменомъ, превосходно изображая важную духовную особу того времени, нисколько не развиваетъ общаго дѣйствія. Слѣдующая за тѣмъ сцена, въ которой два Стольника превратно изображаютъ характеръ Царя, а сей, хотя довольно вѣрно, но совершенно не умѣста описываетъ характеръ народа — есть лишняя. Балъ у Мнишека, и слѣдствіе онаго — свиданіе у фонтана, не имѣютъ ни малѣйшей связи ни съ предъидущимъ, ни съ послѣдующимъ, и проч.

Дѣйствіе сіе и отъ того теряетъ единство, что Сочинитель взялъ время разнохарактерное, ибо во время избранія Бориса, народъ любилъ его, и желаніе имѣть его Царемъ было всеобщее, единоедушное, искреннее; да и самъ Борисъ находилъ пищу для своего честолюбія въ благотвореніи народу; властолюбіе его было тѣсно

соединено съ пользами государства; а подъ конецъ его царствованія, безумные временщики, низкіе доносчики и клеветники расторгли взаимную довѣренность между Царемъ и народомъ, а тѣмъ, разрушивъ счастье того и другаго, возродили взаимную ненависть. Тогда Царь по временамъ прибѣгалъ къ мѣрамъ жестокимъ, ненавистнымъ народу, а сей послѣдній, забывъ благодѣянія, сдѣлался неблагодарнымъ: подстрекаемый боярами, ропталъ на Царя Бориса и позорно предалъ родъ его. По сей разнохарактерности все сіе время не можетъ входить въ одну Драму, хотя бы оно въ пяти часахъ заключалось, — предположимъ невозможное. Дѣйствующія лица здѣсь въ началѣ Драмы являются съ такими побужденіями и желаніями, которыхъ онѣ послѣ бѣгутъ, не терпятъ. Народъ пламенно желаетъ власти Годунова, потомъ хладнокровенъ къ ней, наконецъ ненавидитъ ее. Это естественно въ Исторіи, позволительно въ Романѣ, но въ Поэмѣ, а преимущественно въ Драмѣ, такое разночувствіе можетъ быть допущено въ такомъ только случаѣ, когда то и другое чувствованіе проистекаютъ изъ одного источника, или когда одно изъ другаго рождается непосредственно, какъ, на примѣръ, любовь и мщеніе за истинную или мнимую невѣрность. Здѣсь любовь берется только какъ завязка, — начало; ревность — дѣйствіе, мщеніе — развязка, и потому только совмѣщаются въ одномъ произведеніи, что отдѣльно существовать не могутъ. Григорій (а кто онъ? откуда и зачѣмъ здѣсь? это загадка!) является вначалѣ простымъ мечтателемъ, не понимаетъ даже сна, предвѣщающаго участь его, завидуетъ безнадежно молодымъ, со славою проведеннымъ, лѣтамъ Пимена, угрожаетъ Борису судомъ божескимъ и человѣческимъ безъ всякихъ видовъ, и вдругъ въ слѣдующей же сценѣ говорятъ о немъ, какъ о Самоубицѣ. Борисъ совсѣмъ не имѣетъ характера: онъ дѣйствуетъ несравненно менѣе, нежели въ Исторіи, хотя мы отъ Поэзіи ожидаемъ всегда болѣе; хотимъ видѣть не только дѣйствительное, но и непремѣнно возможное, — и не встрѣчаемъ ни одного рѣшительнаго движенія воли его, кромѣ возвышенія Васманова. Посему онъ нисколько не занимаетъ насъ, не возбуждаетъ никакого участія. Второстепенныя лица совершенно не дѣйствуютъ; ни одно изъ нихъ не имѣетъ собственного желанія, или идеи, такъ сказать, движущей и привязывающей его къ общему дѣйствію. Доказательства сего мнѣнія будутъ послѣ, для избѣжанія повтореній.

Съ одной стороны излишество или неумѣстное введеніе случаевъ, не имѣющихъ ничего драматическаго, съ другой — опущеніе необходимыхъ для сообщенія характера дѣйствію, для возбужденія участія, и третіе, какъ слѣдствіе того и другаго — недостатокъ связи въ ходѣ пѣлаго, представляютъ Драму въ отрывкахъ, заставляютъ безпрестанно переселяться съ одного мѣста на другое безъ всякой нужды. Это кочеваніе происходитъ отъ того, что Поэтъ выбираетъ мѣста, которыя совсѣмъ неспособны развить дѣйствіе, а иногда мѣсто прямо противорѣчитъ дѣйствію.

Все сказанное доселѣ вообще яснѣе можно видѣть изъ частнаго разбора каждой сцены въ отдѣльности самой по себѣ, и въ отношеніи къ другимъ. Но сіе предполагаемое разсмотрѣніе покажетъ намъ и множество частныхъ красотъ, истинно высокихъ.

О первой сценѣ можно замѣтить, что она происходитъ на такомъ мѣстѣ, которое стѣсняетъ ее и необходимо заставляетъ, прервавъ дѣйствіе, перенести оное тотчасъ на другое мѣсто, болѣе приличное; ибо нужно показать участіе народа въ дѣлѣ избранія Царя; да и время выбрано неудачно. Если бы поэтъ началъ свою драму послѣднимъ днемъ избранія, то всѣ три первыя сцены составили бы связанное и богатое дѣйствованіемъ начало, а преимущественно послѣдняя изъ нихъ могла имѣть и особенную силу и занимательность, когда бы она происходила всенародно; и тутъ какой-нибудь случай или злонамѣренность бросили бы сѣмя будущей бури, которая бы предугадываема была зрителемъ или читателемъ, а не дѣйствующими; тогда сіе начало имѣло бы связь съ послѣдующимъ, родило бы ожиданія, предположенія, опасенія. 2-е. Шуйскій, котораго, не говорю объ Исторіи — и Воротынскій и самъ Борисъ называютъ *лукавымъ царедворцемъ, уклончивымъ, несмылымъ и лукавымъ*, — здѣсь является завистливымъ говорунномъ; онъ рассказываетъ безъ всякой надобности, безъ цѣли, о убіеніи царевича, о своемъ потворствѣ злодѣянію, разсуждаетъ о преимуществѣ своихъ правъ на престолъ предъ Годуновымъ. Правда, цѣль сего послѣдняго поступка ясно выражена въ стихахъ:

„Когда Борисъ хитритъ не перестаетъ,
 Давай народъ искусно волновать;
 Пускай они оставятъ Годунова;
 Своихъ князей у нихъ довольно, пусть
 Себѣ въ Цари любаго изберутъ“.

Но неужели это слова хитраго честолюбца? — Мысль, въ тогдашнихъ обстоятельствахъ естественная, слѣдовательно позволительная Поэту, который вымыслами украшаетъ историческія наши свѣденія, и, такъ сказать, поподняетъ дѣйствительное возможнымъ; и всего приличнѣе родиться ей въ головѣ Шуйскаго, который, вѣроятно, не изъ одного страха, какъ онъ увѣряетъ Воротынскаго, скрылъ злодѣяніе Бориса — если только оно было, — его могли склонять къ тому и различныя надежды, ближайшія или отдаленныя. — Но какъ сія ужасно смѣлая мысль выражена человѣкомъ хитрымъ столь прямо, открыто, сказана человѣкомъ честолюбивымъ столь холодно, мимоходомъ, и кому же? Воротынскому! — Человѣку, который, при всемъ вліяніи на него мѣстнскаго духа, вѣритъ отъ души, что Годуновъ исполнилъ предъ ними! — Шуйскій здѣсь представленъ столь *хитрымъ*, что самъ долженъ былъ напомнить о семъ Воротынскому. 3-е. Сцена сія не можетъ похвалиться и Поэзією; — прелестныя, легкіе *Пушкинскіе* стихи, — но нѣтъ ни чувствованій, ни смѣлыхъ мечтаній, ни высокохъ мыслей. Нельзя также не замѣтить здѣсь совсѣмъ не-поэтическаго сравненія:

„Борисъ еще поморщится немного,
Что пьяница предъ чаркою вина...“

Это сравненіе не всегда можетъ быть позволено даже комедіи, и притомъ выраженіе: *что* пьяница *предъ* чаркою поморщится, неправильно, ибо частица *что* тогда только употребляется въ сравнительномъ смыслѣ, когда мы сравненіе произносимъ съ удивленіемъ, отдавая преимущество сравниваемой вещи предъ тою, съ которою она сравнивается. Напримѣръ: *рубашка на немъ что кленовъ листъ*, или: *что твой кленовъ листъ!*

Вторая сцена, происходящая на Красной площади, во-первыхъ, доказываетъ безхарактерность Шуйскаго, который, вопреки своему плану и обѣщанію, не пользуется притворнымъ или истиннымъ упрямствомъ Бориса и раздражительнымъ состояніемъ народнаго духа, который въ таковыхъ обстоятельствахъ легко воспламеняется. Вторыхъ, она представляетъ и народъ также безхарактернымъ, ибо слышавъ стихи:

О Боже мой, кто будетъ нами править?
О горе намъ!...

мы ожидаемъ отъ народа сильныхъ движеній, настоятельныхъ требованій, подстрекаемыхъ недоувѣрчивостію и нетерпѣніемъ. Но чѣмъ же все кончилось? Верховный Дьякъ выходитъ, рассказываетъ о послѣднемъ предполагаемомъ средствѣ убѣжденія Годунова, свѣтуетъ народу идти по домамъ, и народъ молча расходится. Какой быстрый и неестественный переходъ отъ страсти къ спокойствію! — Едва ли возможно такъ легко управиться и съ однимъ человѣкомъ! — Вообще сцена сія необходима для цѣлости драмы, но ежели допустить ее въ такомъ видѣ, какова теперь, то она не имѣетъ цѣли, ибо не выражаетъ ни слѣдствія предъидущей, ни причины слѣдующей.

Еще слово о народной жалобѣ, и именно о выраженіи: *о Боже мой!* Это голосъ не Русскаго народа. Русскій одинъ не скажетъ о Богѣ: *мой*, а говоритъ обыкновенно: *нашъ*; и притомъ Русскіе любятъ сложные восклицанія и воззванія, какъ напримѣръ: *Ахъ, Господи, Боже нашъ!* *О Пресвятая Богородица!* и т. п. — Конечно, у другаго Писателя такіа обмолвки можно опустить безъ замѣчанія, а иногда даже грѣшно замѣчать; но Г. Пушкинъ, понявъ вполне характеръ Русскаго языка, не долженъ особенностями и красотами его жертвовать упрямству стиха.

За сямъ слѣдуетъ согласіе Бориса на принятіе короны; оно конечно кажется слѣдствіемъ предшествующаго; но гдѣ эта строгая послѣдовательность, въ которой Поэма, Драма и Исторія равно нуждаются, чтобъ читатель видѣлъ необходимое, непрерывное теченіе случаевъ одного за другимъ, которыя бы всѣ вмѣстѣ изображали человѣчество въ томъ или другомъ отношеніи? Исторія ограничивается дѣйствительностію; Поэма ведетъ къ мечтательно-возможному, а Драма стремится къ непремѣнно-возможному. — Борисъ принимаетъ корону (и между прочимъ хитрый Шуйскій отказывается отъ словъ своихъ, и тѣмъ даетъ противъ себя орудіе безхарактерному Воротынскому). Но какъ происходило избраніе, которое и въ Исторіи умилительно и въ дѣйствительности очаровательно? Поэтъ, по какому-то непонятному выбору, все это выпустилъ, и только сказалъ, что совершилось — даже не рассказалъ какъ. Посему во всѣхъ сихъ трехъ сценахъ нѣтъ ни тридцати поэтическихъ стиховъ. Это прекрасная проза! — Вотъ, по моему мнѣнію, самое лучшее мѣсто: Борисъ говоритъ:

Ты, отче Патріархъ, вы всѣ Бояре:
 Обнажена моя душа предъ вами:
 Вы видѣли, что я приѣмлю власть
 Велику страхомъ и смиреньемъ.
 Сколь тяжела обязанность моя!
 Наслѣдуя могущимъ Іоаннамъ —
 Наслѣдую и Ангелу — Царю — !...
 О праведникъ! О мой отецъ державный!
Возри съ небесъ на слезы вѣрныхъ слугъ,
 И ниспошли тому, кого любилъ ты,
 Кого ты здѣсь столь сильно возвеличилъ,
 Священное на власть благословенье:
 Да правлю я во славу свой народъ,
 Да буду благъ и праведенъ, какъ ты.

Человѣкъ обыкновенный, истинно боявшійся воцаренія, въ подобныхъ обстоятельствахъ конечно не могъ бы говорить иначе; но Борисъ, тотъ самый, каковымъ представляютъ намъ его Историки и Поэты, не могъ говорить такимъ образомъ. Слѣдовательно и эти прекрасные, умиленные стихи несообразны лицу говорящему.

Четвертую сцену можно считать началомъ Драмы. И если бы Драма сія была названа *Григорій Отрѣзъевъ*, если бы сей герой открылъ здѣсь свои намѣренія, хотя не прямо, то и дѣйствіе ея менѣе бы отступало отъ единства. Здѣсь является и поэзія, достойная г. Пушкина; особенно же отличается рѣчь лѣтописца *Пимена*, монаха Чудова монастыря; наприкладъ:

На старости я сызнова живу,
 Минувшее проходить предо мною. —
 Давно-ль оно неслось событій полно,
 Волнуясь, какъ море Окіянъ?
 Теперь оно безмолвно и спокойно:
 Не много лицъ мнѣ память сохранила,
 Не много словъ доходить до меня,
 А прочее погребло невозвратно!

Поэтъ совершенно понялъ Пимена въ его положеніи. Представимъ себѣ старца, который, какъ свидѣтель дѣлъ великихъ и ужасныхъ, *не отдавая ни жалости, ни гнѣва*, ведетъ Лѣтопись и надѣется, что его *правдивыя сказанья* прейдутъ тьму забвенья, что онъ есть органъ суда человѣческаго надъ правителями міра, *что онъ вѣщаетъ*,

Да вѣдаютъ потомки православныхъ
 Земли родной минувшую судьбину,
 Своихъ Царей — великихъ поминаютъ
 За ихъ труды, за славу, за добро —
 А за грѣхи, за темныя дѣянья,
 Спасителя смиренно умоляютъ.

Какая великая мысль! Стоять между предками и потомствомъ, и маніемъ руки, силою слова, передавать минувшее грядущему!

Старець, стоя предъ прагомъ вѣчности, видитъ, какъ дѣла предковъ назидательны, какъ они близки къ сердцу потомства; видитъ, какъ это все *невозвратно погибаетъ*; озираетъ свой вѣкъ, богатый дѣлами, и — долгую жизнь и *книжное искусство* — даръ, въ то время великій — посвящаетъ на службу человѣчеству. Мысль геніальная, высокая! Она имѣетъ столько силы, чтобъ воспламенить самую дряхлую старость. Но сія воспламененность выражена языкомъ старца, снова почувствовавшего жизнь, языкомъ сообразнымъ предмету и въ стихахъ прекрасныхъ, легкихъ, звучныхъ, словомъ: здѣсь видѣнъ *Пушкинъ!*

Остальная часть сцены сей, хотя стоитъ выше сценъ предшествующихъ, но не имѣетъ того величія, какого-бъ можно было ожидать по многимъ условіямъ. Сонъ Григорія разсказанъ особенно слабо: если предположить, что Григорій въ то время замышлялъ уже низверженіе Годунова, то сіи царственные грезы должны сильно волновать его надменную, безпкойную душу, и сонъ его долженъ быть ужасенъ; если же этотъ сонъ предупредилъ самый зародышъ сихъ умысловъ, если онъ былъ, такъ сказать, пророческій, то самое свойство его требуетъ источника сильнаго; онъ можетъ простекать только изъ души смѣлой, пламенной, способной, въ минуты восторговъ и раздражительныхъ потрясеній, сквозь тѣлесную преграду провидѣть будущее въ чистыхъ или иносказательныхъ видахъ. Это была бы самая возвышенная, смѣлая и пламенная Поэзія. Мечты Григорія и преимущественно воспоминавія Пимена о царствованіи Іоанна и Θεодора, о кончинѣ сего послѣдняго, — дышатъ Поэзією легкою, прелестною. Разсказъ старца объ ужасной смерти Димитрія Царевича исполненъ силы; необыкновенная быстрота даетъ ему рѣдкую живость, а простота сообщаетъ трогательную выразительность:

«Охъ, помню!

Привелъ меня Богъ видѣть злое дѣло,

Крoвaвый грѣхъ. Тогда я въ дальній Угличъ
На тѣкое былъ посланъ послушанье

(Стихъ тяжелъ).

Пришелъ я въ ночь. На утро, въ часъ обѣдни,
 Вдругъ слышу звонъ: ударили въ набатъ;
 Крикъ, шумъ. Бѣгутъ на дворъ Царицы. Я
 Спѣшу туда-жъ — а тамъ уже весь городъ.
 Гляжу: лежитъ зарѣзанный Царевичъ;
 Царица-мать въ безпамятствѣ надъ нимъ,
 Кормилица въ отчаяннѣ рыдаетъ,
 А тамъ народъ, остервенясь, волочить
 Безбожную предательницу мамку...» и т. д.

Это образецъ обыкновенный Г. Пушкина Поэзіи — искусное соединеніе легкости съ важностью!

Монологъ Григорія силенъ, однако оставляетъ еще желать многого, и притомъ наводитъ какое-то тяжелое недоумѣніе: ибо любопытство, искательность Григорія, ненависть его къ Борису и нѣкоторыя послѣдствія рождаютъ мысль, что онъ уже давно питалъ замыслы свои; но, не выразивъ ихъ прямо въ настоящей сценѣ, даетъ поводъ думать, что замыслы сіи родились въ немъ случайно, вдругъ. Зачѣмъ поставлять читателя въ такое недоумѣніе, которое закрываетъ истинный характеръ героевъ?

Послѣ сего, дѣйствіе переносится на минуту въ палаты Патриарха, который говоритъ съ Игуменомъ Чудова монастыря о побѣгѣ и самозванствѣ Григорія. Языкъ Игумена и Патриарха столь естественъ и сообразенъ лицамъ говорящимъ и предмету рѣчи, что, очаровавъ читателя, переноситъ его въ вѣкъ простоты, въ чертоги сего Первосвятителя, который на слова Игумена:... «былъ онъ весьма грамотенъ..... но знать грамота далась ему не отъ Господа Бога....» съ душевной простотою отвѣчаетъ: «Ужъ эти мнѣ грамоты!.... Ахъ, онъ сосудъ дѣвольтскій!.... Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать въ Соловецкій на вѣчное покаяніе. Вѣдь это ересь, отецъ Игуменъ?» Что можетъ быть проще, естественнѣе, чистосердечнѣе послѣдняго вопроса? Но эта, сама по себѣ очаровательная сцена, совершенно неумѣстна: въ какой связи состоитъ она съ предшествующими? Приготовляетъ ли читателя къ слѣдующей, которая происходитъ въ Царскихъ палатахъ? и, мимоходомъ сказать, совершенно также лишняя. Здѣсь одинъ Стольникъ, пришедъ, спрашиваетъ у другаго: «гдѣ Государь?»

Второй.

Въ своей опочивальнѣ.
Онъ заперся съ какимъ-то колдуномъ.

Первый.

Такъ вотъ его любимая *бесѣда*:
Кудесники, гадатели, колдуньи.
Все ворожить, что красная невѣста.
Желалъ бы знать, о чемъ гадаеть онъ?

Второй.

Вотъ онъ идетъ. Угодно ли спросить?

Первый.

Какъ онъ угрюмъ! (*Уходятъ*).

Для чего явленіе двухъ этихъ лицъ? Не для того ли, чтобъ показать главныя и *любимыя* занятія Царя и боязливость придворныхъ, бѣгающихъ отъ его угрюмости? Но въ такомъ случаѣ, кажется, позволительно спросить: желалъ ли Поэтъ изобразить Бориса лицомъ совершенно *идеальнымъ*, или *историческимъ*? — Если идеальнымъ, то для сего Борисъ совсѣмъ негодится: во-первыхъ, потому, что онъ слишкомъ тѣсно связанъ съ Исторіею; никакая гениальная сила не отторгнетъ его отъ оной; во-вторыхъ, потому, что, будучи совершенно необыкновеннымъ явленіемъ нравственно-политическаго міра, не требуетъ посторонней сильной помощи для того, чтобъ удивить читателя величіемъ и потрясти душу его чудесною своей судьбою. И притомъ рѣшительно можно сказать и доказать, что и историческія черты сего лица доселѣ не исчерпаны всѣ, и много, много великаго еще не отгадали въ семъ человѣкѣ, хотя все худое и Прозайки и Поэты увеличили до иперболы. Если же Поэтъ хотѣлъ представить своего героя лицомъ историческимъ, въ современномъ его вѣку изящномъ костюмѣ, пополняя дѣйствительность непремѣнно-возможнымъ, и выпуская все житейское, холодное, мелочное, прозаическое, то съ какимъ намѣреніемъ всѣ важныя и маловажныя лица драмы и на площади, и во дворцѣ, и въ кельяхъ монашескихъ говорятъ о немъ только *худое*? Правда, Воротынскій изъ боязни или слабодушія говоритъ Шуйскому:

Да, трудно намъ тягаться съ Годуновымъ...

а Басмановъ, находя свои выгоды въ истребленіи мѣстничества:

И много, много онъ
Еще добра въ Россіи сотворить...

Но самыя побужденія и обстоятельства обезсиливаютъ сіи незначительныя похвалы. Похваливаетъ иногда онъ самъ себя, да и то не совсѣмъ выгодно, ибо въ слѣдъ за побѣгомъ Стольниковъ, онъ въ длинномъ монологѣ между похвалами наговорилъ на себя много неблицъ, совсѣмъ непохвальныхъ. Неужели Поэтъ хотѣлъ возвысить Драму свою опущеніемъ великихъ свойствъ и дѣйствій Годунова? Она много потеряла отъ сей односторонности въ изображеніи характера героя; отъ сего читатель не принимаетъ въ судьбѣ его никакого участія, не тревожится опасностями и не жалѣетъ о гибели его; ничто не располагаетъ въ его пользу. Если же это было его намѣреніе, то надлежало бы противодѣйствующее лице поставить въ затруднительныя и опасныя положенія, которыя бы тревожили читателя относительно его судьбы.

Но обратимся къ монологу Царя. Когда человѣкъ способенъ говорить самъ съ собою? Въ минуты сильнаго волненія чувствованій, которыя, подобно огнямъ подземнымъ, насильственно исторгаются изъ груди его, но которыхъ или никто не хочетъ слушать, или никому не смѣетъ онъ открыть. О чемъ же Борисъ говоритъ? Рассказываетъ о своихъ благодѣяніяхъ народу, о неблагодарности, несправедливости сего послѣдняго; оправдываетъ себя во всѣхъ клеветахъ народа. Это не тайна! И кажется, приличнѣе бы всего было такъ говорить предъ другими, и даже всенародно. Только въ концѣ нѣсколько намекаетъ о томъ, что не терпитъ гласности, и заставляетъ подозрѣвать въ какомъ-то тайномъ злодѣяніи:

«Ахъ! чувствую: ничто не можетъ насъ
Среди мірекихъ печалей успокоить,
Ничто, ничто... Едина развѣ совѣсть —
Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветою.
Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелось,
Тогда бѣда: какъ язвой моровой
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучитъ въ ухахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,

*И мальчики кровавые в глазах...
И радъ бѣжать, да некуда... Ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть не чиста!*

Но сія ужасная тайна, *сжимающая душу его какъ язва морская*, выражена языкомъ какимъ-то неприятно смѣшнымъ; особливо послѣдніе пять стиховъ, безобразіе которыхъ я не считаю нужнымъ и показывать: оно само за себя слишкомъ громко говоритъ — отличаются самымъ явнымъ прозаизмомъ. И здѣсь послѣдній холодный стихъ заставляетъ насъ сомнѣваться въ томъ, чтобы эти упреки Борисъ относилъ къ себѣ. Это — размышленіе о совѣсти, это — общая мысль!

Послѣ того дѣйствіе переносится на Литовскую границу, въ корчму. Здѣсь представляется современная того вѣка картина въ необыкновенно искусной отдѣлкѣ, столь живо, столь рѣзко изображенная, что, кажется, нѣтъ ни одной черты лишней, ничто не упущено, все на своемъ мѣстѣ, все живо отгѣнено; языкъ таковъ, что, читая эту сцену, кажется, находишься въ кругу сихъ пирующихъ и спорящихъ удалцовъ: веселость, заносчивое удалство Варлаама, привѣтливость, простота и болтливость хозяйки, придирчивость Царскихъ Приставовъ, ловкость монаха *Мухомоши*, съ каковою оны, жалуясь на скупость мірянъ, на холодность ихъ къ спасенію душъ подаваніемъ, отыгрывается отъ сыщиковъ, изображены столь искусно, столь согласно съ духомъ времени, что все это вмѣстѣ даетъ полное понятіе о трехъ классахъ народа — на примѣръ слова: *Литва ми, Русь ми, что удоки, что гуси*, — все намъ равно, было бы вино... Это совершенно выражаетъ ухватки простонароднаго Русскаго весельчака, краснобая. И хотя сцена сія не имѣетъ ничего важнаго, доблестнаго, великаго, трагическаго, однако она, кромя вѣрнаго выраженія народности, развиваетъ дѣйствіе Драмы и нѣсколько знакомитъ уже съ характеромъ важнаго въ ней лица Григорія Отрепьева.

Слѣдующія за симъ двѣ сцены, происходящія въ домѣ Шуйскаго и въ Царскихъ палатахъ, выказываютъ настоящій характеръ дѣйствія, и, вводя Бориса въ трагическое положеніе, могли бы въ душѣ читателя родить участіе, опасеніе и беспокойство о судьбѣ его, если бы одностороннее изображеніе характера и дѣлъ его не возбуждало противъ него негодованія, которое подавляетъ всякое участіе, всякое чувствованіе, родившееся въ его пользу; нѣтъ ни

одного голоса на защиту Годунова; а собственная его безхарактерность еще болѣе усиливаетъ равнодушіе читателя; онъ ни оправдываетъ, ни обвиняетъ себя своими дѣйствіями; вездѣ видимъ въ немъ какую-то усталость и боязливую недѣятельность. Только въ разговорѣ съ Шуйскимъ онъ пробуждается; но это пробужденіе довершаетъ негодованіе читателя, особливо когда слышишь:

„...Головою сына
Влянусь, тебя постигнетъ злая казнь,
Такая казнь, что Царь Иванъ Васильичъ
Отъ ужаса во гробъ содрогнется“.

Сильно сказано! Но естественны ли, вѣроятны ли эти слова въ устахъ *Царя Бориса—Шуйскому*? И нужно ли доказывать это сомнѣніе? — Отъ сихъ-то ошибокъ рождаются въ читателѣ какія-то странныя, неестественныя чувствованія. Привыкши по Исторіи почитать Бориса человѣкомъ необыкновеннымъ, великимъ, ожидаешь, что драма разовѣетъ его характеръ со всѣми малѣйшими оттѣнками величія и добродѣтелей, слабостей и пороковъ, приведши все сіе то въ прелестную, то въ ужасную форму, ожидаешь возбужденія участія, опасенія, безпокойства, страха, и о самыхъ порокахъ сожалѣнія, или, по крайней мѣрѣ, ужаса, возбужденнаго раскаяніемъ. Но что же? — Какая-то холодность, какое-то равнодушіе къ доброй и злой сторонѣ его, даже раскаяніе, само по себѣ ужасное, не производитъ ожидаемаго дѣйствія: оно двусмысленно! Его добродѣтели нисколько не привязываютъ къ нему насъ, злодѣянія — не ужасаютъ; ибо хотимъ видѣть то и другое въ живыхъ дѣйствіяхъ, или ожидаемъ, чтобъ о первыхъ проговаривались самые враги его, о послѣднихъ — онъ самъ. Въ разговорѣ съ дѣтьми своими, съ Семеномъ Годуновымъ, съ Шуйскимъ и съ самимъ собою, Борисъ могъ бы совершенно открыть свою душу, высказать свой истинный и кажущійся характеръ; но онъ остался загадкой!

Въ обѣихъ сценахъ Шуйскій есть важное лице, и онъ является здѣсь въ собственномъ своемъ характерѣ — хитръ, непроницаемо хитръ: въ первой сценѣ притворнымъ равнодушіемъ, удачными возраженіями, лаконическими вопросами чрезвычайно искусно заставилъ Пушкина высказать все и не узнать ничего; а во второмъ еще искуснѣе, отклонивъ отъ себя бурю гнѣва Царскаго, умѣлъ занять Бориса дѣломъ важнѣйшимъ, объяснить ему всю силу опасности.

Лучшія, хотя и не высокія мѣста въ поэтическомъ отношеніи, суть: молитва при Царскомъ здоровьѣ, жалоба, впрочемъ преувеличенная — Пушкина противъ Царя; разговоръ Бориса съ Θεодоромъ о *чертежъ земли Московской*; но смятеніе Царя, его страхъ, изступленіе, сомнѣніе, истинно превосходны. Онъ, не желавъ видѣть опасности, потомъ, противъ собственной воли увѣрившись въ оной, вдругъ приказываетъ взять мѣры для огражденія Россіи отъ Литвы, снова желаетъ не вѣрить, и снова ужасная увѣренность — подозрѣніе, страхъ, угрызения совѣсти, гнѣвъ и отчаяніе. Вотъ трагическое положеніе Бориса! Вотъ драматическое искусство Поэта! Царь, удерживая Князя Шуйскаго, чтобъ увѣрить его въ маловажности сей вѣсти, какъ сильно выражаетъ свой страхъ, говоря:

«...Слыхалъ ли ты когда,
 Чтобъ мертвые изъ гроба выходили
 Допрашивать Царей, Царей законныхъ,
 Назначенныхъ, избранныхъ всенародно,
 Увѣнчанныхъ великимъ Патріархомъ!
 Смѣшно? А? Что? Что-жъ не смѣешься ты?» *)

Въ семъ мѣстѣ Поэтъ совершенно понялъ и выразилъ положеніе Годунова, который имѣлъ нужду напоминать, что онъ *Царь, Царь законный*, что *мертвые* не могутъ его *допрашивать*; и какъ онъ, боясь проговориться, мѣшается въ словахъ отъ излишней осторожности:

«Послушай, Князь Василій:
 Какъ я узналъ, что отрока сего...
 Что отрокъ сей лишился какъ-то жизни...

Это истинно разговоръ *Годунова съ Шуйскимъ* при появленіи слуха о Самозванцѣ. Но когда Шуйскій, послѣ ужасной угрозы Царя, слишкомъ увѣрилъ его въ смерти Димитрія, и когда Царь, встревоженный подробностями разсказа, высылаетъ хитраго вельможу, то ясно обнаруживаетъ тѣмъ участвованіе въ убіеніи Царевича; а по удаленіи Шуйскаго, въ сильномъ, страстномъ монологѣ снова наводитъ непроницаемое сомнѣніе; ибо слова:

«Такъ вотъ зачѣмъ тринадцать лѣтъ мнѣ сряду
 «Все снилося убитое дитя!
 «Да, да — вотъ что! Теперъ я понимаю!»

*) Надобно вспомнить разсказъ Франца Моора о своемъ сновидѣніи. Прим. Кор.

доказываютъ, что онъ не могъ укорять себя въ убійствѣ царственнаго отрока, какъ не принимавшій въ томъ ни малѣйшаго участія. Если онъ былъ убійца, то могъ ли не понимать сна сего, могъ ли теперь толковать его какъ предвѣщаніе, а не какъ дѣйствіе тревожной совѣсти? Притворство здѣсь не у мѣста; онъ одинъ и въ какомъ положеніи? Итакъ это противорѣчитъ предшествующему, и опровергаетъ все, чѣмъ онъ измѣнилъ себя въ *присутствіи другихъ*.

Теперь дѣйствіе переносится въ Краковъ; Самозванецъ начинаетъ дѣйствовать прямо, открыто, и всѣ движенія начинаютъ происходить отъ него. Русскіе выходцы, Поляки, Литовцы, — толпами приходятъ къ нему; онъ принимаетъ ихъ весьма прилично обстоятельствамъ: Езуиту Черниковскому хитро льститъ и обѣщаетъ ввести въ Россію католицизмъ; Мнишеха удещаетъ, рассыпаясь въ похвалахъ его гостепримству и прелестямъ дочери; Русскихъ привязываетъ къ себѣ, разумѣется, добрымъ словомъ, Поляковъ деньгами. Лучшія мѣста изъ сей сцены: обращеніе Самозванца къ Курбскому и къ Поэту.

Баль у Мнишеха, какъ уже извѣстно, совершенно лишній, и, кажется, для того только введенъ, чтобъ сказать нѣсколько остротъ да назначить ночное свиданіе Самозванца съ Мариной, изъ котораго узнаемъ, что первый страстно влюбленъ въ гордую Панну; она надменные замыслы предпочитаетъ всѣмъ нѣжностямъ и хочетъ любить *только Царя*.

Если разсматривать сей разговоръ отдѣльно, какъ изъясненіе любви и тщеславія, не принимая въ уваженіе лицъ и обстоятельствъ и не соображая начала съ концемъ, то найдутся въ немъ мѣста превосходныя, чувствованія необыкновенно сильныя; напимѣръ, въ началѣ, выраженіе любви или потомъ еще сильнѣе выражена оскорбленная гордость:

«Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Димитріемъ изъ гроба нарекла,
Вокругъ меня народы возмутила
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.
Царевнчъ я. Довольно, стыдно мнѣ...»

Но если вспомнимъ, что здѣсь говоритъ проходимецъ Самозванецъ, съ гордой дочерью надменнаго воеводы Польскаго, что говоритъ человѣкъ, котораго почитаютъ Царскимъ сыномъ и который на

сѣмь заблужденіи основываетъ ужасно-великіе замыслы то, предположивъ его неглушымъ, должны думать съ нимъ вѣстѣ, что никогда, нигдѣ,

*Ни въ пиришествѣ, за чашею безумства,
Ни въ дружескомъ завѣтномъ разговорѣ,
Ни подъ ножемъ, ни въ мукахъ истязаній,
Сихъ тяжкихъ тайнъ языкъ его не выдастъ;
Что онъ обманъ отважный обезпечитъ
Упорною, глубокой, вѣчной тайной.*

Никакъ нельзя ожидать, чтобъ онъ открылъ свои обманы гордой дѣвѣ; чтобъ такъ просто, такъ вѣтрено *позоръ свой обличилъ*. И для чего? Не для того ли, чтобъ читателя вывести изъ заблужденія, относительно своего происхожденія? — Во-первыхъ, это нужно сдѣлать раньше; во-вторыхъ, для этого можно избрать другія средства, болѣе приличныя характеру дѣла и самому названію Драмы, а этотъ споръ Самозванца съ Мариною не имѣетъ никакого отношенія къ Борису, ни къ его царствованію, ни къ падевію, хотя и говорятъ здѣсь о немъ. Притомъ вся сія сцена наполнена противорѣчіями: Григорій въ первомъ монологѣ, говоря:

Какъ обольщу ея надменный умъ,
Какъ назову Московскою Царицей...

ясно показываетъ сомнѣвіе въ ея согласіи на союзъ съ нимъ и боязнь отказа, и вдругъ рѣшается обольстить сію надменную красавицу, чѣмъ? Объявляетъ, что онъ бродяга, обманщикъ; и такъ твердо рѣшился увѣрить ее въ сей истинѣ, что забылъ любовь, въ которой ему отказываютъ за такую откровенность; забылъ опасность, которую тѣмъ навлекаетъ на себя, и умильно доказываетъ, что Марина должна любить Самозванца. И когда же онъ рѣшается на открытіе сей ужасной для него тайны? Тогда, какъ Марина на его страстныя объясненія отвѣчаетъ:

«Стыдись! не забывай
Высокаго святаго назначенья...

или:

«Дмитрій, ты и быть инымъ не можешь;
Другаго мнѣ любить нельзя» (т.-е. Царевича).

Неужели послѣ этого Григорій могъ быть столько откровеннымъ? — Конечно, онъ былъ увлеченъ порывомъ страсти, онъ говоритъ:

«Любовь мутитъ мое воображенье...»

или:

«Ты мнѣ была единственной святыней,
Предъ ней же я притворствовать не смѣлъ».

Но могъ ли этотъ до изступленія страстный обожатель, какъ бы ни былъ оскорбленъ, говорить такъ:

«Нѣтъ, — легче мнѣ сражаться съ Годуновымъ,
Или хитрить съ придворнымъ Езуитомъ,
Чѣмъ съ женщиной. Чортъ съ ними, мочи нѣтъ:
И путаетъ, и вьется, и ползетъ,
Скользить изъ рукъ, шипить, грозить и жалить».

Нѣтъ, это не *любовь оскорбленная*, а досада обманутаго, пристыженнаго хитреца, который однако въ гнѣвной своей выходкѣ неудачно изобразилъ Марину; она не *вилась*, не *ползла*, и не *скользила изъ рукъ*...

При совершенствахъ внутреннихъ, при связности представлений, при быстротѣ дѣйствія, — внѣшніе недостатки, которые впрочемъ у г. Пушкина не часто встрѣчаются, бываютъ не совсѣмъ замѣтны; но здѣсь они, оставаясь какъ бы безъ защиты, слишкомъ явно выказываются, такъ, что трудно вѣрить, чтобъ довершитель преобразованія нашего стихотворнаго языка могъ произвести таковые стихи:

Стыдишься ты не - Княжеской любви;
Такъ вымолви-жъ мнѣ роковое слово;
Въ твоихъ рукахъ (?) теперь моя судьба,
Рѣши: я жду! (*бросается на колѣни*).

МАРИНА.

Встань, бѣдный Самозванецъ.
Не мнишь ли ты колѣнопреклоненьемъ,
Какъ двѣочки доврчивой и слабой
Тщеславное мнѣ сердце умилишь?
Ошибся, другъ: у ногъ своихъ видала
Я рыцарей и графовъ благородныхъ;
Но ихъ мольбы я хладно отвергала
Не для того, чтобъ бѣглаго монаха...»

Но въ какомъ отношеніи сія сцена къ ходу Драмы? — Она вполне изображаетъ характеръ Марины; и сіе-то маловажное назначеніе — изображеніе лица, никакими узами не связаннаго съ Борисомъ —

столь долгаго и столь ошибочнаго во всѣхъ отношеніяхъ эпизода, еще болѣе усиливаетъ непріятное чувствованіе, раждающееся при чтеніи онаго.

Слѣдующая за тѣмъ сцена, происходящая на Литовской границѣ, превосходна: въ словахъ Курбскаго, кажется, всякій звукъ выражаетъ пламенную жизнь, сильную душу, кипящую чувствованіями.

Представимъ себѣ въ началѣ XVII столѣтія — молодаго, пылакаго человѣка, который взросъ, раздѣляя изгнаніе съ отцемъ своимъ, и который видѣлъ, какъ сей послѣдній грустилъ до конца жизни, тосковалъ по прославленной и оскорбленной имъ отчизнѣ, гдѣ славная шумная жизнь его *сіяла ярко*. Сей юноша стремится съ завѣщанною тоскою по отечеству, воображая, что онъ войдетъ туда на тронъ Царя законнаго, котораго отецъ былъ нѣкогда другомъ и врагомъ его отца, стремится къ примиренію тѣни покоящагося въ нѣдрахъ чуждой земли родителя съ оскорбленнымъ отечествомъ, и сей-то юный витязь, увидѣвъ границу давно желаннаго края, въ который онъ вступаетъ со славою возстановителя древняго царственнаго рода, восклицаетъ:

«Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!
Святая Русь! отечество! я твой!
Чужбины прахъ съ презрѣнемъ отряхую
Съ моихъ одеждъ; пью жадно воздухъ новый:
Онъ мнѣ родной! Теперь твоя душа,
О мой отецъ, утѣшилась, и въ гробѣ
Опальныя возрадуются кости!
Блеснулъ опять наслѣдственный нашъ мечъ,
Сей славный мечъ, гроза Казани темной...

Вотъ языкъ истиннаго, непритворнаго, сильнаго, возвышеннаго чувствованія! Легко чувствовать, легко постигать простую, но возвышенную красоту, трудно оцѣнить ее, трудно рѣшить, который стихъ можно предпочесть другимъ. Первый стихъ:

«Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!»

совершенно выражаетъ чувствованіе человѣка, который наконецъ достигъ того, о чемъ всю жизнь свою мечталъ; эта простота, это быстрое повтореніе частицы *вотъ*, съ прибавленіемъ словъ, постепенно объясняющихъ предметъ его восторга, есть торжество Поэта — онъ выразилъ съ совершенною естественностію переходъ отъ слитнаго нѣмаго ощущенія, раждающагося при первомъ возрѣніи на пред-

метъ, къ сознанію причины восторга, въ которомъ онъ сначала не можетъ даже назвать сію причину, а только указываетъ ее краткою частицею. Второй стихъ, будучи столь же силенъ, простъ и естественъ, изображаетъ самымъ пламеннымъ поэтическимъ обращеніемъ причину столь живой, чистой радости. Стихъ третій и половина четвертаго, какъ выраженіе того же чувствованія, возмущаемаго огорчительнымъ, непріятнымъ воспоминаніемъ, прекрасны; далѣе: *нью жадно воздухъ новый: онъ мнѣ родной! и проч.* Хотя нѣтъ здѣсь необыкновенной простоты, каковою отличаются первые стихи, и выказывается нѣкоторое искусство, но какая сила, какія чувствованія! Это самая возвышенная *Ода!* Сіе явленіе объясняетъ частію успѣхъ Самозванца, и столь тѣсно связано съ мѣстомъ, что совершенно проистекаетъ изъ онаго; но жаль, что Поэтъ мало симъ воспользовался; сіе явленіе требуетъ большаго развитія; оно должно поставить Бориса въ положеніе опасное, заставляющее страшиться за него.

Царская Дума здѣсь очень умѣстна; она, развивая дѣйствіе, необходима для хода Драмы; внѣшняя сторона сей сцены вообще очень хороша, а нѣкоторыя мѣста прекрасны, особенно въ совѣтѣ и разказѣ Патриарха, которые отличаются рѣдкою сообразностію съ саномъ, положеніемъ и отношеніями говорящаго къ Царю, и съ духомъ времени. Напримѣръ:

«Онъ именемъ Царевича, какъ ризой
Украденной, безстыдно облачился;
Но стоитъ лишь ее раздрать — и самъ
Онъ наготой своею посрамится».

Но умная рѣчь Шуйскаго — проза.

О битвѣ подъ Новгородомъ Сѣверскимъ не считаю нужнымъ говорить: неужели тамъ, кромѣ Французовъ и Нѣмцевъ, никого не было, кто-бъ могъ *поговорить по-Русски?* — Народная сцена передъ соборомъ слаба и безхарактерна, намъ нужно знать, для возбужденія участія, общее направленіе умовъ; мы желаемъ и боимся узнать вліяніе народнаго мнѣнія въ мысляхъ и чувствованіяхъ Царя, — и узнать это ожидаемъ изъ хода Драмы; а что одинъ или два мужика признаютъ въ Отрепьевѣ Царевича, или, какъ юродивый говоритъ дерзости Борису, эта пружина дѣйствія менѣе нежели слаба для такой огромной машины: это теряется въ обшир-

номъ міръ, созданномъ Поэтомъ для Драмы. — Не менѣе странно и то, что царедворцы страшатся даже вида Царева, а на площади, предъ лицомъ этого ужаснаго Царя, всенародно дѣлаются вольности. Борисъ не былъ слабъ; онъ не былъ бездушнымъ, безхарактернымъ злодѣемъ; пусть намъ это доказываютъ и Поэты и Прозаики, не вѣримъ!

Достоинство сего мѣста, равно какъ и двухъ слѣдующихъ, состоитъ въ томъ, что здѣсь весьма удачно изображаются современные особенности, а преимущественно въ послѣднихъ очень хорошо схвачены нѣкоторыя черты характера Григорія, взаимная вражда Русскихъ и Поляковъ, ихъ *похвалбы*; но сіи сцены совершенно безъ нужды, и даже вопреки единству мѣста, раздроблены между собою и оторваны отъ другихъ.

Наконецъ приступаемъ къ той минутѣ, которая и въ Исторіи разливаеъ уныніе и страхъ: это — смерть Годунова! — Здѣсь сначала Борисъ, не предчувствуя скорого конца, *разсуждаетъ* о бездѣйствіи своихъ полководцевъ и низверженіи мѣстничества; я говорю *разсуждаетъ* потому, что онъ такъ холодно выражаетъ свое неудовольствіе противъ Воеводъ, что если бы дѣло шло о простомъ отторженіи областей или только о пораженіи войскъ, то и тогда бы можно было упрекать его въ равнодушіи; а тутъ вырываютъ изъ рукъ его власть, для которой онъ, какъ полагаетъ и самъ Поэтъ, рѣшился на послѣднее злодѣяніе, и сіе бездѣйствіе Воеводъ предаеъ его на уничтоженіе, его родъ, его имя, честь и славу на поруганіе. Въ такомъ положеніи, душа низвергаемаго сильнаго властолюбца должна пылать подобно грозному, всеразрушающему волкану; въ семь-то воспламененіи она раждаетъ смѣлую мысль — низверженіе мѣстничества. Если же Поэтъ хотѣлъ представить Бориса не хладнокровнымъ, а слабымъ, потерявшимся, то какъ могла въ душѣ слабого, при столь ужасномъ положеніи, родиться эта мысль, отважная, великая; неужели это отчаяніе. Нѣтъ! Оно далеко отъ спокойствія. Отчаянный не скажетъ:

«Что дѣлають межъ тѣмъ герои наши?
 Стоять у Кромъ, гдѣ кучки казаковъ
 Смѣются имъ изъ-подъ гнилой ограды.
 Вотъ слава! Нѣтъ, я ими недоволенъ.
 Пошлю тебя начальствовать надъ ними».

Это ироническое *герои* выражаетъ злобу, а не гнѣвъ. Завѣщаніе

Царя — прекрасная проза; немного здѣсь стиховъ поэтическихъ, какъ на примѣръ:

...«Не долженъ царскій голосъ
На воздухъ теряться по пустому;
Какъ звонъ святой, онъ долженъ лишь вѣщать
Велику скорбь или великій праздникъ».

И здѣсь есть удивительныя несообразности: Борисъ, поставляя сына дороже *душевнаго спасенія* своего, могъ ли рѣшиться очернить свое имя въ его воспоминаніи? Могъ ли онъ сказать этому сыну:

...«Я достигъ верховной власти — чѣмъ?
Не спрашивай. Довольно: ты невинень...»

Это противно человѣческой природѣ; мы хотимъ жить и въ памяти далекаго потомства, а жить въ памяти милыхъ сердцу — это высочайшее желаніе; это земное понятіе о безсмертіи. Онъ также завѣщаетъ сыну сдѣлать главнымъ вождемъ Басманова, несмотря на ропотъ мѣстничества, и вмѣстѣ съ тѣмъ приказываетъ не измѣнять *теченія дѣлъ*, потому что *привычка душа Державъ*. — И вообще рѣчь сія слишкомъ слаба, спокойна, слишкомъ растянута, слишкомъ связна для того, чтобъ она приличествовала Борису, рожденному подданнымъ, умирающему Царемъ съ неправою совѣстію, оставляющему въ ужасное бурное время сына, для счастья, для величія коего онъ жертвуетъ въ смертный часъ совѣстію, *душевнымъ спасеніемъ*; наставленіе сыну предпочитаетъ покаянію. Мнѣ и то удивительнымъ кажется, что сынъ допускаетъ отца принести ему сію непостижимо ужасную жертву въ XVII вѣкѣ; — но всего удивительнѣе: видишь, что смерть Царя сильнаго ввергаетъ народъ въ гибельную бездну, и онъ пребываетъ въ какомъ-то непонятномъ спокойствіи; только послѣднее обращеніе его къ Патріарху и Боярамъ имѣетъ характеръ рѣчи умирающаго Царя, но не Бориса. — Неужели восторженный Поэтъ не смѣетъ изъ-за клеветы вызвать истину, дабы въ блестящей одеждѣ вымысла поставить ее предъ потомствомъ, и умилить читателя, внушить ему сожалѣніе къ падающему величію? Конечно, гениальные люди, совершивъ, такъ сказать, предопредѣленіе, не чувствуя болѣе призванія, указующаго имъ пути къ дѣятельности, слабѣютъ, утомляются; но и въ самомъ утомленіи бываютъ вспышки сильныя, слѣды величія. Отъ чего же

Борисъ постоянно слабъ отъ начала до конца Драмы? Какъ можно вообразить человѣка, который дѣлается злодѣемъ изъ желанія возвести родъ свой на престолъ, и который, еще разъ повторю, отвергаетъ очищеніе души своей послѣднимъ покаяніемъ, для того, чтобъ успѣть дать сыну наставленіе царствовать, и этотъ человѣкъ дѣйствуетъ слабо! — И такъ Бориса нѣтъ, но Драма еще не кончилась: еще остается три сцены. — Не считаю нужнымъ повторять, сколь много симъ прибавленіемъ нарушается единство дѣйствія; но нельзя не замѣтить, что сіи сцены не имѣютъ никакихъ красотъ, которыя бы сколько-нибудь искупали ихъ излишество. Здѣсь, не видя и слѣдовъ Поэзіи, встрѣчаемъ множество противорѣчій; такъ напримѣръ: зачѣмъ сошлись Пушкинъ и Басмановъ? Что сказалъ убѣдительнаго первый? Неужели то, что выразилъ свое сомнѣніе противъ такъ называвшагося Царевича, и объявилъ слабость силъ его? И отъ чего измѣнился и измѣнилъ послѣдній? — Неужели, читая Дрaму, должно справляться съ Исторіею? А въ борьбѣ Басманова съ самимъ собою, не все ли склоняло его, судя по собственнымъ его словамъ, въ пользу Θεодора? И на что же онъ рѣшился? — Конецъ Драмы рѣшительно недостойнъ г. Пушкина, какъ по дѣйствию, такъ и по стихамъ, каковы, напримѣръ сіи:

«Но я такъ Θεодоромъ высоко
Ужъ вознесенъ: начальствую надъ войскомъ».

И такъ, гдѣ жъ наши надежды, ожиданія и преждевременная радость — видѣть Трагедію, достойную сей эпохи, равную Борису, — Трагедію, которая бы проявляла зрѣлый талантъ А. С. Пушкина, и, выражая вѣкъ героя, отгѣняла бы мысли и чувствованія вѣка Поэта? Устраняясь отъ всѣхъ споровъ и опроверженія безусловныхъ похвалъ сему произведенію, не могу впрочемъ вѣрить искренности ихъ; скажу болѣе: имѣя высокое мнѣніе о сильномъ талантѣ Поэта и питая глубокое уваженіе къ нему, какъ представителю нашего вѣка въ грядущихъ вѣкахъ — думаю, что онъ самъ не вѣритъ симъ похваламъ, и посему смѣю надѣяться, что А. С. Пушкинъ, отвергнувъ лжепророчества лести, пойдетъ выше Бориса. «Неужели», скажутъ мнѣ: — «Пушкинъ въ Борисѣ упалъ», — нѣтъ, онъ сдѣлалъ шагъ впередъ, выше, но только одинъ шагъ, и сталъ на двухъ неравныхъ высотахъ неравной твердости, неравнаго объема. Онъ Борисомъ доказалъ, что много можетъ сдѣлать,

а ничего не сдѣлалъ. Отъ чего это произошло? Неужели отъ неудачнаго выбора предмета? Нѣтъ! Борисъ есть такое лице, въ жизни котораго и самая существенность имѣеть много поэтическаго; ибо событія, ознаменованныя сильнымъ волненіемъ страстей, и подъ перомъ холоднаго историка носятъ отпечатокъ Поэзіи, особливо, когда Исторія не можетъ всего высказать. — Отъ недостатка поэтическаго таланта? Нѣтъ! Его достанетъ на многое: доказательство предъ глазами. — Отъ недостатка воли? Сомнѣваюсь, не вѣрю! Я думаю, это случилось частію по необходимости. Отъ неестественнаго хода нашего образованія, мы въ одномъ ушли, въ другомъ отстали; частію отъ того, что наши писатели теперь подобны новопоселенцамъ, которые, основавъ мѣстопребываніе свое на пустыхъ необозримыхъ равнинахъ, не заботятся о томъ, чтобы, выбравъ лучшей клочекъ земли, воздѣлать оный съ возможнымъ тщаніемъ, но стараются захватить, какъ можно, болѣе полей. Такъ Г. Пушкинъ, назначивъ для своей Драмы несоразмѣрный, разнохарактерный періодъ, поставилъ себя въ необходимость изображать несвязныя сцены, для послѣдовательной связи которыхъ требовалось великое терпѣніе; одно вдохновеніе здѣсь недостаточно, бессильно! Совѣты друзей здѣсь конечно могутъ быть полезны, но какихъ друзей? Тѣхъ, которые могутъ и хотятъ проникнуть въ сущность идеи столь же глубоко, какъ самъ Поэтъ; тѣхъ, которые понимаютъ требованія вѣка, которые могутъ и чувствовать красоты творенія, и спойной разсуждать о нихъ; безъ того нѣтъ въ Поэзіи совѣта! Хотя чело-вѣчество идетъ къ одной цѣли по одному направленію, но всякъ изъ насъ начинаетъ путь съ своей особенной точки, и *нищія ду-хомъ* тянутся, подобно муравьямъ, по протоптанной тропѣ, а *сильные* или прокладываютъ новую стезю, или продолжаютъ ту, на которой, не кончивъ начатаго, остановились ихъ предшественники. Слѣдовательно Г. Пушкинъ не можетъ и не долженъ хотѣть быть ни Шекспиромъ, ни Байрономъ, ибо они на его мѣстѣ не были бы тѣмъ, что *они теперь*. И притомъ, идя впередъ, не должно прельщаться прежнею своею славою, не должно повторять ни словъ, ни дѣйствій своихъ, хотя имъ и рукоплескали когда-то. — Что было превосходно въ Русланѣ, то не нравится въ Борисѣ; но главное: духъ Поэта тогда только способенъ произвести великое, когда, проникнутый своей идеей и проникнувшій въ характеръ своего предмета (и лицъ), онъ находитъ высочайшую награду и наслажде-

ніе въ самой дѣятельности своей. Больно видѣть въ бездѣйствіи исполина, когда карлики, кряхтя, работаютъ.

В. Пляксинъ.

* * *

*) Слава, насъ учили, — дымъ:
Свѣтъ — судья лукавый!

Жуковский.

— «Слава... слава... обольстительный призракъ!... Что за волшебную прелесть имѣешь ты для насъ слабыхъ смертныхъ!... Едва удастся намъ выбраться изъ подъ ига животныхъ потребностей, кои первыя одолѣваютъ наше земное существованіе, какъ душа, только что спознавшая саму себя, становится игрищемъ собственныхъ силъ и рабою собственныхъ прихотей. Ей кажется тѣсно и душно въ предѣлахъ своего недѣлимаго бытія: она ищетъ выбиться, излиться, раскинуться сколько можно шире въ пространствѣ, среди коего поставлена; и, при недостаткѣ существенной полноты, утѣшается, если шумъ, производимый ея усиліями, раздастся вокругъ нея болѣе или менѣе внятными звуками. Забава, конечно, невинная: но за то — прочна ли?... Сіи обольстительные звуки... надолго ли ихъ становится? Какая волшебная сила можетъ оковать ихъ летучую бѣглость въ этой безпрестанно мятущейся стихіи, которая называется мнѣніемъ?... Очарованіе естественно: но разочарованіе гораздо естественнѣе!... Transit gloria!» — Такъ рассуждалъ я самъ съ собой, третьяго дня, направляя стопы свои къ жилищу добраго и почтеннаго Князя *Любославскаго*, у котораго въ этотъ день, по случаю рожденія старшей дочери и именинъ младшаго сына, снаряженъ былъ, по обычаю предковъ, богатый обѣдъ на-славу. Случай сдѣлалъ меня извѣстнымъ Князю, сохранившему отъ временъ Екатерининскихъ барскую пышность и барское меценатство къ ученой братіи, которое, не въ судъ нашему просвѣщенію, началось нынѣ выходить изъ моды. Въ прежніе годы, когда онъ самъ былъ помоложе, поретивше, у него отдѣленъ былъ особенный день въ недѣлѣ, который посвящался исключительно грамотѣямъ и писакамъ,

*) «Телескопъ» 1831 г., ч. 1, № 4. («Борисъ Годуновъ». Сочиненіе А. Пушкина. Бесѣда старихъ знакомцевъ.)

Прозаистамъ и Поэтамъ,
Журналистамъ, Авторамъ,

приглашаемъ и угощаемъ,

Не по чину, не по лѣтамъ,

а по доброму изволенію хозяина. Здѣсь зарождались и созрѣвали многія поэтическія вдохновенія: заплетались *вѣнки Граціямъ*, припасались *жертвы Музамъ*. Здѣсь редакция *Парнасскаго Мотылька* имѣла свои торжественнѣйшія засѣданія и важнѣйшія совѣщанія. Здѣсь... но времена переходчивы... Наша словесность мало-по-малу выбралась изъ гостинныхъ, отъ того ли, что она слишкомъ отяжелѣла для нашихъ патриціевъ, переставъ разсыпаться розами и незабудками; или отъ того, что они слишкомъ отяжелѣли для ней, погрузившись въ болѣе основательные экономическіе расчеты и въ болѣе полезныя агрономическія розысканія. Можетъ быть, это не осталось безъ полезнаго вліянія на нашу литературу: ибо вывело ее на вольный воздухъ и сообщило ей самостоятельное бытіе, что не бездѣлица... Какъ бы то ни было, Князь *Любославскій*, какъ человѣкъ, долженъ былъ увлечься общимъ потокомъ. Онъ измѣнилъ Музамъ для Цереры и Помоны; промѣнялъ Лагарпа на Домбала; пустился въ системы хозяйства; обогатилъ новыми улучшениями плугъ; избрѣлъ проектъ для преобразованія бороны; написалъ брошюрку о различныхъ свойствахъ навоза и сдѣлался однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ корреспондентовъ Земледѣльческаго Журнала. Но старинныя привычки глубоко въѣдаются. Посреди важныхъ своихъ занятій, Князь любилъ тогда отдохнуть подъ шумокъ литераторовъ и ученыхъ, коихъ время отъ времени приглашалъ къ себѣ хлѣба-соли откушать и добрыхъ рѣчей послушать.

Гостей было уже много, когда я вошелъ въ высокіе чертоги Его Сіятельства. Не имѣя никакого права на извѣстность, я не могъ возбудить никакого вниманія своимъ прибытіемъ; а моя природная застѣнчивость воспрепятствовала мнѣ призвать на себя любопытство. Я остался незамѣтнымъ. Изъ угла, представившаго мнѣ тихое и безмятежное убѣжище, усмотрѣлъ я только одно знакомое лицо, между множествомъ присутствующихъ. Это былъ мой старинный пріятель *Тлчскій*. Онъ бесѣдовалъ жарко съ однимъ молодымъ офицеромъ, передъ большою картиною, на которую весьма не рѣдко простиралъ указательный перстъ свой. Глаза наши встрѣтились.

Мы привѣтствовали издали другъ друга Зевесовскимъ мановеніемъ; но не прежде сошлись вмѣстѣ, какъ по приглашеніи итти въ столовую. — «Сидѣть вмѣстѣ» — сказалъ онъ мнѣ, пожавъ руку мимоходомъ. Я послѣдовалъ за нимъ; и при занятіи мѣстъ вокругъ стола, успѣлъ втереться подлѣ него, по правую руку.

Мои скудныя свѣденія въ гастрономіи лишаютъ меня возможности представить подробное описаніе обѣда, которое не было бѣ конечно безъ занимательности. Я не припомню даже и числа блюдъ; ибо занимался болѣе слушаньемъ, чѣмъ кушаньемъ. По общимъ законамъ слова, равно господствующимъ при составленіи домашней бесѣды, какъ и при образованіи цѣлой системы языка народнаго, разговоръ начался съ односложныхъ междуметій, развился потомъ на фразы, и уже при концѣ обѣда, посыпался бѣглымъ огнемъ общаго собесѣдованія. Говорили прежде о холерѣ; потомъ о театрѣ; перешли было къ политикѣ; но одинъ почтенный, пожилыхъ лѣтъ человекъ, у котораго я замѣтилъ признаки Каммергергерскаго ключа, перервалъ вдругъ рѣчь и сообщилъ разговору другое направленіе.

— «Я думаю» — сказалъ онъ, вытираясь салфеткою, послѣ жирнаго соуса, и наполняя рюмку свою виномъ — «я думаю, что все бѣды происходятъ отъ ученыхъ и стихотворцевъ. Ma foi, это пренеугомонныя головы. Мой Jeannot — хоть бы на примѣръ — съ тѣхъ поръ какъ вышелъ изъ пансіона и началъ писать въ альбомы, сдѣлался ни на что не похожъ. Такую несеть дичь!...»

— «Извините, Ваше Превосходительство» — возразилъ сосѣдъ его съ краснымъ воротникомъ на синемъ фракѣ. «Вы напрасно изволите смѣшивать ученыхъ съ стихотворцами. Это два противорѣчія, которыя, *secundum principium contradictionis*, вмѣстѣ быть не могутъ, особливо въ нынѣшнія смутныя времена Словесности. Теперь стихотворство сдѣлалось синонимомъ невѣжеству. Невѣжество, конечно, безпокойно: но есть ли твореніе смиреннѣе и безвреднѣе ученаго?... — «Вѣрно рубашка къ тѣлу ближе» — подумалъ я самъ про себя. — «Allons, professeur!» — перервалъ хозяинъ. «Въ своемъ дѣлѣ ты не можешь быть судьей. Знаю я ваше смиреніе. Но — за что такая клевета на стихотворцевъ? По моему — это мокрая курица!... На своемъ вѣку я приглядѣлся къ нимъ. Бывало, какъ соберутся у меня покойныя... — «Покойныя были очень покойны, Ваше Сіятельство» — возразилъ съ живостію красный воротникъ. «Я говорю о нынѣшнемъ несчастномъ поколѣніи. Эта вѣтренная

молодежь, помыкающая теперь священной лирою Аполлона... *dura aetas... quibus repercit aris?*... Не говоря о дерзости, съ каковою пошѣвается она всѣмъ уставамъ и законоположеніямъ, коими держится поэтическое православіе; не говоря о презорствѣ къ святой классической древности, бывшей наставницею вѣковъ и народовъ; не говоря о нарушеніи всякаго уваженія, должнаго старости, воздвоенной опытами... *et sic in infinitum...* (Здѣсь *Тльнскій* толкнулъ меня съ коварною улыбкою) ...чѣмъ изволить заниматься эта шумная толпа *circulatorum?*... На какой ладъ настроены всѣ ея завыванія?... Ахъ!» — продолжалъ онъ съ сердечнымъ умиленіемъ — «до худыхъ временъ мы дожили! Алтари Музъ раскопаны; языкъ Боговъ поруганъ...» — «Что правда, то правда» — подумалъ я съ тайнымъ самодовольствіемъ. «Но Филиппика слишкомъ уже пламенна. Есть ли на что горячиться?...» Одна дама, сидѣвшая подлѣ хозяйки, перервала мои мысли, перервавъ рѣчь ученаго: — «Иванъ Прокофьевичъ» — сказала она разгорячившемуся Димосеену — «старовѣрческій фанатизмъ вашъ давно извѣстенъ. Вамъ не удастся однако переманить насъ въ свою вѣру. Воля ваша — а намъ скучно читать *Rossïadu*» — возразилъ ученный съ примѣтнымъ неудовольствіемъ. «Это — чудная эпопея, въ новомъ родѣ...» Хозяинъ перервалъ рѣчь. «Шутки въ сторону» — сказалъ онъ тономъ медиатора. «Я и самъ знаю давно, что *Rossïada* никуда не годится: а вѣдь право — нынѣ прочесть нечего! Что это сдѣлалось съ нашею Словесностью? Всѣ исписались, хоть брось! Легко ли — самъ *Пушкинъ*, котораго я прежде читывалъ съ удовольствіемъ... что съ нимъ стало... что онъ такъ замолкъ?...» — «А *Борисъ Годуновъ?*» подхватилъ одинъ изъ собесѣдниковъ. — «Не говорите вы объ этомъ несчастномъ произведеніи! — перервала дама, вступившая было въ состязаніе съ ученымъ. «Я всегда краснѣю за *Пушкина*, когда слышу это имя!... Чудное дѣло!... Уронить себя до такой степени... Это ужасно!... Я всегда подозрѣвала болѣе таланта въ творцѣ *Руслана и Людмилы*: я имъ восхищалась... но теперь...» — «Не угодно ли выслушать прекрасные стихи, которые я нарочно выписалъ изъ одной Петербургской Газеты въ Англійскомъ клубѣ?» сказалъ одинъ молодой человѣкъ, у котораго отпущенная по модѣ борода мелькала изъ подъ широкаго, вышедшаго изъ моды, галстука. «Это на счетъ *Бориса Годунова!*...» — «Прочти-ка, прочти!» вскричалъ хозяинъ.

«Я люблю до смерти эпиграммы и каламбуры...» Молодой франтъ приосанился, вынулъ изъ кармана маленькую бумажку и началъ читать съ декламаторскимъ выраженіемъ:

«И Пушкинъ сталъ намъ скученъ,
И Пушкинъ надоѣлъ,
И стихъ его не звученъ,
И геній охладѣлъ.
Бориса Годунова
Онъ выпустилъ въ народъ:
Убогая обнова,
Увы! на Новыи Годъ!»

Всѣ захохотали и многіе закричали: браво! прекрасно! безподобно! — «И это напечатано!» сказалъ наконецъ Каммергеръ. «Ну, Пушкинъ... Сарут!... Да и давно бы пора!... А то — вскружилъ головы молокососамъ ни за что, ни про что. Мой Jeannot — наприѣръ — бывало только имъ и бредить...» — «Я всегда сомнѣвался, чтобы у него былъ истинный талантъ», сказалъ одинъ пожилой человекъ, въ архивскомъ вице-мундирѣ. — «А я часто и говаривалъ», промолвилъ другой. — «Признаюсь», сказалъ третій — «Я и не говорилъ и не думалъ; но теперь начинаю думать и готовъ сказать»... Я толкнулъ въ свою очередь *Тлнскаго*. «Что жъ ты молчишь», прибавилъ я ему потихоньку на ухо. «Вѣдь вашу тысячу рубятъ!» *Тлнскій* молчалъ, утупивъ глаза въ тарелку. «Но» — раздался одинъ голосъ между присутствующими — «не должно спѣшить такъ опрометчиво приговоромъ. Посмотримъ еще, что скажутъ Журналисты...» — «Они нѣмы, какъ рыбы» — прервала дама. «И это молчаніе есть уже самое краснорѣчивое свидѣтельство...» — «По моему, однако, гораздо вѣрнѣе и безопаснѣе приостановить свое сужденіе — до рѣшенія *Московского Телеграфа*...» — «Но *Московский Телеграфъ* вѣрно будетъ на моей сторонѣ... на сторонѣ правды... на сторонѣ публики...» возразила дама. «Не правда ли, monsieur Tlenski... Вы вѣрно уже видѣли, или по крайней мѣрѣ слышали, что готовится въ *Телеграфѣ*...» — «Сударыня!» отвѣчалъ *Тлнскій* съ примѣтнымъ замѣшательствомъ. «Я ничего не знаю... да и какъ знать мнѣ?... Но... я думаю... мнѣ кажется... ходъ обстоятельствъ заставляетъ меня предполагать... Что... что *Московский Телеграфъ* не выскажетъ... не можетъ высказать откровенно... истинное мнѣніе о *Борисѣ Годуновѣ*. У него

теперь столько враговъ... авторитетъ *Пушкина* еще такъ великъ... Коротко сказать... Я думаю... что онъ ограничится общими выраженіями и не пустится въ подробности... Да и лучше гораздо предоставить самой публикѣ разломать кумирь, предъ которымъ она столь долго благоговѣла... Чему быть, тому не миновать... оболъщеніе не можетъ существовать долго... — «И однако ты былъ первый изъ оболъстителей», подхватилъ хозяинъ. «Кто, бывало, трубилъ трубой объ этомъ *Борисъ Годуновъ*? Не ты ли проспоривалъ цѣлые вечера и выходилъ самъ изъ себя, доказывая, что эта трагедія или комедія — не помню, какъ ты называлъ ее — сдѣлаетъ эпоху въ нашей литературѣ и подвинетъ ее впередъ нѣсколькими столѣтіями? Не ты ли увѣрялъ, что одна сцена ея равняетъ *Пушкина* со всѣми первоклассными поэтами нашего великаго вѣка? Не ты ли... — «Я... можетъ быть... но...» — «Monsieur Tlenski могъ также обманываться, какъ и всѣ... какъ и я сама...» прервала дама. «Заблужденія столь же свойственны уму, какъ и сердцу...» — «Oh! je suis absolument de votre avis, madame!» подхватилъ *Тлѣнскій*. «Но первыя проходятъ скорѣе, чѣмъ послѣднія!...» Дама улыбнулась; между тѣмъ подали пить за здоровье. Разговоръ естественно долженъ былъ взять другое направленіе. Восклицанія и поздравленія раздались со всѣхъ сторонъ. Я сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Нѣсколько разъ повторялъ я на ухо моему сосѣду: «Ты ли это? а?...» *Тлѣнскій* не отвѣчалъ мнѣ ни слова: онъ вовлекся, какъ будто нарочно, въ общую суматоху, и припѣвалъ громогласно различныя варіаціи на общую тему: *многая мѣта!* Обѣдъ кончился. Я схватилъ *Тлѣнскаго* за руку, когда начали вставать, и сказалъ ему: «Теперь, любезный, ты отъ меня не отдѣлаешься... я требую отъ тебя объясненія: понималъ ли ты, что говорилъ?... а?...» — «Отвяжись отъ меня» — закричалъ онъ мнѣ съ досадою. «Ты меня хочешь душить своими диссертациями — а мнѣ, право, не до нихъ». Я остановился и устремилъ на него испытующій взглядъ. «Ты однако не кривилъ никогда душею» — сказалъ я потомъ съ медленною важностію — «хотя и принадлежишь къ извѣстному приходу». *Тлѣнскій* смѣшался. «Хорошо», отвѣчалъ онъ съ живостью, «пойдемъ въ кабинетъ Князя: тамъ закуримъ трубки и я буду тебя слушать. Но, чуръ, не распространяться! Я далъ слово составить партію *Анны Петровны*...» Мы вошли въ кабинетъ. На столѣ, какъ нарочно, лежалъ экземпляръ

Бориса Годунова, разложенный на сценѣ въ корчмѣ. Я взялъ книгу и обратился къ *Тльнскому*, набивавшему для меня трубку: — Читаль ли ты всего *Бориса*? — *Тльн.* Читаль! *Я.* Ну — что же? *Тльн.* Что, братъ! я соглашаюсь совершенно съ тобою! Такая дрянь, что невольно дивишься и краснѣешь: какъ могъ я до сихъ поръ не быть одного съ тобою мнѣнія... *Я.* Но почему ты знаешь, одного ли я мнѣнія съ тобою... *Тльн.* (повалясь на диванъ). О! твои странности мнѣ не въ диковинку. Ты любишь плавать противъ воды, идти на переборъ общему голосу, вызывать на бой общее мнѣніе. Тогда, какъ все благоговѣло передъ *Пушкинымъ*, ты почиталь удовольствіемъ и честію нещадно бранить его: но теперь, когда онъ палъ и все ополчается противъ него, ты себѣ навѣрное поставишь въ удовольствіе и честь принять его подъ свою защиту. Но — повѣрь, что хлопоты твои пропадутъ понапрасну. Защищенія твои будутъ имѣть такой же успѣхъ, какъ и нападки. Глубоко паденіе *Пушкина*: *Борисъ Годуновъ* зарѣзалъ его, какъ *Димитрія Царевича*, — а ты хочешь играть роль *Шуйскаго*!... Право — не утвердить тебѣ на немъ вѣнца, коего похищеніе начинается становиться слишкомъ ощутительно... *Я.* А ты — съ братією — вѣрно хочешь разыгрывать *Самозванца*? Дѣло не дурное!... Но — оставимъ аллегоріи!... Скажи мнѣ ясно и опредѣленно, за что несчастный *Борисъ* упалъ у васъ такъ въ курсѣ?... *Тльн.* Да, помилуй! Что это за дребедень?... Не сумѣешь, какъ назвать ее... Ни то трагедія, ни то комедія, ни то — чортъ знаетъ что!... *Я.* Ге! ге! ге! Такъ и ты началъ разбирать имена!... А между тѣмъ — не ваша ли братья называла прежде школьнымъ дурачествомъ всякое покушеніе подводить произведенія новѣйшей романтической поэзіи подъ разрядный списокъ старинныхъ классическихъ учебниковъ?... Спугилъ же надъ вами *Пушкинъ* шутку пробѣломъ, который сдѣлалъ на заглавномъ листѣ *Бориса Годунова*!... Теперь извольте поломать свои залетныя головы... *Тльн.* Надобно же однако, чтобы поэтическое произведеніе имѣло опредѣленный характеръ, по которому могло бѣ относиться къ той или другой категоріи поэтического міра... фамильный типъ. *Я.* Не истощайся, пожалуйста, на фразы: онѣ только затемняютъ мысль твою, которой нельзя отказать въ справедливости. Но — развѣ въ *Борисъ Годуновъ* нѣтъ этого — какъ ты говоришь — фамильнаго типа... опредѣленнаго характера, по которому можно бѣ было его отнести къ той или

другой... *Тльн.* Такъ что жъ — драма что ли это?... *Я.* Нѣтъ! *Тльн.* *Драматическая поэма?*... *Я.* Нѣтъ! *Тльн.* То, что Нѣмцы называютъ *Schauspiel*?... *Я.* Ни даже то, что Испанцы называютъ *Autos Historiales* — хотя *Борисъ* сюда подходитъ ближе, чѣмъ куда либо... *Тльн.* А! понимаю... ты хочешь сказать — въ родѣ *историческомъ*... на подобіе Шекспировыхъ *хроникъ* — такъ что ли?... *Я.* Не совѣмъ и такъ!... Шекспировы *хроники* писаны были для театра и посему болѣе или менѣе подчинены условіямъ сценики. Но *Годуновъ* совершенно чуждъ подобныхъ претензій. Диалогистическая форма составляетъ только раму, въ коей *Пушкинъ* хотѣлъ воскресить для поэтического воспоминанія — говоря собственными его словами —

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой...

Это — рядъ *историческихъ сценъ*... эпизодъ *исторіи въ лицахъ!*... Не онъ первый, не онъ и послѣдній затѣялъ этотъ новый способъ поэтическаго представленія событій, неизвѣстнаго нашимъ дѣдамъ. *В. Скоттъ* подалъ къ нему поводъ своими *романами*; а Французская неистощимая живость не умедлила имъ воспользоваться, съ свойственною ей легкостію и затѣйливостію. Знаменитая трилогія, представляющая въ широкой панорамѣ *сценъ* исторію *Лиги*, со дня *Баррикады до смерти Генриха III*, тебѣ извѣстна. Она породила тѣму подражаній. Всѣ Французскія лѣтописи перерываются теперь съ неугомною суетливостію, и замѣчательнѣйшіе моменты народной жизни перекадываются въ *разговоры и сцены* съ такимъ же усерднымъ рвеніемъ, какъ бывало Французская Исторія перекадывалась въ *двуступишія* и *четвероступишія* тщаніемъ Отцевъ Езуитовъ. Вотъ фамилія, къ которой принадлежитъ *Годуновъ* и который типъ на себѣ онъ носитъ... *Тльн.* Очень хорошо! Такъ это — *историческія сцены!*... Но, мнѣ кажется, что всякое изящное произведеніе должно имѣть органическую цѣлость... поэтическій *ensemble*... *Я.* Безъ сомнѣнія. *Тльн.* Ну — а есть ли хотя тѣнь цѣлости въ этой связкѣ разговоровъ, которая соединена въ одинъ переплетъ подъ именемъ *Бориса Годунова?*... Не говори мнѣ о *Баррикадахъ!* Я читалъ ихъ. Это цѣльная и полная картина, начинающаяся съ начала и оканчивающаяся концемъ! А *Годуновъ?*... Смѣхъ да и только!... У него конецъ въ серединѣ, а начало —

Богъ вѣсть, гдѣ... Я. Какъ такъ!... *Тлн.* Да — такъ!... Какъ называется вся пьеса? *Борисъ Годуновъ!*... Стало быть, онъ — *Борисъ Годуновъ* умираетъ: а эти *историческія сцены* все еще тянутся и морять терпѣніе... Я. Такъ тебя это соблазняетъ любезный! А, по моему, здѣсь не только не на что негодовать, но не надъ чѣмъ и задумываться. Дѣло все состоитъ въ томъ, что ты не понимаешь надлежащимъ образомъ идеи поэта. Не *Борисъ Годуновъ*, въ своей біографической недѣлимости, составляетъ предметъ ея, а царствованіе *Бориса Годунова* — эпоха, имъ наполняемая — міръ, имъ созданный и съ нимъ разрушившійся — однимъ словомъ — *историческое бытіе Бориса Годунова*. Но оно оканчивается не его смертію. Тѣнь могущественнаго Самодержца возсѣдала еще на престолѣ Московскомъ въ краткіе дни царствованія и жизни *Теодора*. *Борисъ* умеръ совершенно въ своемъ сынѣ. Тогда начался для Москвы новый переломъ, новая эра: тогда — не стало Годунова... *Тлн.* Но, въ такомъ случаѣ, надлежало бы начать гораздо ранѣе. *Борисъ* царствовалъ задолго до вступленія своего на престолъ Московскій... Я. Не царствовалъ, а царевалъ — это правда! *Борисъ* — Правитель имѣлъ конечно всю царскую власть въ рукахъ своихъ: Онъ вѣдалъ самодержавно землю Русскую изъ-за слабаго *Теодора*; но былъ рабомъ старыхъ формъ Московскаго быта и не дерзалъ преступать ихъ. Отсюда — царствованіе сына *Иоаннова*, несмотря на то, держалось рукою *Борисовою*, не представляетъ никакого измѣненія въ фізіономіи царства Московскаго. Это была благочестивая панихида по *Грозномъ* — не болѣе! — *Борисъ* зачалъ новую жизнь для себя и для Москвы тогда, когда утвердилъ на себѣ вѣнецъ, который прежде держалъ на главѣ *Теодора*. Съ того времени начинается его историческое существованіе: съ того времени долженъ онъ являться на позорище... *Тлн.* И явился на позоръ въ сценахъ *Пушкина*...— Я. Извини, любезный!... Это именно и составляетъ ихъ достоинство, что сей колоссальный призракъ нашихъ среднихъ временъ, облеченный всею прелестію романтической фантазмагоріи, представленъ въ нихъ такъ, какъ доселѣ еще не бывало. Величіе генія *Борисова* разстилается гигантскою тѣнью въ скудныхъ воспоминаніяхъ нашей исторіи: но глубина сей исполинской души занавѣшена еще мрачнымъ покровомъ. Что совершалось въ сокровенныхъ ея пещерахъ тогда, когда Москва, выплакавшая себѣ Царя, должна была, вмѣсто ожидаемаго

успокоенія, испытать подъ нимъ всю тяжесть тиранства, которое было тѣмъ убійственнѣе, чѣмъ скрытнѣе и лукавѣе?... Ужасенъ ропотъ современниковъ, такъ вѣрно переданный *Пушкинымъ*:

Что пользы въ томъ, что явныхъ козней нѣтъ,
 Что на полу кровавомъ всенародно
 Мы не поемъ каноновъ Иисусу,
 Что насъ не жгутъ на площади, а Царь
 Своимъ жезломъ не подгребаеть углей?
 Увѣрены-ль мы въ бѣдной жизни нашей:
 Насъ каждый день опала ожидаетъ,
 Тюрьма, Сибирь, влобукъ иль кандалы,
 А тамъ въ глуши голодна смерть иль петля?

Легко-ль, скажи: мы дома, какъ Литвой,
 Осаждены невѣрными рабами:
 Все языки, готовые продать,
 Правительствомъ подкупленные воры.
 Зависимъ мы отъ перваго холопа,
 Котораго захочемъ наказать.

И между тѣмъ, это было царствованіе того же самаго *Бориса*, который при торжественномъ вступленіи своемъ на престолъ, клялся раздѣлить свою рубашку съ подданными!... Откуда-жь произошла столь ужасная перемѣна? Исторія представляетъ только дѣйствія, совершающіяся на аван-сценѣ жизни: поэзія можетъ приподнимать кулисы и указывать за ними сокровенныя пружины, коими движется зрѣлище. Я не говорю, чтобы *Пушкинъ* угадалъ истинную тайну души *Борисовой* и надлежащимъ образомъ понялъ всю чудесную игру страстей ея. Сердце *Годунова* требуетъ еще глубокаго испытанія. Былъ ли это вертепъ злодѣйства, совлекшаго съ себя личину при сознаніи своего всемогущества... или, можетъ быть, пучина властолюбія, неразборчиваго на средства для сокрушенія встрѣчаемыхъ имъ препятствій?... *Пушкинъ* принялъ средину между сими двумя крайностями, на которой держалъ себя и *Карамзинъ* — хотя, можетъ быть, сія средина не есть еще золотая. На его глаза, душа *Бориса* была не что иное, какъ отшельническая пустынь виновной совѣсти, борющейся съ призраками преступленія, кои всюду ее преслѣдуютъ: и съ этой точки зрѣнія, коей вѣрности я совсѣмъ защищать не намѣренъ, лице *Годунова*, если не совершенно отдѣлано, то по крайней мѣрѣ рѣзко очеркнуто въ сценахъ *Пушкина*. Я не

доволенъ первую изъ нихъ, гдѣ *Борисъ* является съ *Патріархомъ* и *Боярами*. Въ ней лице его не имѣетъ никакой выразительности: и — слишкомъ благоговѣнное воззваніе къ тѣни *Теодора*, которое могло быть только слѣдствіемъ необходимаго этикетнаго производства:

О праведникъ, о мой отецъ державный,

не будучи пояснено выраженіемъ истинныхъ чувствованій *Бориса*, бросаетъ на него мрачную тѣнь низкаго лицемѣрія. Настоящій его характеръ, по образу воззрѣнія поэта, обнаруживается во всей наготѣ вторичнымъ монологомъ, послѣ тайнаго совѣщанія съ кудесниками. Здѣсь онъ вынуждается приподнять самъ предъ собою завѣсу, подъ которою таятся червь, неуспынно извѣдающій его душу:

Я думалъ свой народъ
 Въ довольствіи, во славу успокоить,
 Щедротами любовь его снискать —
 Но отложилъ пустое попеченье;
 Живая власть для черни ненавистна.
 Они любятъ умѣютъ только мертвыхъ.
 Безумны мы, когда народный плескъ,
 Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше!

Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ
 Среди мірскихъ печалей успокоить;
 Ничто, ничто.... едина развѣ совѣсть —

Но если въ ней единое пятно,
 Единое случайно завелось;
 Тогда бѣда: какъ язвой моровой
 Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
 Какъ молоткомъ стучить въ ухахъ упрекомъ,
 И все тошнить, и голова кружится,
 И мальчишки кровавые въ глазахъ...

Эта послѣдняя черта, конечно, слишкомъ жестка: я бы посовѣтовалъ ее оставить. Но — вотъ пламя, пожирившее душу *Бориса*, которое отливало багровымъ заревомъ на все Московское царство!... Теперь далѣе!... Насильственное спокойствіе царскаго величія подавляетъ внутренній мятежъ подозрѣній, взволновавшихся въ сердцѣ *Бориса* при слухахъ о новой смутѣ. Имя *Димитрія*, подобно электрической искрѣ, мгновенно взрываетъ ихъ вулканическое скопленіе.

Димитрія!... какъ? этого младенца?

Димитрія!... Царевич удались.

Димитрія!

. Взять мѣры сей же часъ;

Чтобъ отъ Литвы Россія оградилась

Заставами; чтобъ ни одна душа

Не перешла за эту грань; чтобъ заяцъ

Не прибѣжалъ изъ Польши къ намъ; чтобъ воронъ

Не прилетѣлъ изъ Кракова! Ступай!...

Въ слѣдъ за симъ, я опять не хотѣлъ бы встрѣтить насильственного смѣха, коимъ поэтъ заставляетъ *Бориса* удушать свое смятеніе въ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ Шуйскаго: смѣхъ этотъ слишкомъ искусственъ; и притомъ мы слышали его въ *Коварствѣ и Любви* Шиллера. Но передышка его, послѣ убійственного описанія смерти *Димитрія*, которое онъ осужденъ былъ выслушать, имѣетъ опять истинное достоинство:

Ухъ, тяжело!... дай духъ переведу —

Я чувствовалъ: вся кровь моя въ лице

Мнѣ кинулась и тяжело опускалась...

Такъ вотъ за чѣмъ тринадцать лѣтъ, мнѣ сряду

Все снилося убитое дитя!

Да! да — вотъ что! теперь я понимаю.

.
Охъ тяжела ты шапка Мономаха!

Молчаніе его въ Думѣ, при разсказѣ *Патріарха* о чудодѣйственной силѣ святыхъ остатковъ *Димитрія*, блистающемъ всею прелестью простосердечія, столь убійственного для виновной совѣсти, стоитъ также молчанія Аякова въ поляхъ Елисейскихъ!... Правда, смерть Царя — кромѣ неправдоподобныхъ въ отношеніи къ краткости промежутка между бодрымъ разговоромъ его съ *Басмановымъ* и внезапнымъ изнеможеніемъ на одрѣ смерти, занимаемого только десятистрочнымъ монологомъ того же самаго *Басманова* — представлена довольно слабо. Его прощальная бесѣда съ сыномъ составляетъ уже слишкомъ длинную и черезъ-чуръ паставительную предіку. Душа въ послѣднія минуты внезапно обрывающейся жизни не бываетъ говорлива: она болѣе чувствуетъ. И что — если бы поэтъ умѣлъ представить намъ суровую душу *Бориса* въ сіи торжественныя мгновенія полного изліянія!... Но — быть такъ!.. Не смотря на это, должно

сознаться, что *Борисъ*, подъ *Карамзинскимъ* угломъ зрѣнія, никогда еще не являлся въ столь вѣрномъ и яркомъ очеркѣ. Посмотри даже на мелкія черты: онѣ иногда одною блестящею освѣщаютъ цѣлыя ушелія души его! Не обнажаетъ ли предъ тобой всю прелесть простосердечія ума великаго — богатаго силою, но обдѣленнаго образованіемъ — этотъ добродушный вопросъ его Царевичу:

А это что такое
Узоромъ здѣсь вѣется?...

Или... не слышишь ли ты въ этомъ медленно разскатывающемся взрывѣ — коимъ оканчивается глухая исповѣдь *Князя Шуйскаго* — весь ужасъ бури, влокающей въ души его:

Подумай, Князь! Я милость обѣщаю,
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь — тебя постигнетъ злая казнь,
Такая казнь, что Царь Иванъ Васильичъ
Отъ ужаса во гробъ содрогнется.

А!... Что ты на это скажешь?... Или — ты спишь никакъ...
Тльн. Совсѣмъ нѣтъ! я, напротивъ, тебя заслушался! продолжай, продолжай!... Переметывай кадило.... *Я.* Да я совсѣмъ не шучу съ тобой. Что ты на это скажешь? — *Тльн.* А — что-жъ такое! Еслибъ *Борисъ* самъ и дѣйствительно былъ представленъ хорошо *Пушкинымъ* — такъ развѣ онъ одинъ тамъ только. Ну — а прочая святая братія.... *Я. Шуйскій* представленъ мастерски — отлично!... Безстыдная угодливость царедворца выливается ярко на всѣхъ его рѣчахъ и поступкахъ. Ему не стоитъ ничего отпереться отъ собственныхъ словъ предъ прямодушнымъ *Воротынскимъ*; онъ выманиваетъ у *Пушкина* тайну о Самозванцѣ и самъ несетъ ее къ *Борису*. Ничто не могло дать лучше и вѣрнѣе объ немъ понятія, какъ эти слова *Бориса*, задержавшія вѣтвы, на которыя онъ готовъ былъ разсыпаться:

Нѣтъ, Шуйскій, не клянись,
Но отвѣчай!...

Лукавый оборотъ, коимъ *Шуйскій* отклоняетъ добродушное предложеніе *Патріарха* о перенесеніи мощей *Димитрія*, показываетъ

всю ловкость его въ искусствѣ царегугодничества и заслуживаетъ ему исполнѣ имя *молодца*, который умѣетъ *выручить*... *Тмн. (небрежно)*. Продолжай... продолжай... дайте... *Я. Патриархъ* поставленъ также не дурно. Въ разговорѣ съ *Иулиномъ*, онъ является во всей простотѣ добраго старца; при совѣщаніи, на Царской Думѣ, возвышается до боглѣпной святительской торжественности... *Тмн.* А по моему — онъ ничего не значить въ сравненіи съ *Мисаиломъ* и *Варлаамомъ*... вотъ такъ настоящіе старцы!... Шутки въ сторону — а это чуть ли не первыя лица между всею братіею, составляющею причтъ *Годунова*! На нихъ только и можно полюбоваться: въ нихъ видѣнъ еще талантъ *Пушкина*!... Чортъ возьми! Я готовъ за нихъ простить ему всѣ грѣхи: уморили меня со смѣху... *Я.* Который, вѣроятно, и помѣшалъ тебѣ разсмотрѣть, что это одна изъ самыхъ худшихъ сценъ *Бориса*! Я не спорю, что бродяги изображены въ ней весьма вѣрно, прямо съ натуры; и самъ на нихъ отъ души посмѣялся. Но — кромѣ излишества, до котораго въ нѣкоторыхъ пунктахъ доведенъ этотъ фарсъ — его драматическое строеніе исполнено такихъ несообразностей, что изъ рукъ вонъ! Ну статочное-ль, напримѣръ, дѣло, чтобы въ то время, когда сами приставы привязываются съ подозрѣніями къ *Мисаилу* и сей послѣдній объявляетъ себя безграмотнымъ — *Григорій* вздумалъ сваливать бѣду на *Варлаама*, который — хотя и когда-то — но все-таки умѣлъ читать? и слѣдовательно могъ изобличить его обманъ, какъ дѣйствительно и случилось?.. Спасеніе изобличеннаго обманщика изъ корчмы, съ кинжаломъ въ рукѣ, было бы, можетъ быть, и очень эффектно, елибѣ только не весьма естественное сомнѣніе: какъ онъ могъ проскочить сквозь окно корчмы, которая и понынѣ красна бываетъ пирогами, а не углами и окнами?... Нѣтъ! я почти столько жѣ не доволенъ этимъ фарсомъ, какъ и каррикатурнымъ смѣшеніемъ языковъ въ сценѣ *битвы на равнинѣ близъ Новгорода* — *Сверскаго*... *Тмн.* Какъ! Тебѣ и это не нравится! *Ква! ква!*... *pravoslavni!* *пошѣль*... всѣ эти штуки!.. Ну, братъ! съ тобой дѣются чудеса. Мнѣ, кажется, что холера составляетъ эпоху въ твоемъ образѣ мыслей. Назадъ тому мѣсяцевъ шесть, ты бы первый сталъ доказывать, что здѣсь-то именно и является талантъ *Пушкина*. Тогда въ твоихъ глазахъ, или, по крайней мѣрѣ, въ твоихъ словахъ — только что на каррикутуры онъ былъ и го-

день. Я помню, какъ ты это напѣвалъ мнѣ. А ты — ты... я думаю, скажешь съ *Шуискимъ*:

теперь не время помнить!...

Я. Напротивъ — и теперь все равно! Какъ будто нельзя имѣть талантъ и давать промахи! Я всегда говорилъ, что фантазія *Пушкина*, прихотливая и своеобразная, мастерица на арабески. Это подтверждается и здѣсь сценою *Юродиваго*... *Тлн.* *Юродиваго*... этого еще не доставало!... Да можетъ ли что быть хуже?... Дикій фарсъ... безъ мысли... безъ цѣли... Я. А по моему — и съ мыслию и съ цѣлю! Можно ль было лучше и вѣрнѣе съ исторіей — довести до недоступнаго слуха грознаго Царя грозную вѣсть, что его преступленіе не есть тайна для безмолвствующаго народа? А это необходимо было для того, чтобы заставить *Бориса* испить до дна чашу мести... Что фигура *Юродиваго* накинута очень легко — это правда: за то всѣ черты ея истинны и выразительны... *Тлн.* *Желѣзный колтакъ! желѣзный колтакъ!*... *тр. rrr*... Это въ самомъ дѣлѣ очень живописно!... Ну — любезный! очень вижу я, что тебѣ хочется, наперекоръ всѣмъ, сдѣлать изъ *Годунова chef-d'oeuvre* нашей поэзіи... Я. Ничего не бывало! Я хочу только обличить твою несправедливость въ произведеніи, которое ни сколько не унижаетъ таланта, коему обязано бытіемъ своимъ. Недостатки его, можетъ быть, для меня гораздо болѣе ощутительны, чѣмъ для тебя самого... *Тлн.* А!.. такъ это солнце имѣетъ же для тебя свои пятна!... Укажи-ка ихъ мнѣ, пожалуйста! Я догадываюсь напередъ, что это должны быть такія вещи, въ коихъ мы профаны находимъ слѣды генія *Пушкина*. Тебя надобно вѣдь понимать на изнанку... Я. За то я самъ смотрю съ лица на дѣло!... Существенный недостатокъ *Бориса* состоитъ въ томъ, что въ немъ интересъ раздвоенъ весьма неудачно; и главное лице — *Годуновъ* — пожертвовано совершенно другому, которое должно бѣ играть подчиненную роль въ этомъ славномъ актѣ нашей исторіи. Я разумѣю *Самозанца*. Какъ будто по заговору съ исторіей, Поэтъ допустилъ его въ другой разъ возстать на *Бориса* губительнымъ призракомъ и похитить у него владычество, принадлежавшее ему по всѣмъ правамъ. Лице *Лже-Димитрія* есть богатѣйшее сокровище для искусства. Оно такъ создано дивною силою, управляющею судьбами

человѣческими, что въ немъ исторія пересиливаетъ поэзію. Стоитъ только призвать на него вниманіе — и тогда всё образы, сколь бы ни были колоссальны и величественны, должны исчезать въ фантастическомъ заревѣ, имъ разливаемомъ, подобно какъ исполины горъ исчезаютъ для глазъ въ пурпурѣ неба, обогрѣннаго сѣвернымъ сіяніемъ. А потому тѣмъ осторожнѣе и бережнѣе надлежало поступать съ нимъ Поэту, избравшему для себя героемъ *Бориса*. Это дивное лицо слѣдовало поставить въ должной тѣни, дабы зрѣніе не отрывалось имъ отъ законнаго средоточія. Но у *Пушкина*, по несчастію, *Самозванецъ* стоитъ на первомъ планѣ; и — *Борисъ* за нимъ исчезаетъ: онъ становится постороннимъ незамѣтнымъ гостемъ у себя дома. Музы наказали однако сіе законопреступное похищеніе въ поэзіи, точно также какъ наказано оно рокомъ въ исторіи. *Самозванецъ* выставляется только для того, чтобы показать свою ничтожность. Въ сценахъ *Пушкина*, такъ же какъ и на Престолѣ Московскомъ, онъ ругается безпрестанно надъ своей чудной звѣздой, какъ бы нарочно изученною безхарактерностью. Возьми самую первую сцену, гдѣ онъ является на позорище... сцену *въ кельѣ Пимена... Тлѣн*. Ну такъ! Самая лучшая сцена, кабая только есть во всемъ *Годуновѣ*... Я. По наружной отдѣлкѣ — не спорю! Но тѣмъ для ней хуже!... Я согласенъ, что эта сцена, взятая отдѣльно, есть блистательнѣйшее произведеніе поэзіи. Она говоритъ мыслями, выпитъ чувствомъ. Но, по несчастію, ей не достаетъ самой простѣйшей и самой важнѣйшей вещи — исторической истины. Ну возможно ли, чтобы старецъ *Пименъ*, сколь ни много видѣлъ онъ при Дворѣ *Иоанновомъ*, могъ восторгнуться до того *высшаго взгляда* на судьбы человѣческія, котораго изъ всѣхъ нынѣшнихъ Французскихъ и Нѣмецкихъ системъ не могъ вычитать, при всей своей досужести, такъ называемый Историкъ Русскаго Народа? Сія высокія мысли:

Минувшее проходитъ предо мною —
 Давно-ль оно неслось событій полно,
 Волнуясь, какъ море — океанъ?
 Теперь оно безмолвно и спокойно:
 Не много лицъ мнѣ память сохранила,
 Не много словъ доходитъ до меня,
 А прочее погибло невозвратно!

сія высокія мысли — хотя Поэтъ и старался переложить ихъ на древнее Русское нарѣчіе — обличаютъ въ смиренномъ *Чудовскомъ*

отшельникѣ наслѣдника идей *Гердеровыхъ*. Прекрасно, да — не на мѣстѣ!... Но оставляя это, какъ промахъ, слишкомъ выкупаемый своимъ относительнымъ достоинствомъ, я не могу извинить ничѣмъ той невѣрности и того безпрестаннаго противорѣчія съ самимъ собой, которое представляетъ лице *Лже-Димитрія*. Въ первой сценѣ, о которой я теперь говорилъ, онъ является пламеннымъ энтузиастомъ, летающимъ дерзкими мечтами по поднебесью, но между тѣмъ еще носящимъ на себѣ печать дѣтской простоты, нарѣзанную иноческимъ послушаніемъ. Въ *корчмѣ на Литовской границѣ* — онъ уже отчаянный разбойникъ, изученный всѣмъ приемамъ опытнаго преступленія. Непосредственно въ слѣдъ за тѣмъ, у князя *Вишневецкаго* — бѣглый Чудовскій монахъ витѣйствуетъ пышными фразами о высокомъ значеніи поэзіи:

Я вѣрую въ пророчества питовъ.
Нѣтъ, не вотще въ ихъ пламенной груди
Кипитъ восторгъ: благословится подвигъ,
Его жъ они прославили заранѣ!

Знаемъ мы, что *Лже-Димитрій* подписывалъ имя свое полатыни, хотя и безъ соблюденія ореографіи: но поэзіи надлежало бы изъяснить эту чудную черту исторической фізіономіи *Самозванца*, или вовсе до ней не касаться. Сіе послѣднее особенно прилично было въ *Годуновѣ*, гдѣ гораздо бы интереснѣе было увидѣть, въ первой аудіенціи *Лже-Димитрія*, не литературныя его свѣденія, а живую и полную картину различныхъ побужденій, кои созвали подъ знамена его первыхъ слугъ и первыхъ ратниковъ. Это общее мѣсто, произнесенное *Гаврилою Пушкинымъ*:

Они пришли у милости твоей
Просить меча и службы —

совершенно ничего не сказываетъ въ этомъ отношеніи: а между тѣмъ намъ пріятно бѣ было найти въ поэзіи, если не извиненіе, то по крайней мѣрѣ объясненіе столь страннаго ослѣпленія! Но — всего чуднѣе, всего непонятнѣе положеніе, въ коемъ Поэту заблагоразсудилось поставить *Лже-Димитрія* (*ночью, въ саду, при фонтанѣ*) предъ *Мариною*!... чудное дѣло! Видно *фонтаны* заляты для *Пушкина*!... Романическое Дон-Кихотство, въ силу коего хитрый *Самозванецъ*, почти слѣпившій уже для себя корону,

открываетъ своей Дульцинеѣ тайну, на которой, какъ на волоскѣ, держится все бытіе его, и упорство, съ коимъ онъ поддерживаетъ свое безумное признаніе, для того, чтобы вымолить миртовую вѣточку у женщины, признающей съ торжественнымъ безстыдствомъ, что она любила въ немъ только имя, имъ похищенное — ну на что это похоже!... Я не могъ спокойно слушать этой сцены, которую читалъ мой пріятель. Меня хватало за живое. Видя возрастающее безуміе *Самозванца* и возрастающую наглость *Марины*, я не переводилъ духа, ловя во всякомъ словѣ надежду, что это проклятое дѣло какъ-нибудь уладится; и наконецъ — кончилъ повтореніемъ стиховъ, заключающихъ эту несчастную сцену:

Чортъ съ ними: мочи нѣтъ:
И путаетъ, и вьется, и ползетъ,
Скользитъ изъ рукъ!...

Вотъ уже гдѣ дѣйствительно жалко *Пушкина*! Такъ онъ сбился, что не узнаешь!... А между тѣмъ, какъ нарочно, эта злодѣйская сцена, въ отношеніи къ наружной отдѣлкѣ, премастерская!... Последнія сцены, въ коихъ является *Лже-Димитрій*, хоть ужъ тѣмъ хороши, что не подрашены; а потому ничтожность ихъ въ глаза не мечется!... И такъ — *Самозванецъ* для того заслонилъ собою *Бориса*, чтобы показаться уродомъ! Конечно, это большое несчастье, которое не могло не повредить эффекту всей пьесы... но.... *Тлмн.* Опять — но!... Знаю — ты найдешься и *contre* и *roug*.... Но забѣливать черное гораздо труднѣе, чѣмъ чернить бѣлое. Не безпокойся!... Я усталъ слушать твои подробности; да и трубка моя докурилась. Пора идти; чай — заждались и такъ меня. Скажу только тебѣ одно слово: поэзія есть творчество: а здѣсь нѣтъ ни одного оригинальнаго созданія. *Борисъ* и *Шуйскій*, которыхъ ты хвалишь, переложены только въ стихи изъ пѣвучей прозы *Исторіи Государства Россійскаго*! — Я. Да что-жъ дѣлать, когда ломаная проза *Исторіи Русскаго Народа* о сю пору все еще продирается сквозь заповѣдную чашу *Ростиславовъ* и *Изяславовъ*? Что бы ей добратъся хоть до *Годунова*?... А то — у когъ-жъ достанетъ совѣсти творить историческія лица!... Впрочемъ, если дѣло дошло до творчества, то я тебѣ покажу, что ты не читалъ *Бориса*, или читалъ по складамъ. А — молодой *Курбскій*?... Развѣ это не собственное созданіе *Пушкина*?... И какое еще созданіе... О! я не могу

безъ умиленія повторять этого трогательнаго изліянія, въ коемъ такъ свѣтло отражается душа чистая, полная святою дѣтскою любовію къ роди́нѣ:

Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!
 Святая Русь! Отечество! Я твой!
 Чужбины прахъ съ презрѣньемъ отрясаю
 Съ моихъ одеждъ, пью жадно воздухъ новый:
 Онъ мнѣ родной! Теперь твоя душа,
 О мой отецъ, утѣшилась и въ гробѣ
 Опальные возрадуются кости!
 Блеснулъ опять наслѣдственный нашъ мечъ,
 Сей славный мечъ — гроза Казани темной,
 Сей добрый мечъ — слуга Царей Московскихъ!
 Въ своемъ пиру теперь онъ загуляетъ
 За своего надежу — Государя!...

А!... Это для меня выкупаетъ почти *Нулина*... *Тлн.* Толкуй себѣ, толкуй!... *Нулина*-то и понинѣ читаютъ съ жадностію: а о *Борисѣ* — спроси-ка у публики... *Я.* Публики!... Будто не извѣстна наша публика?... Правду сказать, *Пушкинъ* самъ избаловалъ ее своими *Нулиными*, *Цыганами* и *Разбойниками*. Она привыкла отъ него ожидать или смѣха, или дикости, оправленной въ прекрасные стихи, которые можно написать въ альбомъ, или положить на ноты. Ему вздумалось теперь переимѣнить тонъ и сдѣлаться постепеннѣе: такъ и перестали узнавать его!... Вотъ тебѣ разгадка холодности, съ которою встрѣченъ *Годуновъ*! Онъ теперь гудитъ, а не щебечетъ. Странно было и для меня такое превращеніе: но я скоро призналъ *Пушкина*. Поэтъ только переимѣнилъ голосъ: а вамъ чудится, что онъ спалъ съ голоса!.. — «Мнѣ чудится» — перервалъ *Тлнскій* — «что меня кличутъ. И дѣйствительно!... Прощай, любезный!... Ты можешь витійствовать, какъ угодно: но — дѣло сдѣлано!... *C'en est fait*... Гласъ народа, гласъ Божій!... *Годунову* не воскреснуть!...» Онъ порхнулъ, подобно зефиру.... «Ахъ!» вскричалъ я, оставшись одинъ. «Зачѣмъ *Пушкинъ* умѣлъ только сказать эту высокую истину:

Блаженъ, кто про себя тайлъ
 Души великія созданья
 И отъ людей, какъ отъ могиль,
 Не ждалъ за пѣсни воздаянья!»

* * *

*) Борисъ Годуновъ есть такое стихотвореніе, которое во всякомъ случаѣ заслуживаетъ особенное вниманіе литературной критики и какъ произведеніе Автора, сосредоточившаго въ себѣ всю поэтическую нашу дѣятельность, и какъ сочиненіе, совершенно въ новомъ родѣ у насъ, Русскихъ. Въ нѣсколькихъ журналахъ были уже напечатаны замѣчанія на сію Поэму-Трагедію; едва ли не вышло еще нѣсколько брошюрокъ, въ которыхъ разбирается это послѣднее сочиненіе Пушкина; даже Сѣверный Меркурій поподчивалъ почтенную публику своими выходками на Бориса Годунова; даже Колокольчикъ пробранчалъ какою-то бранью въ снисходительныя уши своихъ читателей. — И не удивительно, такова участь хорошихъ Писателей; но сказали ли Гг. Критики что нибудь существеннаго относительно Бориса Годунова? На это конечно читающая публика дала уже судъ свой.

По нашему мнѣнію, въ Сѣверномъ Меркуріи и Колокольчикѣ, не во гнѣвъ Гг. Издателямъ ихъ, о Борисѣ Годуновѣ напечатаны совершенныя нелѣпости; напечатано что-то дѣльное, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ будто нарочно нелѣпое, увертливое, шумливое въ 4 номерѣ Телескопа, и наконецъ что-то благонамѣренное, но неопредѣленное, къ сожалѣнію, не конченное, въ Литературной Газетѣ**).

Впрочемъ, не имѣя причины входить въ распри съ Сѣвернымъ Меркуріемъ и Колокольчикомъ, или изъяснять журнальныя хитрости Телескопа, мы замѣтимъ только, что даже и послѣ *нихъ* сказать что нибудь положительно о новомъ произведеніи Поэта, постоянно обращавшаго на себя вниманіе литературной публики, произведеніи въ особенномъ родѣ — никакъ не можетъ быть лишнимъ, и тѣмъ болѣе тенерь, когда не видно еще ни одной дѣльной рецензіи Бориса Годунова, не слышно еще до сихъ поръ объ немъ общаго мнѣнія. — И такъ обратимся къ самому дѣлу.

Но прежде, нежели станемъ говорить собственно о сочиненіи, постараемся оправдать Пушкина отъ напраслины, которую взводятъ на него нѣкоторые изъ его читателей. Есть толки — будто Пушкинъ уронилъ себя въ своемъ послѣднемъ стихотвореніи. Это не правда!

*) «Сынъ Отечества» 1831 г., т. 23, ч. 145, №№ 40 и 41. Статья И. Ср. Камашева, подъ заглав.: «Еще о Борисѣ Годуновѣ, стихотвореніи А. С. Пушкина».

**) Жаль, что Критикъ не сказалъ своего мнѣнія о рецензіи Г. Плакшина въ Сынѣ Отечества. *Изд.*

Это доказываетъ только, что или на Пушкина смотрѣли въ увеличительное стекло, или не умѣютъ понять и оцѣнить Бориса Годунова.

Пушкинъ никогда не былъ литературнымъ гениемъ, разумѣя подъ этимъ словомъ лице, подобное Данту, Шекспиру, Байрону, Гёте; мы увѣрены, что нашъ Поэтъ самъ отказался бы отъ подобной чести; отказались бы, можетъ быть, и сіи великіе люди отъ Бориса Годунова, наравнѣ съ другими сочиненіями Пушкина; но что онъ у насъ первый, что онъ маленькій Дантъ, Шекспиръ, Байронъ, Гёте въ тѣсномъ кругу Русской Литературы, и ничѣмъ не ниже Виктора Гюго — это также не подлежитъ сомнѣнію, и въ такомъ случаѣ Борисъ Годуновъ станетъ опять съ честью въ ряду такъ называемыхъ Поэмъ его. Пушкинъ совершилъ великое дѣло въ нашей Литературѣ: онъ для Поэзіи сдѣлалъ то, что Н. М. Карамзинъ для Прозы; онъ всѣхъ научилъ писать довольно легкіе, звучные стихи, чѣмъ въ глазахъ людей поверхностныхъ дѣйствительно унизилъ можетъ быть нѣсколько цѣну своихъ собственныхъ произведеній, которыя впрочемъ всегда блистаютъ какъ солнце посреди своихъ собратій; но уменьшилась ли этимъ сколько нибудь заслуга его? Конечно нѣтъ! — Чего жъ хотѣли отъ Бориса Годунова? — Это опять тотъ же прелестный, цвѣтистый, сильный Пушкинъ въ новой рамѣ драматическаго разсказа — однако не Дантъ, не Гёте, не творецъ оригинальный, изъ души своей, единственно изъ души почерпающій и мысль и поэтическіе образы. Но былъ ли онъ такимъ въ Русланѣ, и въ Кавказскомъ Пльнникѣ, и въ Онѣгинѣ, и въ Полтавѣ, хотя дѣйствительно первая Поэма его еще самостоятельнѣе, нежели прочія? И такъ повторяю: чего хотѣли отъ Бориса Годунова? — Если жъ будутъ утверждать, что, не говоря объ оригинальности, Пушкинъ въ Борисѣ Годуновѣ является ниже А. С. Пушкина, блестящаго поэтическимъ талантомъ въ стихотвореніяхъ своихъ, начиная отъ Руслана до Полтавы, то это совсѣмъ другой вопросъ, и мы не оставимъ отвѣчать на него.

Перейдемъ теперь къ самому сочиненію. — Мы сказали уже, что Пушкинъ ни въ одномъ изъ своихъ произведеній не былъ вполнѣ самостоятельнымъ; Русланъ и Людмила, какъ первое стихотвореніе юнаго Поэта, очевидно носятъ на себѣ еще слѣды Карамзинства; въ Кавказскомъ Пльнникѣ, Бахчисарайскомъ Фонтанѣ, Цыганахъ, Онѣгинѣ и наконецъ въ Полтавѣ кто не видитъ Байроновской тѣни? Борисъ Годуновъ также образовался подъ вліяніемъ чуждыхъ элементовъ.

Въ послѣднемъ періодѣ Европейской Литературы, еще со времени Гердера, затлилась мысль объ историческомъ направленіи вѣка. Шлегель развилъ ее: слѣдствіемъ этого былъ Шекспиръ, освобожденный изъ-подъ двухъ-вѣковыхъ наростовъ пыли, Шекспиръ возвеличенный, прославленный. Съ другой стороны Вальтеръ-Скоттъ явился съ своими Романами; всѣ принялись за Лѣтописи. Гёте, хотя не непосредственно, но также способствовалъ развитію этого духа, который нашелъ опору себѣ даже въ современной Философіи. Такимъ образомъ Исторія сдѣлалась чистымъ языкомъ судебъ для слуха современниковъ; ея пыльные свитки ожили, и хроники обратились въ источникъ Поэзіи. Человѣкъ послѣднихъ столѣтій, увлеченный романтизмомъ времени, нашелъ для себя новую жизнь въ языкѣ событій, въ движеніи царствъ и поколѣній, жизнь, непосредственно вытекающую изъ источника духа, являющагося въ образахъ народовъ, законодателей, героевъ, съ особыми обычаями, особыми мыслями и чувстваваніями; ибо привязанность ко всему историческому есть дѣйствительно порожденіе романтизма. — Классики любили болѣе природу въ пышномъ, цвѣтистомъ ея облаченіи, называемомъ вещественностію и Гомеръ не занимался столько душою, воспѣвая своихъ героевъ, сколько ихъ тѣломъ. — И такъ это-то историческое направленіе вѣка, котораго вѣтви проникли во всѣ края Европы, о которомъ мы слышали и отъ Шеллинга и отъ И. В. Кирѣевскаго, породило между прочимъ и Трилогію Вите, и Кромвеля, и Нельнскіе вечера, и наконецъ Бориса Годунова.

Взявъ одинъ изъ самыхъ важныхъ періодовъ Русской Исторіи, изъ періодовъ, особенно кипящихъ жизнію событій и характеровъ, Пушкинъ конечно не ошибся... Но скажутъ: для чего эта драматическая форма? для чего это смѣшеніе и прозы и стиховъ? для чего эти скачки отъ царскихъ палатъ до корчмы на Литовской границѣ? — Все сіе доказываетъ только, что Пушкинъ постигъ мысль, пробудившую поэтическій талантъ его. Яркости цвѣтовъ, жизни хотѣлъ онъ — и потому старался наблюсти эту цѣль въ самомъ образѣ разсказа? — Постоянно имѣя въ виду Бориса Годунова, котораго онъ выбралъ какъ одинъ изъ первыхъ узловъ Русской Исторіи, онъ долженъ былъ выставить его въ одеждѣ своего времени — и сладаи этой одежды ссвязать во всѣхъ сценахъ его стихотворенія, начиная отъ пированья бродягъ монаховъ до пастырскаго негодованья Патриарха. Поэтъ имѣлъ въ виду не че-

столубца, преступленіемъ восшедшаго на царство и въ самомъ злодѣяніи своемъ возрастившаго сѣмена гибели для себя и пѣлаго семейства; онъ имѣлъ въ виду не героя какаго нибудь Вольтеровскаго, но Царя Русскаго, Бориса Годунова, убійцу Дмитрія, которому настояла борьба съ Самозванцемъ Отрепьевымъ; имѣлъ въ виду лице изъ отечественной Исторіи, окруженное предметами, напоминающими духъ того времени, и по этому въ мелочахъ своихъ имѣющими историческую для насъ занимательность; онъ хотѣлъ пробудить въ насъ эстетическое чувство сознаниемъ исторической жизни нашей, указывая на то нравственное разстояніе, которое пробѣжало имя Русскихъ отъ времени замысловъ предприимчиваго Боярина, хитростию сѣвшаго на царство, до бурнаго времени журнальныхъ Телеграфовъ, Телескоповъ и всей литературной механики. Кто жъ упрекнетъ Пушкина тѣмъ, что это значеніе пьесы не отразилось въ изящной ея отдѣлкѣ? Рельефный стиль его въ духѣ современнаго направленія Словесности дышитъ смѣлостію и жизнію; его тонкое чувство, по которому онъ умѣлъ слить свою поэтическую, кипучую прозу съ стихами, освобожденными отъ всѣхъ оковъ однообразія — въ полной мѣрѣ обнаруживаетъ запасъ талантности, рисующей подъ его *широкою кистью*. Если бы Пушкинъ сохранилъ намъ свою великую мысль и въ самомъ составѣ событія столько, сколько сохранилъ онъ ее въ отдѣлкѣ; то Борисъ Годуновъ, безъ всякаго сомнѣнія былъ бы однимъ изъ совершенныхъ произведеній Литературы.

Вотъ, что мы считали нужнымъ сказать вообще о главномъ основаніи въ послѣднемъ стихотвореніи нашего Поэта! Теперь спрашивается: въ какомъ отношеніи находится она къ мысли, развитой въ Кавказскомъ Пльнникѣ, Бахчисарайскомъ Фонтанѣ, Онѣгинѣ? — Ибо Поема его Полтава принадлежитъ уже къ сочиненіямъ высшаго разряда. Въ такомъ, въ какомъ находится самъ Борисъ Годуновъ къ плънному казаку, или свѣтскому молодому человѣку, Евгенію; въ какомъ голова, рисованная кистью Вандика, къ картинамъ Шнейдера. Идея Бориса Годунова есть идея болѣе полная, нежели какая-либо изъ другихъ идей Пушкина. Прежде игривый, искусный въ схватываніи разительныхъ оттѣнковъ, съ запасомъ поэтическаго пламени, но необузданный, вѣтранный, всегда восхищенный первымъ порывомъ, первымъ впечатлѣніемъ, сдѣланнымъ на его душу, всегда нетерпѣливый въ изліяніи своего чувства, онъ не хотѣлъ, можетъ быть не могъ заниматься ничѣмъ, требующимъ соображеній, глу-

бокой внимательности, и не минутной вспышки, не постоянного пламени. Правда, онъ былъ и тогда прелестенъ: его фонтаны и цыганскіе таборы, его Китайская архитектура Онѣгина, очаровательны — и, что *главное*, понятны для каждаго. Но въ Борисѣ Годуновѣ онъ хочетъ быть художникомъ, предпринявшимъ создать произведеніе, достойное зрѣлаго таланта, произведеніе, болѣе значительное; онъ хочетъ удовлетворить здѣсь не одностороннему вкусу дикой толпы, но всѣмъ многообразнымъ требованіямъ эстетической критики. И въ этомъ-то съ одной стороны заключается даже причина, что толпа не узнала Пушкина въ лучшемъ его произведеніи.

Ибо съ другой — мы находимъ еще нужнымъ дать отчетъ въ томъ, какъ исполнилъ онъ свое намѣреніе во всѣхъ отношеніяхъ.

Мы замѣтили уже, что Пушкинъ не развилъ достаточнымъ образомъ своей богатой мысли въ Борисѣ Годуновѣ. — Разсмотримъ это.

Спрашивается: что должна имѣть въ виду Критика въ этомъ отношеніи? Очевидно — три вещи: Поэзію, или лучше сказать, жизнь самаго событія, которою блеститъ оно посреди мелочныхъ происшествій, хранящихся въ Лѣтописяхъ; далѣе — характерность лицъ, исполняющихъ въ немъ свое назначеніе; и наконецъ — народность, эту историческую краску, столько для насъ теперь драгоценную. Если Сочинитель умѣлъ въ произведеніи своемъ удовлетворить требованіямъ критики по симъ тремъ условіямъ, то онъ совершенно выполнилъ свою обязанность.

Недовольные послѣднимъ сочиненіемъ Пушкина, конечно, ожидали отъ насъ только этого, чтобы напасть на Бориса Годунова; и въ этомъ отношеніи конечно они будутъ правы, ибо по крайней мѣрѣ здѣсь смѣло могутъ указать на нѣкоторыя мѣста, которыми безпристрастный читатель не остается удовлетвореннымъ.

Борисъ Годуновъ въ стихотвореніи Пушкина является, какъ лице историческое; въ цѣломъ сочиненіи Поэту предстоитъ развить мысль судьбы, высказанную въ событіи его царствованія. Хитрый вельможа, рѣшившійся на кровавое средство для полученія престола, наконецъ достигаетъ своей цѣли; но первое дѣйствіе его есть уже источникъ всѣхъ послѣдующихъ бѣдствій, какъ для него и его семейства, такъ и для цѣлаго народа: ибо какъ обладатель царства, онъ сосредоточиваетъ въ себѣ судьбу его, въ чемъ заключается и все основаніе его значительности. Теперь этому царю, этому убійцѣ невиннаго младенца, какъ собственное порожденіе его, ста-

новится поперегъ дороги великанская тѣнь Самозванца, терзаетъ его, губить, производитъ всеобщій безпорядокъ и повергаетъ въ бездну бѣдствія цѣлое Государство, которое скипѣлось въ Борисъ, и съ его гибелью должно было выдержать жестокій припадокъ самой бѣшеной горячки. Таково поэтическое значеніе Бориса Годунова въ нашей исторіи! Теперь спрашивается: какъ раскрылъ его Пушкинъ въ стихотвореніи своемъ — достойнымъ ли образомъ, во всѣхъ ли порывахъ его жизненности? Къ сожалѣнію, мы не можемъ отвѣчать на это утвердительно. Пушкинъ ограничился объемомъ болѣе тѣснымъ; выполнилъ мысль свою образомъ болѣе поверхностнымъ. Его сцены въ этомъ отношеніи должны бы быть рѣшительными ступенями къ совершенію событія, мгновеніями, которыя въ самыхъ полныхъ, сильныхъ ударахъ выражали бы ходъ его, словомъ, Авторъ долженъ бы показать въ нихъ бѣненіе пульса народной жизни того времени. У Пушкина этого нѣтъ; событіе развивается вяло, неясно, сцены взяты не такія, какихъ ожидалъ бы читатель, — по большей части онѣ всѣ весьма незначительны; отъ зоркаго взгляда Сочинителя ускользнули тѣ черты, въ которыхъ это событіе блеститъ всей своей Поэзіей. Мы самого Бориса почти не видимъ: черезъ нѣсколько сценъ отъ той, въ которой онъ показался едва только достигнувшимъ престола — на 28 стр. является онъ уже угрюмымъ; жалуется на народъ, на себя, говоритъ, что *шестой годъ царствуетъ спокойно, но не находитъ счастья души своей*; за тѣмъ слѣдуетъ превосходная сцена — Царя посреди семейства, когда Семень Годуновъ приноситъ первую вѣсть о Самозванцѣ, сцена, дѣйствительно вполне соответствующая смыслу сочиненія; но что жъ далѣе? — Вы читаете сильную по своему значенію, но дурно развитую сцену царскаго совѣщанія съ Патриархомъ и Боярами, читаете поэтическую сцену юродиваго, но вмѣстѣ съ тѣмъ опять неимѣющую цѣны, если разсматривать ее, какъ отголосокъ, какъ одинъ изъ звуковъ историческаго аккорда, который хотѣлъ взять Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи; наконецъ слѣдуетъ сцена кончины Царя, отнюдь неимѣющая никакого значенія, по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ которомъ составилъ ее Пушкинъ: и здѣсь заключается все, что относится прямо до самого Годунова. Самозванецъ, второе лице, вторая пружина къ развитію событія, также разыгрываетъ довольно дурно историческую роль свою: появленіе его въ кельѣ Пимена исполнено поэтическаго достоинства; картина въ корчмѣ на Литов-

свой границѣ — также имѣть значеніе; въ Краковѣ, въ домѣ Вишневецкаго — могла бы имѣть великій смыслъ, если-бъ вѣрно была угадана Авторомъ мысль ея; но всѣ прочія — совершенно ничтожны; надобно замѣтить притомъ, что роль Самозванца вообще слишкомъ растянута, много сценъ совсѣмъ лишннихъ, ни сколько не входящихъ въ составъ главныхъ моментовъ происшествія, и замѣчаніе Телескопа въ этомъ случаѣ вполне справедливо, что Самозванецъ *совершенно заслоняетъ Бориса*, — въ сожалѣнію, онъ заслоняетъ его весьма матеріальнымъ образомъ, ибо и самъ не имѣетъ почти живой фizioноміи. Что-жъ касается до исторической роли Шуйскаго и другихъ лицъ, то объ нихъ говорить нечего, потому что онѣ — роли подчиненныя. — И такъ теперь спрашивается, гдѣ-жъ Поэзія событія? Она исчезла въ стихотвореніи Пушкина, и вотъ почему, прочитавъ Бориса Годунова, восхищаясь каждою отдѣльною сценою, остаешься недоволенъ цѣлымъ; весь составъ стихотворенія есть какой-то легкой, недоконченный очеркъ, намекъ на что-то, но это что-то, которое и есть собственно Поэзія событія, остается невысказаннымъ.

Пушкинъ можетъ въ этомъ оправдывать себя тѣмъ, что самый эпизодъ Бориса Годунова въ Русской Исторіи недовольно обработанъ; что характеръ сего Царя остается еще какою-то загадкою для насъ, потомковъ: дѣйствительно самъ Исторіографъ Карамзинъ не опредѣлилъ его, не сказалъ ничего рѣшительнаго о дѣлахъ семилѣтняго царствованія. Но Поэтъ долженъ былъ постигнуть то, до чего не могла добраться историческая Критика; силою фантазіи своей онъ долженъ былъ угадать то, на что не представляютъ документовъ; иначе ему ненадобно было приниматься за такое дѣло, которое для него выше возможности, или по крайней мѣрѣ выше силъ его. Въ такомъ случаѣ онъ не избавляется отъ обвиненія: ибо самый выборъ всегда зависитъ отъ него, а безусловнаго прозвона въ дѣлѣ вкуса допустить нельзя.

Теперь встаетъ разрѣшить еще вопросъ: долженъ ли былъ Пушкинъ свои драматическія картины кончить смертію Царя, или нужно было еще продолжать ихъ? Безъ всякаго сомнѣнія, онъ долженъ былъ вести читателя по своей исторической галереѣ даже далѣе, нежели гдѣ онъ теперь остановился, по крайней мѣрѣ долженъ былъ бросить еще хотя одну, но рѣзкую черту, чтобъ сдѣлать полнымъ впечатлѣніе, которое остается въ душѣ читателя. Начавъ

превосходною сценою между Шуйскимъ и Воротыньскимъ въ палатахъ Кремлевскихъ, положивъ художническую черту сценою народа, въ недоумѣннѣи ожидающаго рѣшенія судьбы своей, словомъ, съ самаго приступа сосредоточивъ въ Борисѣ Годуновѣ всю историческую жизнь тогдашняго Государства, сохраняя нѣсколько этотъ колоритъ въ продолженіе всего стихотворенія (ибо здѣсь заключается основаніе и самой сцены юродиваго, имѣющей въ этомъ отношеніи высочайшую степень достоинства), Пушкинъ не могъ, не нарушая эстетической истины, повинуть читателя съ рѣшеніемъ судьбы царственнаго семейства; въ душѣ остается еще одно великое требованіе — судьба народа, и Поэтъ обязанъ былъ удовлетворить ему, показавъ тучу, въ которой должны были выгорѣть преступления Бориса, какъ Царя, котораго дѣйствія всегда находятся въ нравственномъ отношеніи къ самому народу, какъ мысль головы, за которую отвѣчаетъ тѣло.

И такъ, что жъ теперь слѣдуетъ заключить вообще о Борисѣ Годуновѣ въ отношеніи къ первому, показанному нами требованію эстетической Критики? — То, что Пушкинъ и здѣсь таковъ же, каковъ онъ былъ въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ. Взявъ мысль богатую, онъ не раскрываетъ ея достойнымъ образомъ, не вводитъ насъ во глубину святилища Поэзіи, подобно великому Шекспиру; онъ и здѣсь, какъ и вездѣ, поверхностенъ; пронизательный, однакожъ не могучій взоръ его видитъ далѣе, чѣмъ взоръ человѣка обыкновеннаго, ибо Пушкинъ дѣйствительно имѣетъ полное право на названіе Поэта; но онъ скользитъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ о творческой фантазіи, которой образы поражаютъ всю систему духовнаго бытія нашего.

Разсматривая стихотвореніе Пушкина въ отношеніи ко второму требованію Литературной Критики, т.-е. въ отношеніи къ изображенію характеровъ, мы должны прежде всего замѣтить, что эта часть эстетической обработки въ сочиненіи, подобномъ Борису Годунову, необходимо находится съ развитіемъ самаго событія; ибо характеры суть пружины событія, и въ событіи отражаются изгибы характеровъ, такъ что гдѣ нѣтъ рѣзкихъ чертъ дѣйствія, принимая это слово въ самомъ обширномъ его смыслѣ, тамъ нельзя видѣть и нравственной значительности дѣйствующихъ. — Смотря съ этой точки зрѣнія, мы легко объясняемъ себѣ и то, почему въ Борисѣ Годуновѣ нѣтъ ни одного глубокаго характера, тогда какъ всѣ дѣйствующія лица превосходно выполняютъ роли свои въ той сте-

пени, которую назначилъ имъ Поэтъ, выключая только лице Марины Мнишекъ, неестественное, фантастическое, уродливое, дающее самому Самозванцу въ сценѣ при фонтанѣ видъ литературной нелѣпости; впрочемъ, причина неудачнаго развитія послѣдняго характера также очевидна — ясно, что въ этой одной сценѣ онъ хотѣлъ высказать всю Марину Мнишекъ, надменную Польку, будущую Царицу Русскую; но геній вдохновенья не помогъ ему, и онъ испортилъ оба портрета, и Марину и самого Самозванца; къ тому жъ, мы не понимаемъ, за чѣмъ погнался Поэтъ: — Мнишекъ здѣсь есть лице совершенно второстепенное; оно по всѣмъ правамъ могло быть въ тѣни картины.

Но возьмите самого Бориса Годунова — какъ хорошъ онъ, какъ естественъ въ этомъ маленькомъ объемѣ, который опредѣленъ ему Сочинителемъ! Какое тонкое притворство, какая очаровательная гибкость видны въ первомъ обращеніи его къ Патриарху и Боярамъ!

Ты, отче Патриархъ, вы всѣ, Бояре, —
 Обнажена моя душа предъ вами —
 Вы видѣли, что я приѣмлю власть
 Великую и пр.

Далѣе, не назначивъ ему развитія высшаго, Сочинитель дѣлаетъ изъ него въ половину раскаивающагося преступника; здѣсь также нѣтъ ничего глубокаго: но сія неглубокая мысль выражена опять превосходно; съ какою полнотою отзывается въ душѣ Бориса это, еще глухое для него чувство:

Я дочь мою *мнилъ* осчастливить бракомъ,
 Какъ буря смерть уноситъ жениха. —
 И такъ молва лукаво нарекаетъ
 Виновникомъ дочерняго вдовства
 Меня, меня, несчастнаго отца!
 Кто ни умретъ, я всѣхъ убійца тайный!
 Я ускорилъ Феодора кончину,
 Я отравилъ свою сестру Царицу,
 Монахиню смиренную... все я, и пр.

Или въ словахъ, которыя онъ произноситъ глядя на Ксенію, преслѣдуемый тою же мыслию:

Что, Ксенія? Что, милая моя?
 Въ невѣстахъ ужъ печальная вдовица...

Соображаясь съ историческими извѣстіями, Пушкинъ не хотѣлъ упустить изъ виду того, что Борисъ начиналъ уже любить про-свѣщеніе; и вы читаете нѣсколько стиховъ самой художнической отдѣлки, въ которыхъ сквозитъ уваженіе къ Наукѣ:

... Вотъ сладкій плодъ ученья!
 Какъ съ облаковъ ты можешь обзрѣть
 Все царство вдругъ, и пр.

Эта сцена прерывается приходомъ Семена Годунова. Любимецъ царскій, Семень Никитичъ, доноситъ, что дворецкій *Князя Василья и Пушкина слуга* связывали ему о гонцѣ изъ Кракова, о пированьѣ и тайной бесѣдѣ Шуйскаго съ Пушкинымъ. Въ слѣдъ за симъ Шуйскій является самъ и начинаетъ намекать о Самозванцѣ. Здѣсь страненъ для насъ приступъ его: видна хитрость. желаніе смягчить непріятную вѣсть, желаніе какъ можно долѣе не произносить роковаго имени; но стихи:

Безмысленная чернь
 Измѣнчива, мятежна, суевѣрна,
 Легко пустой надеждѣ (*на что?*) предана,
 Мгновенному внушенію послушна,
 Для истины глуха и равнодушна,
 А баснями питается она.
 Ей нравится безстыдная *отвага*
 Такъ если сей невѣдомый *бродяга*...

напоминають какъ-то Онегина; здѣсь этотъ тонъ, самая эта речевка не могутъ быть приличны.

Но не теряя изъ виду Бориса Годунова, уважемъ въ сей же сценѣ еще на одну изящную черту, рисующую превосходно Царя, въ душѣ сознающаго непрочность своей власти:

Послушай, Князь: взять мѣры сей же часъ...

и

Подумай, Князь. Я милость обѣщаю,
 Прошедшей лжи опалою напрасной
 Не накажу, но если ты теперь
 Со мной хитришь....

Послѣдняя сцена кончины Царя суха, неестественна; Сочинитель въ ней сбился, какъ въ сценѣ Марины Мнишекъ съ Самозванцемъ.

Такимъ образомъ мы прошли всю роль Бориса, и кромѣ одного замѣчанія относительно умирающаго Царя, сказывающаго какую-то политическую проповѣдь, не могли ни на чемъ болѣе остановиться, какъ только на мѣстахъ, имѣющихъ истинно художническое достоинство, хотя они и не посятъ на себѣ признаковъ глубокой Поэзіи.

Угодно ли обратить теперь вниманіе еще на другія лица? Мы укажемъ на Шуйскаго и Воротынскаго, изображенныхъ отлично хорошо, ибо характеры ихъ развиты столько, сколько можно требовать; укажемъ на всѣ лица второстепенныя, неимѣющія прямого отношенія къ движенію событія. Впрочемъ и Самозванецъ, исключая несчастную сцену съ Мариной и превосходную съ монахомъ Пименомъ, также вездѣ довольно хорошъ. Онъ незначителенъ, какъ и Борисъ; но о причинѣ этого мы уже говорили. Наконецъ укажемъ на Курбскаго, этого пылкаго юношу, котораго чистая душа, любящая свое отечество, такъ радостно выливается въ словахъ:

Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!
Святая Русь! Отечество! Я твой....

Словомъ, Пушкинъ вездѣ почти превосходно выполнилъ то, что онъ взялъ на себя въ слѣдствіе основной своей мысли; но что онъ слишкомъ мало предположилъ къ выполненію, это всегда будетъ его виною.

Въ заключеніе мнѣнія нашего о достоинствѣ Бориса Годунова въ отношеніи къ живописи характеровъ, мы должны указать также и на общій недостатокъ сочиненія — это излишній мѣстами лиризмъ въ разговорѣ дѣйствующихъ лицъ и чрезмѣрная иногда охота ихъ къ разсужденіямъ. Сюда относятся въ сценѣ Пимена стихи:

*И пылъ вѣковъ отъ хартій отряхнувъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ,
Да вѣдаютъ потомки
.
Минувшее проходитъ предо мною —
Давно-ль оно нсслось событій полно,
Волнуясь, какъ море Океанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно.
.
Я угадать хотѣлъ, о чемъ онъ пишетъ:
О темномъ ли владычествѣ Татаръ?
О казняхъ ли свирѣтыхъ Иоанна?
О бурномъ ли Новгородскомъ Вѣчѣ?*

О славь мѣ отечества

Такъ точно Дьякъ, въ приказахъ поспѣдльмѣй.

Въ рѣчи Бориса:

*Не такъ ли
Мы смолоду влюбляемся.*

*Я отворилъ имъ житницы, и злато
Разсыпалъ имъ.*

Вся почти сцена, гдѣ къ Самозванцу подходятъ Курбскій, Собальскій, Хрущовъ, Карела и наконецъ Поэтъ, дышитъ какъ-то, не смотря на все изящество отдѣлки, ходульною Поэзіей отцовъ-классиковъ. О разговорѣ же Маринѣ Мнишекъ съ Самозванцемъ и длинной рѣчи умирающаго Царя — нами было уже замѣчено.

Теперь остается еще сказать объ историческомъ колоритѣ Бориса Годунова. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ — самосовершенство. Никто до сихъ поръ изъ нашихъ поэтовъ не умѣлъ съ такимъ искусствомъ и силою списывать предметы, какъ онъ, ибо Пушкинъ собственно Поэтъ природы; доказательство этому мы видѣли во всѣхъ прежнихъ его сочиненіяхъ. Теперь, обратившись къ Исторіи, національный по поэтическому значенію, онъ и здѣсь превосходно выполнилъ мысль свою въ этомъ отношеніи: въ Борисѣ Годуновѣ, какъ въ художественной панорамѣ, вы видите весь духъ того времени, все значеніе тогдашней Руси, начиная отъ словъ Бориса:

*А тамъ — сзывать весь нашъ народъ на пиръ,
Всѣхъ, отъ вельможъ до нищаго слѣпца,
Всѣмъ вольный входъ, всѣ гости дороге....*

до благочестиваго негодованія Патриарха:

«Ужъ эти мнѣ грамотѣи... Эка ересь! Буду Царемъ на Москвѣ!...
Поймать, поймать врагоугодника!»

Начиная отъ боярскаго пированья въ домѣ Шуйскаго и картины Царева семейства, до желѣзнаго колпака юродиваго, битвы 21 декабря 1604 года и собранія народнаго на Лобномъ мѣстѣ:

*Въ угоду ли семейству Годуновыхъ
Подымете вы руку на Царя
Законнаго, на внука Мономаха?*

Н А Р О Д Ъ .

Вѣстимо нѣтъ.

Н А Р О Д Ъ .

Что толковать? Бояринъ правду молвилъ.
Да здравствуетъ Димитрій, нашъ отецъ!

Мужикъ на амвонѣ.

Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты,
Ступай вязать Борисова щенка! —

Потомъ въ Кремль у Борисова дома:

Ни щ и й. Дайте милостыню, Христа ради!...

С т р а ж а. Поди прочь.

Одинъ изъ народа. Братъ да сестра!

Бѣдныя дѣти, что пташки въ клѣткѣ!

Д р у г о й. Есть о комъ жалѣть! проклятое племя... и проч.

Вотъ все, на что считаемъ мы нужнымъ указать при разсмотрѣніи и оцѣнкѣ такого сочиненія, каково Борисъ Годуновъ. Говорить о языкѣ Пушкина — значило бы только хвалить его. Нѣсколько ничтожныхъ замѣчаній, сдѣланныхъ съ стараніемъ журнальнаго Критика, подбирающаго соринки, не послужили бы здѣсь ни къ чему — и мы предоставляемъ этотъ трудъ охотникамъ. Притомъ же всѣ мелочныя недостатки въ стихотвореніи Пушкина такъ видны каждому изъ читателей съ образованнымъ вкусомъ, что не стоитъ даже и труда останавливаться на нихъ.

И такъ результатъ замѣчаній сихъ есть слѣдующій. Въ Борисъ Годуновъ, изложенномъ поверхностно, слегка, не раскрыта истинная Поэзія событія, имѣющаго особенное значеніе въ нашей Исторіи, но тѣмъ не менѣе онъ остается изящнымъ произведеніемъ Пушкина; Борисъ Годуновъ, по мысли своей, стоитъ выше другихъ сочиненій Пушкина, хотя и не удовлетворяетъ вполне разнообразію родившихся притомъ требованій относительно отдѣлки; наконецъ Борисъ Годуновъ есть историческій Онѣгинъ, Онѣгинъ высшаго объема, въ которомъ рисуются черты народной жизни точно такъ, какъ въ Евгени Онѣгинѣ вы видите черты жизни частной.

Въ заключеніе всего предстоить намъ еще вопросъ: сдѣлалъ ли

Пушкинъ хорошо, что, оставивъ прежній, цвѣтистый, игривый и неполный по объему своему родъ стихотвореній, обратился къ новому, болѣе значительному, болѣе обширному, но вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе трудному, котораго требованія простираются на большую степень талантности, нежели требованія сочиненія, подобнаго Онѣгину? — Мы здѣсь въ особенности указываемъ на Онѣгина потому, что онъ есть чистый и полный результатъ всего прежняго направленія Поэзіи Пушкина. Словомъ: по силамъ ли своимъ избралъ Пушкинъ новое для себя поприще? Рѣшить этого мы еще не можемъ. Что Борисъ Годуновъ не удовлетворяетъ условіямъ своего рода — мы уже видѣли, потому, что сдѣлать изъ него историческаго Онѣгина, изваять сцены, внесенныя прозаическимъ перомъ монаха — Лѣтописца въ хроники Русскаго народа, не ожививъ ихъ игрою поэтической идеи, какъ сказалъ Пушкинъ, значить писать Исторію въ стихахъ и неудовлетворительно, ни въ отношеніи содержанія сочиненія, ни въ отношеніи самаго мнѣнія о Сочинителѣ: но Борисъ Годуновъ есть еще первое произведеніе нашего Поэта въ семь родѣ, и если А. С. Пушкинъ когда-нибудь въ этой пространной рамѣ раскроетъ талантъ свой столько, сколько раскрылъ его въ кругу мелкихъ происшествій съ плѣннымъ казакомъ, Алеко и лицами свѣтскаго быта, то, безъ всякаго сомнѣнія, стоить выкупить всѣ неудачи, возможныя для пера его.

И. Ср. Камашевъ.

* * *

*) О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина.

Разговоръ Помѣщика, пропѣжающаго изъ Москвы черезъ уездный городокъ, и вольнопрактикующаго въ ономъ учителя Россійской Словесности.

Учитель. Добрый день, Петръ Алексѣевичъ (*входитъ съ книгою и тетрадью*).

Помѣщикъ. Здравствуй, Ермилъ Сергѣичъ! Что? съ Борисомъ и замѣчаніями? Ну, послушаемъ, что сказалъ ты о первоклассномъ нашемъ поэтѣ?

*) Отдѣльное изданіе. Москва, 1831 г.

Учит. (*отскакиваетъ и кладетъ тетрадь въ карманъ*). Какъ, батюшка, о первоклассномъ? Хорошую же вы сыграли со мною штуку!

Помѣщ. (*въ удивленіи*). Что такое, братецъ? Что съ тобой сдѣлалось?

Учит. Да если бы зналъ я, что авторъ Бориса Годунова въ первомъ классѣ, ни за что бы не принялся дѣлать на него замѣчаній: ну, Боже упаси, какъ это огласится! Мудрено ли первому классу задавить двѣнадцатый!

Помѣщ. Вотъ то-то и есть, что вы здѣсь въ глуши ничего не знаете. Вѣдь это, другъ мой, не чинъ, равный напимѣръ съ фельд-маршальскимъ... это названіе даютъ за отличнѣйшія произведенія.

Учит. Кто же это, почтеннѣйшій Петръ Алексѣевичъ?

Помѣщ. Ну, журналисты, издатели газетъ, пріятели, товарищи.... (*смѣется*) *за чашей круговою*.

Учит. Вотъ что! такъ по этому и нашему брату не невозможно...

Помѣщ. Разумѣется. Но приступимъ къ дѣлу. Читай замѣчанія. Съ чего началъ?

Учит. Позвольте доложить: прочитавъ со вниманіемъ не однажды эту книжицу, я самъ себя сдѣлалъ нѣсколько вопросовъ.

Помѣщ. Читай, читай!

Учит. Вопросъ 1-й. Къ какому роду изящной Словесности принадлежитъ сіе твореніе?

Помѣщ. Ужъ это, кажется мнѣ, сущій вздоръ, любезный Ермилъ Сергѣвичъ: это поэма.

Учит. (*съ жаромъ*). Него, сударь, весьма него. Поэма должна имѣть необходимо связь въ продолженіи всего повѣствованія и сохранять, хотя не вполне, освященныя вѣками правила. Согласенъ: можно уничтожить старинное *пою*, ибо нынче никто поэмъ не поетъ; Можно забыть призваніе какого-нибудь языческаго божества или олицетвореннаго идеальнаго существа для подмоги въ дѣлѣ, ибо видно, что сіи божества и существа не многимъ помогали — да и сущность повѣствованія отъ того ничего не терпять. Но бросаться и туда и сюда, безъ всякой связи, право, не простительно. А сверхъ всего, смѣю доложить, пишутся ли *поэмы* прозою? Въ сочиненіи же г. Пушкина есть много *прозы*.

Помѣщ. Да вѣдь это должна быть поэма романтическая — понимаешь ли?

Учит. И понимать не хочу, Петръ Алексѣевичъ! Вамъ извѣстно,

что тѣ, которые, по словамъ Вольтера, не умѣли написать ни Трагедіи, ни Комедіи, начали писать Драмы; а къ тому прибавить можно: не умѣвшіе и Драмы написать, стали сочинять Мелодрамы и тому подобное, такъ по этому и думаю, что и *безправильный* Романтизмъ, или, сказать пооткровеннѣе, это бессмысленное слово выдуманно тѣми, которые не умѣли написать ничего *правильнаго*. Всѣ мы, кто хоть немножко поучился, читывали поэмы, и древнія и новыя, да кому приходило въ умъ раздѣлять ихъ на Классическія и Романтическія? Знающіе толкъ восхищались хорошимъ и порицали дурное.

Помъщ. Побывалъ бы ты въ Петербургѣ или въ Москвѣ. Дали бы тебѣ знать! Да теперь не признающихъ Романтизмъ считаютъ наравнѣ съ Богоотступниками.

Учит. Не тѣ ли же такъ думаютъ, Петръ Алексѣевичъ, которые въ первый-то классъ друзей своихъ производятъ?

Помъщ. Вѣдь надобно же, братецъ, дать какое-нибудь названіе *Борису Годунову*. Ну, Трагедія?

Учит. Избави, Господи! А что тутъ есть трагическаго? Не прикажете ли представить ее на театрѣ? У кулисныхъ-то мастеровъ заболѣли бы руки. Это, сударь, настоящія *Китайскія тѣни*. Дѣйствіе перескакиваетъ изъ Москвы въ Польшу, изъ Польши въ Москву, изъ кельи въ корчму... Есть вѣчто подобное въ драматическихъ произведеніяхъ Шекспира, да все-таки посовѣстнѣе. Къ тому же Шекспиръ писалъ тогда еще, когда одноземцы его и понятія не имѣли объ изящномъ вкусѣ.

Помъщ. Съ тобой не сговорись. Ну такъ повѣсть? И то сказать: *да что намъ нужды до названья? Положимъ... что Борисъ...*

Учит. И въ самомъ дѣлѣ! Какое тутъ названье, когда и самъ родитель никакимъ именемъ не окрестилъ своего дѣтища? — Позвольте, далѣе: Вопросъ 2-ой: Кто герой въ этомъ сочиненіи?

Помъщ. Вопросъ второй, кто герой? — заговорилъ на виршахъ! — Ты не безъ толку же по толкамъ читаешь; видѣлъ, напечатано крупными литерами: *Борисъ Годуновъ*.

Учит. Оно такъ-съ; да если бы типографскій-то наборщикъ ошибся, и на мѣсто *Бориса Годунова* напечаталъ *Гришка Отрепьевъ*? Тогда бы что вы изволили сказать?

Помъщ. Вздоръ какой! не пропустилъ бы корректоръ.

Учит. Пускай и вздоръ, Петръ Алексѣевичъ! Не спору. Но разберите сами — васъ поллучше насъ учили — разберите, за какіе подвиги можно назвать *Бориса* героемъ повѣсти? (да будетъ повѣсть!) Начнемъ съ начала!

Помѣщ. А мы слушаемъ.

Учит. Борисъ является въ первый разъ на страницѣ 10-й, гдѣ избираютъ его царемъ; тутъ пѣтъ никакихъ отличныхъ подвиговъ; потомъ показывается одинъ и говоритъ самъ съ собою вслухъ такой ужасный монологъ, отъ котораго и у самого крѣпкаго актера заболѣло бы горло, — а о чемъ говорить? — Немножко раскаивается въ своихъ прегрѣшеніяхъ, бранитъ чернь за разныя на него (яко бы) клеветы; потомъ у него Бориса

Какъ молоткомъ стучить въ ухахъ упрекомъ;
И все тошнить и голова кружится.....

Помѣщ. Остановись-ка на минуту. Что ты скажешь объ этомъ *тошнить*?

Учит. Не хорошо, Петръ Алексѣевичъ, весьма отвратительно.

Помѣщ. А вотъ какъ нехорошо: это прелесть; это значить, что Авторъ подслушалъ голосъ природы; это національность, народность — требованіе нашего вѣка.

Учит. Вѣдь подслушать-то, сударь, съ позволенія сказать, мало ли что можно, да рассказывать объ этомъ и печатать не должно. Вы слышали, думаю, о разговорѣ двухъ знаменитыхъ нашихъ поэтовъ. У одного изъ нихъ написано было въ стихахъ что-то объ арбузахъ да объ солѣныхъ огурцахъ; другой замѣтилъ, что природу надобно искать *не въ обжорномъ рынкѣ*. Такъ и здѣсь, при словѣ *тошнить*, не можетъ ли иному чувствительному читателю представиться послѣдствіе тошноты... словомъ сказать, весьма отвратительно. Неужели Авторъ *Бориса* не слыхивалъ объ *изящной* природѣ? Далѣе: Борисъ показывается въ палатахъ у дочери и сына. Это явленіе начинается прозою, оканчивается полупрозою. Онъ проситъ дочь, чтобъ не плакала о *мертвомъ женихѣ*; сына хвалить за то, что изобразилъ *хитро* на бумагѣ всѣ области Русскія. Но замѣтимъ однако: Борисъ не могъ разобрать, гдѣ, на этомъ чертежѣ, Москва, Новгородъ, Астрахань, и не узналъ Волги. И такъ, позвольте спросить, *хитро* ли написанъ былъ чертежъ?

Помъщ. Ну, братецъ, это дѣло постороннее; что привязываться къ пустякамъ? Продолжай!

Учит. Извольте-съ. Въ продолженіи сего явленія Борисъ узнаеть,

Что въ Краковѣ явился Самозванецъ,
И что Король и Паны за него.

.....
Такъ, если сей невѣдомый бродяга
Литовскую границу перейдетъ,
Къ нему толпу безумцевъ привлечетъ
Димитрія воскреснувшее имя.

То-есть: онъ узналъ уже, что Самозванецъ принялъ имя убіеннаго Царевича Димитрія Іоанновича. Шуйскій увѣряетъ его, что Царевичъ дѣйствительно скончался. — Довольно, удались, — говоритъ Борисъ Шуйскому...

Ухъ, тяжело!

Тяжело, почтеннѣйшій Петръ Алексѣевичъ, какъ этотъ *ухъ* дѣлаетъ *бухъ* въ нашъ *слухъ*!

Помъщ. Опять за вирши! да говори, любезный, о дѣлѣ, — о подвигахъ героя Бориса.

Учит. До 95-й страницы, герой нашъ совсѣмъ не показывался. Между тѣмъ побывали мы въ Краковѣ, въ Самборѣ у Мнишки, погуляли въ саду съ Мариною, были на границѣ Литовской...

Помъщ. Ну, далѣе.

Учит. Съ вышепоказанной-то страницы, правду молвить, Борисъ началъ дѣйствовать: приказалъ послать указы къ *Воеводамъ*, чтобъ *на коня* садились....

Помъщ. Постой, постой, Ермилъ Сергѣевичъ! Какъ? Всѣ Воеводы на одного коня?

Учит. Ба! да я этого и не замѣтилъ. Извините.

Помъщ. Это сказалъ я, такъ, *въ скобкахъ*. Продолжай.

Учит. ...И что бы людей высылали на службу, и отобрали бы въ монастыряхъ служителей причетныхъ; и что онъ, Борисъ, *видя кипящіе умы*, желалъ бы предупредить казни; но чѣмъ и какъ? спрашиваетъ у Патріарха. — Коротко сказать, эта аудіенція кончилась тѣмъ, что Борисъ приказалъ перенести мощи св. Страдальца младенца въ Кремль, въ Архангельскій Соборъ.

Помѣщ. Да, помнится, и въ этомъ его не послушали.

Учит. А вотъ, сударь, на страницѣ 102-й, Патриархъ отговори́лъ ему и обѣщаль самъ выдти на помощь и обнаружить народу *злой обманъ бродяги*. Тѣмъ и прекратились распоряженія Годунова: всѣ разошлись съ миромъ. Теперь является онъ, съ Басмановымъ на стр. 122-й; какъ вдругъ у него *кровь хлынула изъ устъ и изъ ушей*; онъ чувствуетъ приближеніе смерти, постригается, умираетъ. Вотъ вамъ, Петръ Алексѣевичъ, весь герой Поэмы, или повѣсти, какъ угодно.

Помѣщ. Ну, говори о Самозванцѣ.

Учит. Когда въ корчмѣ узнали, что онъ дѣйствительно бѣглый монахъ и хотѣли схватить, онъ вынулъ кинжалъ, бросился въ окно — и давай Богъ ноги. Правда, тутъ нѣтъ геройства, однакожь не станемъ совершенно осуждать Отрепьева. Продолженіе впредь. Въ Кравковѣ онъ собираетъ дружину, у Мишка соблазняетъ Марину; но мало-по-малу приближается къ своей цѣли, побѣждаетъ Русскихъ при Новгородѣ-Сѣверскомъ — и велитъ ударить отбой. *Мы побѣдили*, говоритъ онъ; *довольно, щадите Русскую кровь. Отбой!* Эта черта показываетъ, по крайней мѣрѣ, что Отрепьевъ умѣетъ управлять войскомъ и умѣетъ заставить думать о привязанности своей къ Русскому народу; онъ не труситъ пятидесяти тысячъ, съ которыми, по словамъ плѣнника, идетъ на него Шуйскій. *Друзья*, сказалъ онъ своимъ, *не станемъ ждать мы Шуйскаго; я поздравляю васъ: на завтра бой*. Здѣсь, должно признаться, Самозванецъ показывается настоящимъ героемъ — и рѣчь его была не пустая: онъ на Престолѣ Московскомъ. И такъ, повторимъ, кто болѣе обращаетъ на себя вниманіе читателя, Борисъ или Гришка? Кто заслуживаетъ болѣе названіе героя Поэмы?

Помѣщ. Мнѣ, Ермилъ Сергѣевичъ, все равно. А что о другихъ-то лицахъ?

Учит. Былъ у меня заготовленъ вопросъ третій: хорошо ли выдержаны характеры *дѣйствующихъ* лицъ? Но подъ этою статью поставилъ я *нужь*. О другихъ, кромѣ Бориса и Отрепьева, нечего и сказать. Они кое-что поговаривали, а *не дѣйствовали*.

Помѣщ. Такъ ужъ рассказывай скорѣе.

Учит. Ничего не говорю я о стопосложеніи. Для меня всѣ стихи равны: гекзаметры, пентаметры, александрійскіе, бѣлые, съ римами — это одна оболочка, была бы поэзія; вотъ главное! Пуш-

кинъ избралъ *ямбическій пентаметръ* безъ рима, съ *пресъче-
ніемъ* послѣ первыхъ двухъ стопъ. Почемужь и не такъ? Вольному
воля. О гладкости въ стихахъ ни слова не скажу: она есть не-
отъемлемая собственность Пушкина. Много мѣсть превосходнѣйшихъ!
Напримѣръ, разговоръ Пимена съ Григоріемъ. Мнѣ очень полюби-
лось сдѣланное Григоріемъ *сравненіе*, когда онъ говоритъ, что во
время сочиняемой Пименомъ лѣтописи, не могъ прочесть его сокры-
тыхъ думъ:

Все тотъ же видъ смиренный, величавый.
Такъ точно Дьякъ въ приказахъ посѣдѣлый
Спокойно зреть на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Разсказъ о кончинѣ Царевича также очень хорошъ.

Прекрасна и молитва, произносимая мальчикомъ за Царя, по
приказанію Шуйскаго. Я выписалъ ее:

Царю Небесъ, вездѣ и присносущій,
Своихъ рабовъ моленію внимли:
Помолимся о нашемъ Государѣ,
Объ избранномъ Тобой благочестивомъ,
Всѣхъ христіанъ Царѣ самодержавномъ.
Храни его въ палатахъ, въ полѣ ратномъ,
И на путяхъ, и на одрѣ ночлега.
Подай Ему побѣду на враги,
Да славится онъ отъ моря до моря.
Да здравіемъ цвѣтетъ его семья,
Да освѣнять ея драгія вѣтви
Весь міръ земной — а къ намъ, своимъ рабамъ,
Да будетъ онъ, какъ прежде, благодатенъ,
И милостивъ и долготерпѣливъ,
Да мудрости Его неистощимой
Проистекуть источники на насъ;
И, Царскую на то воздвигнувъ чашу,
Мы молимся Тебѣ, Царю Небесъ.

Помѣщ. Эту молитву, Ермилъ Сергѣичъ, прочиталъ я нѣ-
сколько разъ, подразумѣвая нынѣшнее время.

Учит. И прекрасно изволили придумать. — Далѣе: удачно сдѣ-
лано и описаніе черни.

. Безмысленная чернь
 Измѣнчива, мятежна, суевѣрна,
 Легко пустой надеждѣ предана,
 Мгновенному внушенію послушна,
 Для истины глуха и равнодушна,
 А баснями питается она.

Съ пріятностію можно прочесть стихъ, сказанный Шуйскимъ Царю:

Не казнь страшна; страшна твоя немилость.

и слѣдующій Бориса:

Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха.

Разговоръ Самозванца съ Мариною не заключаетъ въ себѣ отличныхъ красотъ; онъ, такъ, ни хорошъ, ни дуренъ; въ немъ нѣтъ ни жару, ни большой стужи. Конецъ довольно смѣшонъ. Разсерженный на Марину Отрепьевъ, по уходѣ ея, говоритъ:

Нѣтъ — легче мнѣ сражаться съ Годуновымъ,
 Или хитрить съ придворнымъ Езуитомъ,
 Чѣмъ съ женщиной. Чѣртъ съ ними, мочи нѣтъ,
 И путаетъ, и вьется, и ползетъ,
 Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ.
 Змѣя! змѣя!

Такія выраженія, Петръ Алексѣевичъ, чѣртъ съ ними, а особенно: мочи нѣтъ, при всякой романтической національности — ни куда не годятся.

За симъ, что называется *съ оника*, слѣдуетъ прекрасное *обращеніе* Курбскаго къ своему отечеству:

Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!
 Святая Русь! Отечество! Я твой!
 Чужбины прахъ съ презрѣньемъ отряхую
 Съ моихъ одеждъ, пью жадно воздухъ новый:
 Онъ мнѣ родной! Теперь твоя душа,
 О мой отецъ, утѣшилась, и въ гробъ
 Опальные возрадуются кости... и проч.

Помѣщ. Да! если бы такъ написана была вся повѣсть...

Учит. Тогда бы стали хвалить.

Помѣщ. Ну-ва, доходи скорѣе до Французскаго-то съ Нѣмец-

вимъ! До этого мѣста, помнится, нѣтъ ничего значительнаго, кромѣ разказа Патріарха о слѣпцѣ, прозрѣвшемъ у гроба св. младенца.

Учит. Такъ, это порядочно. А какъ увидѣлъ я *смѣсь Русскаго съ Нѣмецкимъ и Французскимъ* — признаюсь, подумалъ, можно ли было ожидать отъ Пушкина такой галиматѣи? Что за школьническая игра въ словахъ: Quoi, Quoi, ква, ква!

Помѣщ. Да помилуй, Ермилъ Сергѣичъ, осердился по пустому: вѣдь Маржеретъ и Розенъ не умѣли говорить по Русски; ну, и говорили какъ могли.

Учит. Такъ позвольте жъ объясниться: развѣ Самозванецъ съ патеромъ Черниковскимъ, съ Мариною и съ другими, въ Польшѣ, говорилъ по Русски? Развѣ Вишневецкій и Мнишекъ говорили по Русски? Слѣдовало бы разговоры ихъ также напечатать по Польски: ужъ смѣшить, такъ смѣшить! — Какъ вы думаете, Петръ Алексѣевичъ?

Помѣщ. (*смотря въ книгу*). Sie haben Recht.

Учит. (*поворотя страницу назадъ*). По истинѣ: Es ist Schande.

Помѣщ. Не полно ли? Развѣ есть еще что-нибудь?

Учит. Вотъ, надобно замѣтить рѣчь, обращенную Борисомъ при смерти къ сыну его Θεодору. Хотя и нѣтъ въ ней отлично хорошихъ мыслей, да есть порядочные стихи. Я не выписалъ ее: слишкомъ длинна, и много между прочимъ пустаго.

Теперь осталось только показать нѣкоторыя *рѣзкія* мысли, встрѣчаемыя въ продолженіи Повѣсти; наиримѣръ, патеръ Черниковскій говоритъ справедливо:

Притворствовать предъ оглашеннымъ свѣтомъ
Намъ иногда духовный долгъ велить.

Эту Езуитскую мораль лучше бы не выдавать въ оглашенный свѣтъ.

Или въ семъ разговорѣ Бориса съ Басмановымъ:

Лишь дай сперва смятеніе народа
Мнѣ усмирить.

Басмановъ.

Что на него смотрѣть?

Всегда народъ къ смятеню тайно склоненъ.

Помѣщ. Вотъ вздоръ какой! *Всегда склоненъ*. Пустое, съ этимъ я совершенно не согласенъ; какъ-бишь ты давиче сказалъ? да,

него, всема него. И Русскому ли Боярину такъ отзываться о Православномъ Русскомъ народѣ?

Лишь строгостью мы можемъ неусыпной
Сдержатъ народъ...
Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ:
Твори добро — не скажетъ онъ спасибо;
Грабь и казни — тебѣ не будетъ хуже.

Учит. А Борисъ-то?... (*читаетъ наизусть*).

Помѣщ. Полно, братецъ, полно! Чтобъ не подслушали.

Учит. Да вѣдь это говорить Борисъ въ печатномъ.

Помѣщ. Такъ можно примолвить: и милостиво и премудро! Нѣтъ, не вѣрю, чтобы Борисъ, каковъ ни былъ онъ, сталъ говорить такимъ Макиавельскимъ языкомъ.

Учит. А сыну-то при смерти говорить:

Со временемъ и понемногу, снова
Затягивай державныя бразды...

И вотъ еще извольте взглянуть на страницу 139-ю! Каково, мужикъ кричитъ народу съ какого-то *Амвона*:

Ступай! Вязать Борисова щенка!

то-есть, Θεодора, Борисова сына, которому присягнули въ вѣрности! *Борисова щенка!* Какой изящной вкусъ! — И это *національность*?

Помѣщ. Ну, пора перестать. Что жъ ты думаешь о *первоклассности* сочинителя?

Учит. Не мое дѣло. Мнѣ, сударь, ни жаловать, ни разжаловать невозможно.

Помѣщ. И подлинно: безъ суда никто не наказывается, а судъ даетъ потомство.

Учит. Только падобно желать, Петръ Алексѣевичъ, чтобы это потомство какъ можно скорѣе показалось; а до поздняго, кажется, не дожить вынѣшнему *Борису Годунову*.

* * *

*) *О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина, Разговоръ.* Москва. Въ Университетской типографіи, 1831 г.

*) «Гирлянда» 1831 г., ч. 2., № 24—25. «Библиографія». Зам. Г. 3—ал.

Въ 8. (16 стр.). (Продается въ магазинѣ Смирдина по рублю экземпляръ.)

Въ числѣ критикъ, вышедшихъ на извѣстное произведеніе А. С. Пушкина, эта маленькая брошюрка, по нашему мнѣнію, должна занять, если не самое первое, то, по крайней мѣрѣ, почетное мѣсто. Впрочемъ, намъ кажется, что Критикъ, смотря на произведеніе Пушкина болѣе съ строгой точки, нежели надлежало. Всѣмъ тѣмъ, которыя принимаютъ участіе въ *Борисъ Годуновъ*, не мѣшало бы прочесть и сію книжку: вѣроятно, найдутъ ее занимательною.

Г. З—ая.

* * *

*) *О Борисъ Годуновъ, сочиненіи Александра Пушкина, Разговоръ.* Москва. Въ Университетской типографіи. 1831 г., 16 стр., въ 8.

Странная участь Бориса Годунова! Еще въ то время, когда онъ не извѣстенъ былъ публикѣ вполнѣ, когда изъ этого сочиненія былъ напечатанъ одинъ только отрывокъ, онъ произвелъ величайшее волненіе въ нашемъ литературномъ мірѣ. Люди, выдающіе себя за Романтиковъ, кричали, что эта трагедія затмитъ славу Шекспира и Шиллера; такъ называемые Классики въ грозномъ таинственномъ молчаніи двусмысленно улыбались и пожимали плечами; люди умѣренные, не принадлежащіе ни къ которой изъ вышеупомянутыхъ партій, надѣялись отъ этого сочиненія многого для нашей Литературы. Наконецъ Годуновъ вышелъ; всѣ ожидали шума, толковъ, споровъ — и что же? Одинъ изъ С.-Петербургскихъ журналовъ о новомъ произведеніи знаменитаго Поэта отозвался съ личною бранью; Московскій Телеграфъ, который (какъ самъ о себѣ неоднократно объявлялъ) не оставляетъ безъ вниманія никакого замѣчательнаго явленія въ литературѣ, на этотъ разъ изложилъ свое сужденіе въ нѣсколькихъ строкахъ общими мѣстами и упрекнулъ Пушкина въ томъ, какъ ему не стыдно было посвятить своего Годунова памяти Карамзина, у котораго Издатель Телеграфа силится похитить заслуженную славу. Въ одномъ только Телескопѣ Борисъ Годуновъ былъ оцѣненъ по достоинству. Извѣстный Г. Надоумо,

*) «Листокъ» 1831 г., № 45. (Библиографія).

который, вѣроятно, Издателю этого журнала не чужой и который нѣбогда совѣтовалъ Пушкину съечь Годунова, теперь сіе же самое твореніе взялъ подъ свое покровительство. Но это сдѣлано имъ, кажется только для того, что онъ, Г. Надоумко, какъ самъ признается, любитъ плавать противъ воды, идти на переборъ общему голосу и вызывать на бой общее мнѣніе.

Теперь появилась особенная брошюрка, подъ названіемъ: О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина. Разговоръ. Что жъ это такое? спросятъ Читатели. Это, Милостивые Государи, одно изъ тѣхъ знаменитыхъ твореній, которыми наводняютъ нашу литературу Г. Орловъ и ему подобные. Какой-то Помѣщикъ Петръ Алексѣевичъ, проѣзжающій изъ Москвы чрезъ уѣздный городокъ, завелъ разговоръ о Борисѣ Годуновѣ съ какимъ-то знакомымъ ему вольнопрактикующимъ учителемъ Россійской словесности, Ермиломъ Сергѣевичемъ. Автору этого Разговора хотѣлось, вѣроятно, написать критику, и вотъ онъ началъ толковать о Годуновѣ по-своему. Не желая искушать терпѣніе читателей, не входимъ въ подробное разсмотрѣніе этой брошюрки, а выписываемъ изъ оной нѣсколько отрывковъ, которые могутъ дать понятіе объ ономъ сочиненіи.

«Учит. Съ вышепоказанной-то страницы, правду молвить, Борисъ началъ дѣйствовать: приказалъ послать къ Воеводамъ, чтобы на коня сядились.

Помѣщ. Постой, постой, Ермилъ Сергѣевичъ, какъ? Всѣ Воеводы на одного коня?»

«Учит. Каково, мужикъ кричитъ народу съ какого-то амвона:

Ступай! вязать Борисова щенка!

то-есть; Феодора, Борисова сына, которому присягнули въ вѣрности! Борисова щенка! Какой изящный вкусъ! И это національность?»

Помѣщ. Ну, пора перестать. Что жъ ты думаешь о первоклассности Сочинителя?»

Учит. Не мое дѣло. Мнѣ, сударь, ни жаловать, ни разжаловать невозможно.

Помѣщ. И подлинно: безъ суда никто не назначается, а судъ даетъ потомство.

Учит. Только надобно желать, Петръ Алексѣевичъ, чтобы это

потомство какъ можно скорѣе показалось; а до поздняго, кажется, не дожить нынѣшнему Борису Годунову».

Какое? Въ заключеніе, не лзя не замѣтить, что самое названіе этой школярной болтовни предувѣдомляетъ, въ какомъ духѣ написанъ Разговоръ о Борисѣ Годуновѣ; напечатанъ же особою брошюркою онъ, вѣроятно, потому, что по какимъ-нибудь причинамъ не могъ явиться ни въ одномъ журналѣ.

* * *

*) *О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина, разговоръ.* Москва, въ Университетской тип. 1831 г., въ 8 д. л., 16 стр.

Новѣйшая Поэзія имѣетъ особенный характеръ, которымъ она отличается и отъ Древней и отъ Романтической. Сей отличительный признакъ заключается въ ея отношеніи къ теоріи Искусства и къ Критикѣ. Во всѣхъ ея произведеніяхъ замѣтно, что они произошли подъ вліяніемъ извѣстныхъ литературныхъ правилъ или мнѣній. Съ этою зависимостію необходимо сопряжены два недостатка или, лучше сказать, два ложныя направленія Поэзіи. Съ одной стороны превращаютъ ее въ простое механическое стихотворство, люди которые почитаютъ себя Поэтами потому только, что навыкли въ ремесленной части Поэзіи, которые полагаютъ сущность ея во внѣшнихъ формахъ, и недостатокъ творческаго генія думаютъ замѣнить искусствомъ стихосложенія. — Съ другой стороны виновниками искаженія Поэзіи бываютъ Поэты, которые вовсе отрицаютъ необходимость изучать правила и законы своего Искусства; умственный трудъ, постоянный и усердный, для нихъ ненавистенъ: отвергая всѣ формы, они не хотятъ вѣрить, что Поэзія есть Искусство, и выдаютъ себя за Поэтовъ оригинальныхъ, природою вдохновенныхъ, національныхъ, которые, въ силу сего должны писать, что и какъ имъ въ голову прійдетъ. — Обязанность Критики надзирать за сими заблуждающимися, и приводить ихъ на истинную стезю съ пути ложнаго, гдѣ они бесполезно растрачиваютъ свои лучшія силы. Но и сама Критика можетъ являться въ двухъ ложныхъ видахъ, соотвѣтствующихъ означеннымъ выше ошибочнымъ направленіямъ Поэзіи. Есть люди, коймъ изученіе одной или двухъ Литературъ и

*) «Сѣверная Пчела» 1831 г., № 167. (Новыя книги).

выводъ изъ нихъ нѣсколькихъ неполныхъ и невѣрныхъ правилъ стоили такъ много труда, что совершенно ихъ утомили. Отъ того, раболѣпствуя предъ сими мнимыми законами Искусства, хотятъ они наложить то же ярмо и на творческую силу Поэта, и ко всѣмъ твореніямъ его примѣняютъ свое органическое мѣрило. За то бываютъ Критики другаго рода, которые еще легче добываютъ право судей литературныхъ: они не признаютъ никакихъ законовъ, творятъ судъ и расправу, какъ имъ заблагоразсудится. *Tel est notre bon plaisir* — вотъ основаніе ихъ приговоровъ; другаго, болѣе законнаго основанія они не знаютъ, и знать не хотятъ. Критики перваго рода смѣшны своею ограниченностію; но судьи-самозванцы вреднѣе ихъ.

Истинно великимъ Поэтомъ нашего времени можно быть только тому, кто къ высокому поэтическому дарованію присоединитъ глубокое, основательное изученіе своего Искусства. Точно такъ же и право Критика истиннаго уступается нынѣ только тому, кто, обладая чувствомъ, открытымъ для всего прекраснаго, не полѣнился трудною стезею умозрѣнія проникнуть до основныхъ, вѣчно истинныхъ законовъ Изящнаго, и повѣрилъ, поддѣрилъ оныя историческимъ изученіемъ разнообразныхъ проявленій красоты въ различныхъ Литературахъ. — Судья *Бориса Годунова* не принадлежитъ къ числу сихъ избранныхъ. Положимъ, что никакому практикующему учителю Россійской Словесности, какъ ни были бы ограничены его теоретическія и историческія свѣдѣнія, нельзя запретить судить о Поэтѣ современномъ, ибо знаменитость сего Поэта можетъ быть оправдана потомствомъ, но можетъ быть и отринута; по крайней мѣрѣ непозволительно съ такими слабыми средствами хотѣть быть судьей геніевъ великихъ, Шекспира, напримѣръ. «Шекспиръ, говоритъ Г. вольнопрактикующій учитель, писалъ тогда еще, когда одноземцы его и понятія не имѣли объ изящномъ вкусѣ». Справимся съ Исторіею. По расчисленіямъ Малона, Чальмерса и Драка, доставшіяся намъ отъ Шекспира Драмы написаны имъ между 1589 и 1614 годами. Его современниками и соперниками были: Бенъ-Джонсонъ (род. 1574, ум. 1637 г.), многочитанный ученикъ знаменитаго Камдена, опутавшій свой смѣлый геній веригами ложно понятаго Аристотеля (*Аристотеля* — Ермилъ Сергѣичъ!); Франсисъ Бомонъ (род. 1584 или 1585, ум. 1615), который въ Кембриджѣ и Лондонѣ основательно изучилъ Классическую Сло-

весность, и сотрудникъ его Джонъ Флетчеръ (род. 1576, ум. 1625). Упомянемъ еще объ отличномъ, по силѣ языка, Комикиъ Массингеръ, и о Чапманнѣ (род. 1578, ум. 1635), переводчикѣ Иліады и подражателѣ Теренцію. — И одноземцы сихъ мужей не имѣли понятія, объ изящномъ вкусѣ? Они имѣли даже испорченныя понятія, ибо нашлись люди, коихъ мнѣнія объ изящномъ сходствовали съ понятіями Г. вольнопрактикующаго учителя, и которые сами вѣрили и на нѣкоторое время заставили другихъ вѣрить, что Джонсонъ, Бомонъ и Флетчеръ выше Шекспира. — Но сами сіи мужи, потому именно, что были истинно образованы, умѣли цѣнить своего великаго современника. Не смотря на свое уваженіе къ Древнимъ, ученый Бенъ Джонсонъ ставитъ Шекспира на принадлежащую ему степень достоинства. Въ стихотвореніи, въ которомъ Джонсонъ оплакалъ смерть Шекспира, онъ говоритъ:

«Торжествуй, моя Британія! въ замѣну всѣхъ пѣвцовъ, которыхъ произвели надменная Греція или гордый Римъ, или которые потомъ возникли изъ подъ пепла, ты можешь указать на одного, предъ коимъ благоговѣютъ всѣ драматическія сцены Европы. Онъ принадлежалъ не одному вѣку; онъ есть достояніе всѣхъ временъ. — И его Музы еще всѣ въ полномъ цвѣтѣ красоты».

* * *

*) Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, изданныя А. П. — С.-Петербургъ. Въ типографіи Плюшара, 1831. Въ 12. (XIX и 187 стран.). (Продается въ маг. Смирдина по 5 руб., съ перес. по 6 р. экз.).

Поставляемъ обязанностію своею обратить вниманіе прекрасныхъ нашихъ Читательницъ на сію книжку: чтеніе оной доставитъ имъ особенное удовольствіе. Въ ней помѣщено пять Повѣстей: *Выстрѣлъ, Метель, Станціонный Смотритель, Гробовщикъ и Барышня-Крестьянка*. Мы хотѣли было рассказать вкратцѣ содержаніе каждой изъ сихъ Повѣстей, но подумали, что повредимъ этимъ интересу, который будутъ имѣть ихъ читательницы.

* * *

*) «Гирлянда» 1831 г., ч. 2, № 28—29. («Библиографія»).

*) *Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, изданныя А. П. С.*

Какъ пріятно, въ тѣсномъ дружескомъ кругу, предъ каминомъ, слушать рассказы умнаго, образованнаго человѣка — рассказъ о чемъ бы то ни было: о необыкновенномъ происшествіи, о забавной встрѣчѣ, о странномъ свидѣніи. Рассказчикъ не утомляетъ васъ подробностями, которыя были бы умѣстны только въ *настоящей* Повѣсти, легко очерчиваетъ свои изображенія, но бросаетъ черты сіи не безъ разбору: каждая изъ нихъ необходима для составленія цѣлаго; иногда забываетъ онъ роль рассказчика, и на нѣсколько минутъ самъ становится дѣйствующимъ лицомъ, замѣняя свои картины повѣствовательныя сценою драматическою, причѣмъ и выраженіе лица, и голосъ, и слогъ рѣчей его измѣняются. — Вы имѣете нынѣ случай пользоваться предѣстами такого рассказа, не трудясь искать рассказчика: возьмите Повѣсти Бѣлкина. Въ сей книжкѣ помѣщены шесть анекдотовъ, приключеній, странныхъ случаевъ, — какъ вамъ угодно назвать ихъ, рассказанныхъ мастерски: быстро, живо, пламенно, плѣнительно. — Жалуются, что содержаніе сихъ Повѣстей слишкомъ просто; что прочитавъ нѣкоторыя изъ нихъ, спрашиваете: только-то? — Да, только, а если этого недовольно, возьмите другую книжку, потолще — она будетъ и подешевле. — Въ предисловіи описана жизнь Автора, умершаго въ цвѣтѣ лѣтъ;

Но вы, красавицы...

Не ахайте объ немъ и не смущайте духъ!

У поэта, которому довелось издавать сіи рассказы, есть, говорятъ, еще препорядочный запасецъ сочиненій покойнаго его пріятеля. Жаль, что въ этой поэтической книжкѣ, мѣстами и корректура поэтическая: такъ, напримѣръ, на стр. 2-й сказано: «Одинъ человѣкъ принадлежалъ нашему обществу», вм.: «Къ нашему обществу». На стр. 75. *заперевъ!* Впрочемъ эти бездѣльные ошибки бросаются въ глаза именно потому, что слогъ всей книжки самый правильный и пріятный».

* * *

***) *Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина.*

*) «Сѣверная Пчела» 1831 г., № 255. (Новыя книги).

***) «Московскій Телеграфъ» 1831 г., ч. 42, № 22. «Русская литература».

Вотъ также пять маленькихъ *сказочекъ*, которыя напечаталъ Г-нъ А. П., почитая ихъ *занимательными*, вѣроятно, не для дѣтей, а для взрослыхъ.

Помнится, въ Сѣверной Пчелѣ, было сказано нѣсколько словъ о забавномъ подражаніи нашихъ литераторовъ нынѣшней модѣ Французской и Англійской. Во Франціи и Англии выдаютъ нынѣ книги, на половину, безъ подписи именъ или съ подложными именами сочинителей. И у насъ стали дѣлать тоже: являются безпрестанно *анонимы* и *псевдонимы*. Но что у Англичанъ и Французовъ происходитъ отъ избытка силы, то у насъ пустое обезьянство. Многие сочинители наши могутъ подписывать и не подписывать имена свои, и все-таки останутся — *anonymes dans les deux cas* (по выраженію А. де-Виньи). Этотъ И. П. *Бѣлкинъ*, этотъ Издатель сочиненій его, который подписывается буквами: А. П., и о которомъ въ объявленіи книгопродавцевъ говорятъ, какъ о *славномъ нашемъ поэтѣ*, не походятъ-ли они на дитя, закрывшее лицо руками и думающее, что его не увидятъ?

Впрочемъ, буквы: А. П., были необходимы въ другомъ отношеніи: безъ этого никто и не замѣтилъ бы *Повѣстей Бѣлкина*. Теперь, по крайней мѣрѣ, ихъ прочитали.

Кажется, Сочинителю хотѣлось испытать: можно-ли увлечь вниманіе читателя рассказами, въ которыхъ не было-бы никакихъ фигурныхъ украшеній ни въ подробностяхъ рассказа, ни въ слогѣ, и никакого романизма въ содержаніи (принимая здѣсь слово *романизмъ*, какъ *умоизвѣтіе*, въ чемъ, по увѣренію нашихъ риторовъ, заключается сущность романа).

Дарованія В. Ирвинга въ наше время, кажется, рѣшили уже этотъ вопросъ. Но зналъ-ли Г-нъ Бѣлкинъ, что это верхъ силы дарованія огромнаго? Эта мнимая простота показывается геркулеса, безъ всякаго усилія, шута, ломающаго огромныя деревья.

Возьмите какую-нибудь В. Ирвингову повѣсть. Педантъ, школьный учитель, влюбился въ дѣвушку; любовникъ красавицы пугаетъ педанта мертвецами и заставляетъ бѣжать. Англичанинъ, съѣхавшись въ дорогѣ съ молодою Венеціанкою, спасаетъ ее отъ разбойниковъ. Вотъ содержаніе двухъ повѣстей. Что можетъ быть этого проще? Въ рассказѣ той и другой повѣсти нѣтъ ни риторическихъ фигуръ, ни нечаянностей, ни блестящихъ. Но въ этомъ-то отсутствіи шумихи содержанія и слога заключается высокое искусство. Всего

болѣе показаль сію степень, если можно такъ сказать — *безыскусственнаго искусства*, В. Ирвингъ въ тѣхъ разсказахъ, гдѣ вовсе нѣтъ у него никакой завязки. Читайте его: *Расстерзанное сердце*, свиданіе съ В. Скоттомъ, вороновъ и воронъ — неподражаемо! И. П. Бѣляину явно хотѣлось попасть въ колесо В. Ирвинга. Но какъ *Евгеній Онъгинъ* далеке отъ *Донъ Жуана*, такъ *Повѣсти Бѣлкина* далеки отъ созданій В. Ирвинга.

Лучшею изъ всѣхъ *Повѣстей Бѣлкина* намъ показалась — *Станціонный Смотритель*. Въ ней есть нѣсколько мѣстъ, показывающихъ знаніе человѣческаго сердца. Забавна и шутка, названная: *Гробовщикъ*. За то въ повѣстяхъ: *Выстрѣлъ*, *Метель* и *Барышня-Крестьянка*, нѣтъ даже никакой вѣроятности, ни поэтической, ни романической. Это фарсы, затынутые въ корсетъ простоты, безъ всякаго милосердія *).

1832 г.

**) *Евгеній Онъгинъ, романъ въ стихахъ. Сочиненіе Александра Пушкина. Глава послѣдняя.* — Спб., въ тип. Департ. Народнаго Просвѣщенія, 1832 г. (въ 12 ю д. л. 51 стр.) ***).

Этою *осьмою* главой заключается поэтической романъ, созданный *А. С. Пушкинымъ*. Авторъ утайлъ отъ насъ подъ спудомъ *подлинную осьмую главу*, въ которой описано было путешествіе *Онъгина* по Россіи, и остроумно оговариваетъ сію утайку въ своемъ предисловіи. Въ послѣдней главѣ *Евгеній* снова встрѣчается съ *Татьяной*, но уже не застѣнчивою провинціалкою, а ловкою, свѣтскою *Княгиней*. Демонъ тщеславія, всегдашній кумиръ *Онъ-*

*) Сюда не вошли рецензіи о Пушкинѣ 1831 года, напечатанные въ слѣдующихъ изданіяхъ: «Сѣверномъ Меркуріѣ», №№ 1, 28 и 37 («Борисъ Годуновъ» и «Повѣсти Бѣлкина»); «Колокольчикъ» № 6, стр. 23 — 24 («Борисъ Годуновъ»); «Литературной Газетѣ» №№ 1 и 2, стр. 7—8 и 15—17 («Борисъ Годуновъ»); «Сибургскомъ Вѣстникѣ», № 2, стр. 62 — 64 («Борисъ Годуновъ»); «Эхо», № 2, стр. 47 — 57 («Борисъ Годуновъ»); «Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду» № 8 и 93, стр. 59 и 735 («Полтава» и «Повѣсти Бѣлкина»).

Примѣч. В. Земискаго.

**) «Русскій Инвалидъ» 1832 г., № 26. («Новая книга»).

***) Продается въ Сибургѣ во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 5 р. за экземпляръ. За пересылку въ другіе города прилагается 80 коп.

ина, пробуждаетъ въ сердцѣ его любовь къ той, которую прежде онъ отвергнулъ; но Татьяна какъ будто бы не замѣчаетъ ни вздоховъ, ни страстныхъ преслѣдованій челоуѣка, нѣкогда покорившаго ея неопытное сердце. За прежній совѣтъ его, она платитъ ему тоже совѣтомъ, не столь великодушнымъ, но за то болѣе разсудительнымъ и назидательнымъ; признается, что еще любить его, но хочетъ остаться вѣрною своему долгу... и оставляетъ *Онтгина*. Поэтъ также оставляетъ его «надолго... навсегда», заключая свою поэму слѣдующими стихами:

«Блаженъ, кто празднигъ жизни рано
Оставилъ, не допивъ до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочелъ ея романа
И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ.
Какъ я съ Онтгинымъ моимъ».

* * *

Въ «Сѣверной Пчелѣ» помѣщенъ фельетонъ, заключающій въ себѣ выписки изъ 8-й главы «Евгенія Онтгина». Въ концѣ фельетона, между прочимъ, сказано:

*) Такое окончаніе Онтгина примиритъ всякаго съ Авторомъ. Нужно ли распространяться о достоинствѣ сего произведенія перваго нашего Поэта? Оно еще не опредѣлено критикою, какъ и всѣ почти произведенія Русской Литературы, въ томъ мы согласны; но каждый изъ читателей составилъ себѣ *свою* идею о семъ произведеніи, сообразно *своему* понятію объ изящномъ. Скажемъ только, что осьмая и послѣдняя глава Евгенія Онтгина показываетъ, что Поэтъ питалъ ее въ состояніи одушевленія, часто вдохновенія, и что она принадлежитъ къ лучшимъ главамъ сего поэтического Романа.

* * *

**) *Послѣдняя глава Евгенія Онтгина*. Сочиненіе Александра Пушкина.

*) «Сѣверная Пчела» 1832 г., № 51, статья П. С.

**) «Московский Телеграфъ», 1832 г., ч. 43, № 1.

Изъ читавшихъ первая главы *Онѣгина*, вѣроятно, не многіе думали такъ скоро увидѣть конецъ сей повѣсти, вызвавшей много толковъ, споровъ, осужденій и восхищеній, холодныхъ порывовъ, и — можетъ быть — нѣсколько слезокъ, падшихъ украдкою. Но какъ-бы то ни было — вотъ послѣдняя глава, конецъ Онѣгина! Чѣмъ же кончилась эта *исторія*, сказка, или романъ? спросать читатели. Чѣмъ?... да чѣмъ обыкновенно кончится все въ мірѣ? И Богъ знаетъ! Иной живетъ лѣтъ восемьдесятъ, а жизни его было всего лѣтъ тридцать. Такъ и Евгеній Онѣгинъ: его не убили, и самъ онъ еще здравствовалъ, когда Поэтъ задернулъ занавѣсъ на судьбу своего героя. Въ послѣдній разъ читатель видитъ его въ спальнѣ Татьяны, уже Княгини NN, свѣтской, вышаго тона дамы, которая упрекаетъ бывшего властителя ея сердца за прежнее и настоящее, и оставляетъ его въ раздумьѣ, съ мужемъ своимъ Княземъ NN.

И здѣсь героя моего,
 Въ минуту злую для него,
 Читатель, мы теперь оставимъ,
 Надолго... навсегда. За нимъ
 Довольно мы путемъ однимъ
 Бродили по свѣту. Поздравимъ
 Другъ друга съ берегомъ. Ура!
 Давно-бъ (не правда-ли?) пора!

Нѣтъ! Мы пожалѣли не о томъ, что судьба (волею Поэта) такъ неожиданно остановила Онѣгина, какъ будто на распутіи; мы пожалѣли объ *Осьмой главѣ*, извѣстной публикѣ по отрывкамъ. <Авторъ чистосердечно признается, что онъ — выпустилъ изъ своего романа цѣлую главу, въ коей описано было путешествіе Онѣгина по Россіи. Отъ него зависѣло означить сію выпущенную главу точками или цифромъ; но во избѣжаніе соблазна, рѣшилъ онъ лучше выставить, вмѣсто девятаго нумера, осьмой, надъ послѣднею главою Онѣгина, и пожертвовать одною изъ окончательныхъ строфъ:

Пора: перо покоя просить;
 Я девять пѣсенъ написалъ;
 На берегъ радостный выносить
 Мою ладью девятый валъ.
 Хвала вамъ, девяти Каменамъ, и проч.

Такъ объясняется Поэтъ въ Предисловіи. Невольно покорствуемъ его волѣ.

Говорить о содержаніи сей Главы нечего. Оно живо полною и прелестью самаго разсказа, а не связывающею нитью, которая въ Онѣгинѣ такъ обыкновенна и проста. Подѣлимся наслажденіемъ съ читателями, выписавъ изъ окончанія *Онѣгина* нѣсколько разныхъ мѣстъ. Вотъ, напримѣръ, гореть афоризмовъ, очень обыкновенныхъ, *хозячицъ*; но языкъ — прелесть! Невольно затверживаешь этотъ гармоническій лепетъ:

Блаженъ, кто смолода былъ молодъ,
 Блаженъ, кто вовремя созрѣлъ,
 Кто постепенно жизни холодъ
 Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ;
 Кто страннымъ снамъ не предавался,
 Кто черни свѣтской не чуждался;
 Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ или хватъ,
 А въ тридцать выгодно женатъ;
 Кто въ пятьдесятъ освободился
 Отъ частныхъ и другихъ долговъ,
 Кто славы, денегъ и чиновъ
 Спокойно въ очередь добился,
 О комъ твердили цѣлый вѣкъ:
 NN прекрасный человекъ.

Но грустно думать, что напрасно
 Была намъ молодость дана,
 Что измѣняли ей всечасно,
 Что обманула насъ она;
 Что наши лучшія желанья,
 Что наши свѣжія мечтанья
 Истлѣли быстрой чередой,
 Какъ листья осенью гнилой,
 Несносно видѣть предъ собою
 Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,
 Глядѣть на жизнь, какъ на обрядъ,
 И вслѣдъ за чинною толпою
 Идти, не раздѣляя съ ней
 Ни общихъ мнѣній, ни страстей.

Вотъ картинка моднаго свѣта:

Тутъ былъ однако цвѣтъ столицы,
 И знать, и моды образцы,
 Вездѣ встрѣчаемыя лица,

Необходимые глупцы;
 Тутъ были дамы пожилыя
 Въ чепцахъ и въ розахъ, съ виду злыя;
 Тутъ было нѣсколько дѣвицъ,
 Не улыбающихся лицъ;
 Тутъ былъ посланникъ, говорившій
 О государственныхъ дѣлахъ;
 Тутъ былъ въ душистыхъ сѣдинахъ
 Старикъ, по старому глупившій,
 Отвѣнно тонко и умно,
 Что нынче нѣсколько смѣшно.

Между тѣмъ Онѣгинъ — кто-бы повѣрилъ? — сдѣлался мечта-
 телемъ!

Онъ такъ привыкъ теряться въ этомъ,
 Что чуть съ ума не своротилъ,
 Или не сдѣлался поэтомъ.
 Признаться: то-то бѣ одолжилъ!

.
 Дни мчались; въ воздухѣ нагрѣтомъ
 Ужъ разрѣшалася зима;
 И онъ не сдѣлался поэтомъ,
 Не умеръ, не сошелъ съ ума.
 Весна живить его: впервые,
 Свои покои запертые,
 Гдѣ зимоваль онъ какъ сурокъ,
 Двойныя окна, камелекъ
 Онъ яснымъ утромъ оставляетъ,
 Несется вдоль Невы въ саняхъ:
 На синихъ изсѣченныхъ льдахъ
 Играетъ солнце; грязно таетъ
 На улицахъ разрытый снѣгъ....

Читатели видятъ, что Поэтъ не разучился рисовать сѣверную при-
 роду. Но они вполне помирятся съ нимъ — если бы и тайлся
 въ душѣ ихъ какой-нибудь холодъ къ Онѣгину — прочитавъ за-
 ключеніе романа, по нашему мнѣнію, одно изъ лучшихъ мѣстъ во
 всемъ этомъ сочиненіи.

Кто-бъ ни былъ ты, о мой читатель,
 Другъ, недругъ, я хочу съ тобой
 Разстаться нынче какъ пріятель.
 Прости. Чего бы ты за мной
 Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ:

Воспоминаній-ли мятежныхъ,
 Отдохновенья-ль отъ трудовъ,
 Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,
 Иль грамматическихъ ошибокъ,
 Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты,
 Для развлечения, для мечты,
 Для сердца, для журнальныхъ ошибокъ,
 Хотя крупицу могъ найти.
 За симъ разстанемся: прости.

Прости-жь и ты, мой спутникъ странный,
 И ты, мой вѣрный идеаль,
 И ты, живой и постоянный,
 Хоть малый трудъ. Я съ вами зналъ
 Все, что завидно для поэта;
 Забвенье жизни въ буряхъ свѣта,
 Бесѣду сладкую друзей.
 Промчалось много, много дней
 Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
 И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ свѣ
 Явились впервые мнѣ...
 И даль свободнаго романа
 Я сквозь магическій кристалъ
 Еще не ясно различалъ.

Но тѣ, которымъ въ дружной встрѣчѣ
 Я строфы первыя читалъ...
 Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече,
 Какъ Сади нѣкогда сказалъ.
 Безъ нихъ Онѣгинъ дорисованъ.
 А та, съ которой образованъ
 Татьяны милый идеаль...
 О, много, много рокъ отъялъ!
 Блаженъ, кто праздникъ жизни рано
 Оставилъ, не допивъ до дна
 Бокала полнаго вина,
 И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ,
 Какъ я съ Онѣгинымъ моимъ.

Это вздохъ музыки, долго плѣнявшей слухъ и душу!... Если-бы
 Поэтъ *ездитъ* и *во всемъ* оставался такъ вѣренъ своему высокому
 призванію, какъ въ этихъ стихахъ, то ему конечно не пришлось бы
 написать:

. . . . Журналы,
 Гдѣ поученья намъ твердятъ,
 Гдѣ нынче такъ меня бранятъ,

А гдѣ такіе мадригалы.
Себѣ встрѣчалъ я иногда....

Если и опять будутъ гдѣ нибудь колоть Автора Онѣгина, то конечно не за послѣднія строфы поэтическаго его романа.

* * *

*) Уже текущій годъ, говоря народною Русскою рѣчью, *переломился*: и вотъ весь поэтической его приходъ, который можно отложить въ сохранную казну воспоминанія! Чудное дѣло! Неужели скудость поэтической производительности, оплаканная нами при обзорѣниі истекшаго года, должна оставаться неотъемлемымъ удѣломъ нашей бѣдной словесности? Неужели сладкія надежды, коими украшали мы будущность, суть обманчивые призраки? И немногія страницы нашей слишкомъ тощей библиографіи должны ли наполняться одними жалкими, печальными Іереміадами?

Къ сожалѣнію, по крайней мѣрѣ на сей разъ, жестокой опытъ подтверждаетъ, кажется, сіи зловѣщія предчувствія. Изъ трехъ книжекъ, составляющихъ единственный поэтической плодъ цѣлыхъ шести мѣсяцевъ литературной нашей жизни, только одна послѣдняя можетъ собственно назваться новостью. Двѣ первыя принадлежатъ поэту, давно извѣстному, и заключаютъ въ себѣ стихотворенія также болѣею частію извѣстныя или вполне или въ отрывкахъ. Но не одна количественная, численная, такъ сказать, скудость новыхъ поэтическихъ произведеній ужасаетъ насъ въ итогѣ истекшаго полугода. Въ самомъ внутреннемъ ихъ достоинствѣ обнаруживается крайняя бѣдность поэтической жизни, не радостная для патриотовъ Русской словесности.

Было время, когда каждый стихъ *Пушкина* считался драгоценнымъ приобрѣтеніемъ, новымъ перломъ нашей литературы. Какой общій, почти единодушный восторгъ привѣтствовалъ первые свѣжіе плоды его счастливаго таланта! Какія громозвучныя рукоплесканія встрѣтили *Евгенія Онѣгина* въ колыбели! Можно было по всей справедливости примѣнить къ юному поэту горделивое изреченіе

*) «Телескопъ» 1832 г., ч. IX, № 9. Статья, подъ заглав.: «Лѣтописи отечественной литературы». Въ этой статьѣ вмѣстѣ съ произведеніями Пушкина разбираются также стихотворенія Виктора Телякова.

Цезаря: *пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!* Всѣ преклонились предъ нимъ до земли: всѣ единогласно поднесли ему вѣнецъ поэтического безсмертія. Усумниться въ преждевременномъ апотеозѣ героя считалось литературнымъ святотатствомъ: и нѣсколько послѣднихъ лѣтъ въ исторіи нашей словесности по всѣмъ правамъ можно назвать эпохою *Пушкина*. Не будемъ оскорблять минувшее бесполезными истязаніями: что было, то было! Скажемъ болѣе: имя *Пушкина* и безъ прихотливаго каприза моды, коей былъ онъ любимымъ временемъ, имѣло бы всѣ права на почетное мѣсто въ нашей литературѣ: энтузіазмъ, имъ возбуждаемый, не былъ совершенно не заслуженный! Но теперь — какая удивительная перемена! Произведения *Пушкина* являются и проходятъ почти непримѣтно. Блестательная жизнь *Евгенія Онегина*, коего каждая глава бывало считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескочкомъ чрезъ цѣлую главу: и это не производитъ никакого движенія, не возбуждаетъ никакого участія.

Третья часть стихотвореній *Пушкина*, обогащенная обширною сказкою въ новомъ родѣ, котораго гений его еще не испытывалъ, скромно, почти инкогнито, прокрадывается въ газетныхъ объявленіяхъ, на ряду съ мелкою рухлядью цеховаго рифмоплетнаго руководѣля; и (о верхъ униженія!) между журнальными насѣкомыми, *Съверная Пчела*, ползавшаяся нѣкогда предъ любимымъ поэтомъ, чтобы поживиться отъ него хотя росинкой сладкаго меду, теперь осмѣливается жужжать ему въ привѣтствіе, что въ послѣднихъ стихотвореніяхъ своихъ *Пушкинъ отжилъ!!!... Sic transit gloria mundi!...*

Что жь значить сія перемена?... Приписать ли это внезапное охлажденіе той же вѣтротлѣнной прихотливости моды, которая прежде баловала такъ поэта, или видѣть въ немъ добросовѣстное раскаяніе вразумившагося безпристрастія?... Вопросъ сей должно рѣшить внимательнымъ разсмотрѣніемъ послѣднихъ произведеній *Пушкина*. Начнемъ съ *Послѣдней Главы Онегина*. Признаемся откровенно, сія послѣдняя глава показалась намъ ни чѣмъ не хуже первыхъ. Та же прихотливая рѣзвость вольнаго воображенія, порхающаго легкокрылымъ мотылькомъ по узорчатому, но бесплодному полю свѣтской бездушнѣй жизни; та же яркая нестрѣта красокъ и цвѣтовъ, мелькающихъ подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же бѣглое, но цѣпкое остроуміе, вездѣ оставляющее слѣды легкаго юмористическаго угрызенія; та же чистота и гладкость стиха, всюду лью-

шагося тонкой хрустальной струей. Однимъ словомъ, мы нашли здѣсь продолженіе той же пародіи на жизнь, вѣтренной и легкомысленной, но вмѣстѣ затѣливой и остроумной, коей мы любовались отъ души въ первыхъ главахъ *Евгенія*. Посему, читая ее, мы не испытали никакого разочарованія, не подверглись никакому непріятному впечатлѣнію; и если иногда приходило намъ въ голову, что поэту, создавшему *Бориса Годунова*, время бѣ быть постепеннѣе, то мы оправдывали его необходимостію: надобно жѣ было кончить, что начато!... Но отдавая искренній отчетъ въ собственныхъ нашихъ чувствованіяхъ, мы не думаемъ, чтобъ ихъ раздѣляло съ нами общее мнѣніе. Большинство публики, въ минуты перваго упоенія, обмороченное вѣроломными клявками шарлатановъ, спекулировавшихъ на общій энтузіазмъ къ *Пушкину*, видѣло въ *Онъгинѣ* какое-то необыкновенное чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными послѣдствіями. Оно думало читать въ немъ полную исторію современнаго человѣчества, оправленную въ роскошныя поэтическія рамы; ожидало найти въ немъ Русскаго Чайлд-Гарольда. И могло ли устоять долго это добродушное ослѣпленіе, когда откровенная искренность поэта сама его разрушала безпрестанно? Каждая глава *Онъгина* яснѣе и яснѣе обнаруживала непріязнательность *Пушкина* на исполнскій замыслъ, ему приписываемый. Съ каждою новою строкою становилось очевиднѣе, что произведеніе сіе было не что иное, какъ вольный плодъ досуговъ фантазіи, поэтической альбомъ живыхъ впечатлѣній таланта, играющаго своимъ богатствомъ. Напрасно самое пристрастное доброжелательство усиливалось отыскать въ немъ черты высшаго эстетическаго значенія. Его воздушная легкость ускользала отъ всѣхъ покушеній пріязненной критики, помогавшей узаконить его въ рангѣ художественнаго произведенія, имѣющаго извѣстныя права и подчиненнаго извѣстнымъ условіямъ. *Евгеній Онъгинъ* не былъ и не назначался быть въ самомъ дѣлѣ романомъ, хотя имя сіе, подъ которымъ онъ явился первоначально, осталось навсегда въ его заглавіи. Съ самыхъ первыхъ главъ можно было видѣть, что онъ не имѣетъ притязаній не на единство содержанія, ни на цѣльность состава, ни на стройность изложенія; что онъ освобождаетъ себя отъ всѣхъ искусственныхъ условій, коихъ критика въ правѣ требовать отъ настоящаго романа. Въ такъ называемомъ романѣ *Пушкина*, отъ начала до конца, мелькаютъ, говоря его же словами:

Ни съ чѣмъ не связанные сны,
 Угрозы, толки, предсказанья,
 Иль длинной сказки вздоръ живой,
 Иль письма дѣвы молодой.
 И постепенно въ усыпленье
 И чувствъ и думъ впадаетъ онъ,
 А передъ нимъ воображенье
 Свой пестрый мечеть фараонъ.

Самое явленіе его, неопредѣленно-периодическими выходами, съ безпрестанными пропусками и скачками, показываетъ, что поэтъ не имѣлъ при немъ ни цѣли, ни плана, а дѣйствовалъ по свободному внушенію играющей фантазіи. Смѣло можно было угадывать, что при первой главѣ *Онѣгина*, *Пушкинъ* и не думалъ, какъ онъ кончится; и вотъ собственное его откровенное признаніе въ *Послѣдней Главѣ*:

Промчалось много, много дней
 Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
 И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ снѣ
 Явились впервые мнѣ —
 И даль свободнаго романа
 Я сквозь магическій кристалъ
 Еще не ясно различалъ.

Но сіе признаніе сдѣлано уже слишкомъ поздно. Оно не спасло откровеннаго поэта отъ мести тѣхъ, кои, думая видѣть въ мыльныхъ пузырькахъ, пускаемыхъ его затѣйливымъ воображеніемъ, роскошные огни высокой поэтической фантазмагоріи, наконецъ должны были признать себя жалко обманувшимися. Раздраженная толпа вымещаетъ теперь свое чрезмѣрное ослѣпленіе несправедливой холодностью. *Послѣдняя Глава Онѣгина* наказывается незаслуженнымъ пренебреженіемъ, отъ того, что первымъ удалось возбудить восторгъ, не советъ заслуженный. Самъ поэтъ, безъ сомнѣнія, это предчувствовалъ: ибо послѣднее прощаніе его съ читателями, коимъ онъ заключаетъ сію *Послѣднюю Главу*, растворено юмористическою ѣдкостью, изобличающею тайное недовольство самимъ собой и представляющею разительную противоположность съ тѣмъ разгульнымъ одушевленіемъ веселаго самодовольствія, коимъ проникнуты первыя главы *Онѣгина*:

Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,
Другъ, недругъ, я хочу съ тобой
Разстаться нынче какъ пріятель.
Прости. Чего бы ты со мной
Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ:
Воспоминаній ли мятежныхъ,
Отдохновенья ль отъ трудовъ,
Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,
Иль грамматическихъ ошибокъ,
Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальныхъ сшибокъ,
Хотя крупицу могъ найти.
За симъ разстанемся, прости.

Не знаемъ, какъ принято сіе обращеніе другими: что жъ касается до насъ, то мы извлекли изъ него поучительное заключеніе, къ чести поэта, но — не въ добрую примѣту для нашей словесности. Явно, что *Пушкинъ*, съ благороднымъ самоотверженіемъ созналъ наконецъ тщету и ничтожность поэтического суесловія, коимъ, увлекая другихъ, не могъ конечно и самъ не увлекаться. Его созрѣвшій умъ проникъ глубже и постигъ вѣрнѣ тайну поэзіи: онъ увидѣлъ, что для генія — повторимъ давно сказанную остроуту — не довольно создать *Евгенія*.... Но лучше ли отъ того нашей словесности? При ея крайнемъ убожествѣ, блестящая игрушка, подобная *Онгину*, все, по крайней мѣрѣ, наполняла собой ужасную ея пустоту. Видѣть эту игрушку, разбитую руками, ее устроившими, и не имѣть чѣмъ замѣнить ее — еще грустнѣе, еще безотраднѣе.

Третья Часть стихотвореній *Пушкина* оставалась единственною опорою, къ коей мы хотѣли приковать наши зыблущіяся надежды. Признаемся искренно, что въ *Борисъ Годуновъ* мы думали видѣть разсвѣтъ новаго періода художнической жизни поэта, отъ котораго ожидали многого для нашей поэзіи; и потому съ жаромъ ухватились за собраніе новыхъ, послѣднихъ его произведеній, дабы найти въ нихъ пріятное оправданіе нашимъ мечтаніямъ. И къ сожалѣнію, съ тою же искренностію, должны мы теперь сознаться, что мечтанія сіи оказались не сбывшимися. Скажемъ напередъ нашъ образъ мыслей, который для иныхъ можетъ показаться страннымъ: стихотворенія мелкія мы считаемъ самыми важными документами для изученія постепеннаго образованія художнической жизни поэта. Въ про-

изведеніяхъ первой величины, бывающихъ обыкновенно плодомъ долговременнаго напряженія всѣхъ силъ поэта, гений является, такъ сказать, въ парадѣ, затянутый во всѣ формы искусственнаго приличія, какія только для него возможны: но мелкія стихотворенія, вырывающіяся небрежно изъ души, въ минуты поэтическаго наитія, трепещутъ свободою, безыскусственною, неподдѣльною жизнію минуты, ихъ породившей. Слѣдовательно въ нихъ собственно должно изучать внутреннюю исторію поэта. Это особенно имѣетъ силу въ отношеніи къ *Пушкину*, коего всѣ произведенія, сколько-нибудь обширнѣе (силы ль у него не доставало или терпѣнія, не беремса здѣсь рѣшать!) никогда вполне не удавались. Кто хочетъ вызвать истинную глубину его таланта, тотъ долженъ вслушаться въ его могучую бесѣду съ *моремъ*, или въ вѣчную думу о *Наполеонѣ*. Посему-то, повторяемъ, мы особенно надѣялись на *Третью Часть* его стихотвореній. Сія *Третья Часть* содержитъ въ себѣ произведенія трехъ послѣднихъ лѣтъ, съ 1829 по 1831 годъ: и, признаемся, сіи три года показались намъ печальной лѣтвицей ошутительнаго упаданія поэта. Не то, чтобы дарованіе *Пушкина* дряхлѣло и истощалось въ силахъ: напротивъ, оно напрягается иногда до исполинскаго, заоблачнаго величія, какъ н. п. въ поэтической думѣ о *Казбекѣ*, принадлежащей 1829 году:

Высоко, надъ семьєю горъ,
Казбекъ, твой царственный шатѣръ
Сіяетъ вѣчными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Какъ въ небѣ рвущій ковчегъ,
Паритъ, чуть видный надъ горами.
Далекій, вождедѣнный брегъ!
Туда бѣ, сказавъ прости ущелью,
Подняться въ вольной вышинѣ!
Туда бѣ, въ заоблачную келью,
Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ!...

Но, не оскудѣвая въ силахъ, талантъ *Пушкина* ошутительно слабѣетъ въ силѣ, теряетъ живость и энергію, выдыхается. Его блестящее воображеніе еще не увяло, но осypается цвѣтами, лишующимися постепенно болѣе и болѣе своей прежней благовонной свѣжести. Напрасно привычнымъ ухомъ вслушиваешься въ знакомую мелодію его звуковъ: они не отзываются уже тою неподдѣльно-естественною, неистощимо-живою, безбоязненно-самоувѣренною свобо-

дою, которая, въ прежнихъ стихотвореніяхъ его, увлекала за собой непреодолимымъ очарованіемъ. Какъ будто рѣзвыя крылья, носившія прежде вольную фантазію поэта, опали; какъ будто тайный враждебный демонъ затанулъ и осадилъ рынаго коня его. И на что лучше свидѣтельства самого поэта? Послушаемъ собственнаго его признанія, которое находится въ той же *Третьей Части*. Поэтъ обращается къ *Цыганамъ*, коихъ поэтическая жизнь вдохнула ему одно изъ прекраснѣйшихъ его стихотвореній:

Надъ лѣсистыми берегами,
Въ часъ вечерней тишины,
Шумъ и пѣсни надъ шатрами,
И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы самъ въ иное время
Провожалъ сіи шатры.

Завтра съ первыми лучами
Вашъ исчезнетъ вольный слѣдъ,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдетъ ужъ вашъ поэтъ!

И дѣйствительно, въ послѣднихъ стихотвореніяхъ *Пушкина*, то *иное блаженное время*, въ которое вольная его фантазія кочевала самобытно въ широкомъ полѣ свободнаго вдохновенія, едва мелькаетъ въ догорающихъ воспоминаніяхъ. Сія потеря силы тѣмъ прискорбнѣе, что не сопровождается совершенною потерей силъ въ поэтѣ. Талантъ его сохраняетъ еще свою дѣятельность и пытается всячески воспроизвести себя. Онъ ощупываетъ всѣ лады поэтическаго одушевленія, дабы найти тонъ для новаго періода своей художнической жизни: то подпираясь силой мысли, какъ въ *Пиръ во время Чумы*, въ *Моцартъ и Салери*; то согрѣваясь огнемъ патріотическаго энтузіазма, какъ въ лирическомъ воззваніи къ *Клеветникамъ Россіи* или въ празднованіи *Бородинской годовщины*. Но надъ нимъ сбываются вполнѣ поэтическія *примѣты*, заключающія какъ бы нарочно сію *третью часть* стихотвореній, третій томъ жизни *Пушкина*. Исторія его прошедшихъ мечтаній и настоящаго разочарованія слишкомъ выразительно обрисовывается сими двумя куплетами:

Я ѡжалъ къ вамъ: живые сны
 За мной вились толпой игривой,
 И мѣсяцъ съ *правой* стороны
 Сопровождалъ мой бѣгъ ретивой.
 Я ѡжалъ *прочъ*: *иные* сны....
 Душѣ влюбленной грустно было,
 И мѣсяцъ съ *твоей* стороны
 Сопровождалъ меня уныло.

Наконецъ, по естественному ли закону кругообращенія человѣческой дѣятельности или по обдуманному расчету, основанному на воспоминаніи о прежнихъ успѣхахъ, *Пушкинъ* возвратился опять на точку, съ коей началъ свое поприще, ухватился за струну, прозвучавшую впервые его славу. Онъ обратился къ Русской народной старинѣ, въ коей волшебной, прозрачной мглѣ, разыгрались первыя мечты его поэтической юности. Это новое покушеніе обратило на себя все наше вниманіе. Мы надѣялись увидѣть здѣсь первый шагъ къ тому обратному разрѣшенію зрѣлаго мужества въ перво-бытную дѣтскую простоту, къ тому второму, искусственному, мудрому младенчеству, которое, по законамъ бытія, составляетъ послѣднюю степень созрѣнія жизни. Но, къ прискорбію, мы нашли одно принужденное усиліе, *tour de force* могущественнаго, но безжизненнаго искусства. Съ одной стороны нельзя не согласиться, что сія новая попытка Пушкина обнаруживаетъ тѣснѣйшее знакомство съ наружными формами старинной русской народности: но смыслъ и духъ ея остается все еще тайною, не разгаданною поэтомъ. Отсюда все произведеніе носитъ на себѣ печать механической поддѣлки подъ старину, а не живой поэтической ея картины. Не смотря на искусный подборъ словъ и выраженій, въ тонѣ Русскихъ народныхъ сказокъ, въ немъ изобличаются безпрестанно слѣды новой работы. Гомерическія повторенія однихъ и тѣхъ же рѣчей — кои, въ оригинальныхъ преданіяхъ старины, плѣняютъ своею естественною, младенческою наивною — производятъ скуку, когда видѣвъ въ нихъ умыслъ поддѣлывающагося искусства. Какое различіе между *Русланомъ и Людмилой* и *Сказкою о Царь Салтанѣ*! Тамъ конечно меньше истины, меньше вѣрности и сходства съ Русской стариной въ наружныхъ формахъ: но за то, какой огонь, какое одушевленіе! Невольно забываешь всѣ археологическія притязанія, чтобы любоваться прелестями свѣжей, роскошной поэзіи. Здѣсь напротивъ одна сухая, мертвая работа — старинная пыль, изъ кото-

рой, съ особеннымъ попеченіемъ, выведены искусные узоры!... Такииъ образомъ въ *Третьей Части* стихотвореній *Пушкина* мы увидѣли рядъ неудачныхъ попытокъ таланта, разочарованнаго въ юношескихъ своихъ мечтахъ и неумѣющаго найти опоры для своихъ зрѣлыхъ помысловъ и вдохновеній.

Какое жъ общее заключеніе должно вывести отсюда?... Мы уже имѣли случай высказать, что довѣренность наша къ неистощенной полнотѣ юной Русской жизни, только что слегка завивающейся надеждами, предохраняетъ насъ отъ совершеннаго отчаянія въ дѣлѣ поэзіи, обнаруживаемаго такъ громогласно современною Французскою критикою. И тамъ подобное отчаяніе есть грѣхъ противъ человѣческой природы, коей творческая сила составляетъ наслѣдственное, неотъемлемое достоинство: у насъ оно было бы двойнымъ преступленіемъ. Франція уже пресытилась жизнью, и напряженными чрезъ мѣру усиліями истощила предъ собой всю перспективу будущности, заключающейся въ горизонтѣ обыкновенной предусмотрительности. Но мы еще только-что начинаемъ жить: будущее наше еще не почато. Должно однако предполагать, что подобныя черныя мысли находятъ доступъ и къ намъ: по крайней мѣрѣ видно, что ихъ боятся и берутъ противъ нихъ мѣры. Такъ *Стихотворенія Теллякова*, поэта новаго, не покровительствуемаго ни шумомъ наемной молвы, ни титулами благопріобрѣтеннаго авторитета, являются въ свѣтъ подъ оборонительной эгидой предисловія, которое заключаетъ въ себѣ формальную апологію поэзіи. Признаемся, намъ пріятно было встрѣтить въ этомъ *предисловіи* ту же свѣтлую, живую, несокрушимую вѣру въ безсмертіе поэзіи, которое сами исповѣдуемъ. Сочинитель его съ благороднымъ негодованіемъ возстаетъ противъ тѣхъ, кои, твердя объ *исполнскихъ шагахъ* современнаго просвѣщенія, ограничиваютъ все его достоинство и весь отличительный характеръ стремленіемъ къ *физическому благосостоянію*: для него, какъ и для насъ, поэзія есть лучшій цвѣтъ человѣческой жизни, вѣнчающій ея полное развитіе. Точно также согласно съ нами, въ настоящемъ безплодіи нашей поэтической производительности, видить онъ не безнадежное истощеніе пресытившейся, одряхлѣвшей жизни, но младенчество, богатое дѣвственною будущностію. «Чѣмъ же, какой же поэзіей успѣли мы до сихъ поръ пресытиться?» говоритъ онъ. «Гдѣ наши Шекспіры, Гете, Байроны? Гдѣ эта длинная цѣпь именъ знаменитыхъ? Неужели Калтемиръ, Тредьяковскій и

даже Ломоносовъ съ Державинымъ и Озеровымъ совершили воплѣтъ ожиданія своего отечества? Честь и слава Пушкину, Жуковскому, Батюшкову: но ими ли все для насъ должно кончиться? Наблюдательность его, будучи дробнѣе, простирается еще далѣе. Живю чувствуя настоящую поэтическую ничтожность нашу, онъ допрашивается у современныхъ поэтовъ, не они ли сами причиною ея жалкаго безсилія; и рѣшеніе его запечатлѣно горькою, неподслащенною истиною. «Если душа художника» — рассуждаетъ онъ — «имѣетъ нужду въ созвучіи, въ сердечномъ отголоскѣ согражданъ своихъ; то тѣмъ болѣе художникъ — это вѣрное зеркало идеальной жизни своего отечества — долженъ, кажется, сберегать всѣми силами святую чистоту души своей. Мы не намѣрены разбирать разныхъ постороннихъ обстоятельствъ, подавляющихъ у насъ истинное вдохновеніе; но этимъ ли поэтическимъ насѣкомымъ — батракамъ какого-нибудь литературнаго промышленника — негодовать на невнимательность публики? Горестно видѣть, до какой степени наша литература превратилась нынѣ въ меркантильную самую ремесленную!» Что правда, то правда! Мы охотно присоединяемъ голосъ свой къ обличенію, коего справедливость чувствуемъ и признаемъ въ полной мѣрѣ. Но, одобряя отъ всего сердца образъ мыслей почтеннаго сочинителя *предисловія* къ *Стихотвореніямъ Г. Теплякова*, мы не можемъ не попенять ему нѣсколько за обманъ, въ который онъ, конечно, неумышленно ввелъ насъ. По его рѣзкому, значительному тону, мы увѣрены были, что онъ приготовляетъ насъ къ новому, оригинальному явленію въ нашей словесности, вскрывающему, хотя въ темныхъ предчувствіяхъ, нашу вождельнную поэтическую будущность: и между тѣмъ, отдавая всю справедливость *Стихотвореніямъ Г. Теплякова*, мы не можемъ не признать въ нихъ отзвукъ той же самой настроенности, коей гармоническій Requiem слышали въ послѣднихъ аккордахъ звучной лиры *Пушкина*. Но такъ какъ лице и талантъ *Г. Теплякова* слишкомъ новы и незнакомы въ нашей словесности, то мы подвергнемъ ихъ особенному, внимательному разсмотрѣнію.

Стихотворенія Г. Теплякова отличаются преимущественно роскошью поэтической живописи. Въ нихъ преобладаетъ воображеніе могущественное, смѣлое, яркое. Языкъ возведенъ до высочайшей степени изобразительнаго великолѣпія. Во избѣжаніе ненужнаго многословія, приведемъ здѣсь, для примѣра, нѣсколько строфъ изъ пре-

красной картины *Ганимеда*, которую, безъ восточнаго преувеличенія, можно назвать жемчужнымъ ожерельемъ поэзіи:

На скалахъ лѣсистой Иды
 День алмазный догоралъ,
 И лазурный одръ Фетиды
 Яркимъ блескомъ осыпалъ.
 И надъ пѣной волнъ игривой
 За Клеерою ночной,
 Какъ за прелестью стыдливой,
 Покатился молчаливо
 Мѣсяць блѣдно-золотой.
 Долгой ловлей утомленный,
 Съ лукомъ, спущеннымъ у ногъ,
 Близъ Гаргары осребренной
 Спалъ прекрасный полубогъ.
 Братъ ли это Галатеи —
 Изваянный сердца бредъ?
 Иль возлюбленный Психеи?
 Иль томимой страстью феи
 Фантастическій предметъ?
 Или чадо розы юной,
 Другъ златаго мотылька? —
 Нѣтъ! подобнаго въ подлунной
 Не видалъ никто цвѣтка! —
 На ланитахъ полныхъ рдѣтъ
 Блескъ вечернихъ облаковъ;
 Мраморъ на груди бѣлѣтъ;
 Въ розахъ устъ волшебныхъ млѣтъ
 Сладострастная любовь.
 И какъ ленты струевыя
 Въ чистомъ озера стеклѣ,
 Бьются жилки голубыя
 На опаловомъ челѣ.
 Нѣгой дышетъ вѣтръ игривый,
 По густымъ рѣзвясъ кудрямъ
 И склоняя ихъ извивы,
 Какъ листы плакучей ивы,
 Къ алебастровымъ плечамъ.
 Кто сорветъ цвѣтокъ чудесный?
 Къ сердцу кто его прижметъ?
 Взгляните: тлится сводъ небесный,
 Громъ надъ юношей реветъ!
 И сверкнулъ перунъ летучій,
 И уснувшій вздрогнулъ долъ,

И, колебля мракъ зыбучій,
Выплываетъ изъ-за тучи
Громовержущій орёлъ!

Такой роскоши кисти, такой яркости красокъ, поискать и у *Пушкина*. Но дабы яснѣе представить себѣ параллель между обоими поэтами, возьмемъ нѣкоторыя черты изъ поэтическихъ описаній *Кавказа*, надъ которыми оба они испытывали свои силы. Вотъ картина *Пушкина*:

Кавказъ подо мною. Одинъ въ вышинѣ
Стою надъ снѣгами у края стремнины:
Орель, съ отдаленной поднявшись вершины,
Паритъ неподвижно со мной наравнѣ.
Отселѣ я вижу потоковъ рожденье
И первое грозныхъ обваловъ движенье.
Здѣсь тучи смиренно идутъ подо мной;
Сквозь нихъ низвергаясь, шумять водопады;
Подъ ними утесовъ нагія громады;
Тамъ ниже мохъ тощій, кустарникъ сухой;
А тамъ уже рощи, зеленыя сѣни,
Гдѣ птицы щебечуть, гдѣ скачутъ олени.

Теперь послушаемъ *Теплякова*:

Отчизна горъ въ моихъ очахъ,
Окаменѣлые гиганты предо мною;
Громады мрачныя, какъ будто на часахъ
Стоять гранитною стѣною.
Въ вѣнцѣ изъ темнаго кустарника одна,
Зеленымъ бисеромъ унизана другая;
Тамъ голыхъ скалъ семья чернѣетъ вѣковая,
Надъ ней волнистыхъ тучъ клубится пелена!
Подъ тяжкими ея стопами
Вокругъ богатыми махровыми коврами
Луга холмистые лежать.
На нихъ, изъ сердца горъ, кипучіе фонтаны,
Бушуя, серебромъ растопленнымъ летять;
Въ гранитныхъ броняхъ великаны,
Склоняся на пропасти, ихъ грозно сторожать.

Различіе довольно ощутительно и въ тонѣ и въ выраженіи. Первое, безъ сомнѣнія, должно приписать различію положеній обоихъ поэтовъ относительно изображаемаго предмета. *Пушкинъ* видѣлъ Кавказъ *подъ* собой, *Тепляковъ* — *предъ* собою; тамъ мысль чув-

ствовала себя выше природы, здѣсь — наравнѣ съ ней; отсюда тамъ больше спокойствія, здѣсь больше усилій; или лучше, скажемъ словами обоихъ поэтовъ: тамъ воображеніе, какъ *орелъ, поднявшійся съ отдаленной вершины, паритъ неподвижно*; здѣсь, подобно *кипучему фонтану, летитъ, бушуетъ, растопленнымъ серебромъ*. Но различіе въ яркости выраженія неоспоримо должно отнести къ личному, характеристическому различію обоихъ поэтовъ. Въ самыя блестящія минуты своихъ первыхъ вдохновеній, *Пушкинъ* больше рисовалъ, чѣмъ разцѣпчивалъ свои картины. У *Теплякова* напротивъ господствуетъ колоритъ. Отсюда стихотворенія *Пушкина* легки, прозрачны, воздушны: стихотворенія *Теплякова* напротивъ обременены красками, сгущающимися нерѣдко до мрачности. Таково особенно послѣднее въ изданномъ теперь собраніи, называемое: *Чудный Домъ*, гдѣ роскошное богатство яркихъ поэтическихъ цвѣтовъ отливаетъ какою-то туманною мглою, непроницаемою для мысли. Мы конечно слишкомъ далеки отъ того, чтобы новаго, только-что явившагося выходца, поставить на одну доску съ заслуженнымъ корифеемъ нашей словесности: но при всемъ томъ признаемся, что талантъ *Теплякова*, по нашему крайнему разумнію, кажется, обѣщаетъ въ себѣ достойное продолженіе таланта *Пушкина*. Если онъ не будетъ такъ живъ, такъ богатъ, такъ затѣйливъ, то, съ другой стороны, можетъ даже превзойти его великолѣпіемъ и пышностью поэтического убранства. Но это все не обогатитъ нашей бѣдной словесности никакимъ важнымъ приобрѣтеніемъ. Въ стихотвореніяхъ *Теплякова*, не смотря на ихъ наружный ослѣпительный блескъ, замѣчательно отсутствіе самобытнаго, могущественнаго, родотворно-зидительнаго вдохновенія, которое одно производитъ для вѣчности. Новый поэтъ можетъ продолжить для насъ эпоху *Пушкина*, можетъ наполнить болѣе или менѣе яркими, искусственными блестящими ужасную пустоту нашей словесности; но — не осѣменить ее для новой, самобытной, самопроизводительной жизни! Итакъ вотъ что остается въ итогъ нашихъ изслѣдованій. Поэзія наша рѣшительно не двигается впередъ, но, обращаясь въ одномъ и томъ же кругѣ, только-что повторяетъ сама себя, въ болѣе и болѣе тускнѣющихъ отраженіяхъ. Это однако не значитъ, чтобы внутренняя полнота жизни истощилась въ вѣдрахъ нашего отечества: она еще и не раскрывалась сама изъ себя. Доселѣ во всѣхъ поэтическихъ нашихъ усиліяхъ господствовало вдохновеніе не самобытное,

чужое, экзотическое: лучшіе, блистательнѣйшіе цвѣты нашей поэзіи вырощены въ оранжерейной атмосферѣ подражанія. Мы еще не имѣли своей, Русской, народной поэзіи. У *Пушкина* были притязанія на имя Русскаго народнаго поэта и онъ долго считался таковымъ: но его народность ограничивалась тѣснымъ кругомъ нашихъ гостинныхъ, гдѣ Русская богатая природа выложена подражательностью до совершеннаго безличія и бездушія. Отсюда непрочность его успѣховъ и славы. Но ничто не изобличаетъ такъ ярко чужеземнаго, не Русскаго вдохновенія, господствующаго въ современной нашей поэзіи, какъ стихотворенія Г. Теплякова. Поэтъ самъ не хотѣлъ скрывать того. Каждое изъ его стихотвореній носить, можно сказать, на лбу печать своего чужеземнаго происхожденія: каждое начинается иностраннымъ эпиграфомъ, заключающимъ въ себѣ его главную тему. Обстоятельство, по видимому, случайное, но имѣющее глубокой смыслъ, подающее поводъ къ важнымъ соображеніямъ! Значить, у поэта не доставало собственныхъ оригинальныхъ мотивовъ поэтическаго вдохновенія, когда каждый его аккордъ имѣлъ нужду въ заимствованномъ, чужеземномъ текстѣ. Что же должно заключить отсюда? То, что поэзіи нашей не дожидаться обновленія, пока Русскій духъ не обратится внутрь себя, не отыщетъ въ самомъ себѣ источника новой, самобытной жизни!... Но какъ приняться, какъ начать это великое дѣло?... Европейскія литературы возвращаютъ теперь свою народность, обращаясь къ своей сторонѣ. У насъ это возможно ли? Таково ли наше прошедшее, чтобы возстановленіемъ его можно было осѣменить нашу будущность?... Сей важный вопросъ мы предоставляемъ себѣ разрѣшить въ послѣдствіи, когда дойдетъ очередь до тѣхъ произведеній нашей словесности, кои, подъ именемъ *романовъ*, стремятся собственно и исключительно къ поэтическому воссозданію старины Русской.

* * *

*) Стихотворенія Александра Пушкина. Часть третья. Спб. 1832 г., въ тип. Деп. Нар. Просвѣщенія, въ 8-ю д. л. 203 стр. **).

*) «Русскій Инвалидъ» 1832 г., № 86.

**) Продается во всѣхъ книжныхъ лавкахъ, по 10 р. экземпляръ; за пересылку прилагается 1 р.

Истинный подарокъ любителямъ чтенія къ Свѣтлому празднику! Здѣсь кромѣ многихъ стихотвореній, восхищавшихъ насъ въ разныхъ альманахахъ и періодическихъ изданіяхъ, находимъ мы прекрасную Русскую сказку: *о Царь Салтанъ, Царевичъ Гвидонъ и Прекрасной Царевнѣ Лебеди*, рассказанную съ тою свободою и прелестью стиха, съ тѣмъ знаніемъ Русскаго сказочнаго типа, съ тѣмъ счастливымъ даромъ примѣняться къ вымысламъ, повѣрять и быту народныхъ нашихъ рассказовъ, коими читатели Русскіе любовались въ эпилогѣ къ *Руслану* и *Людмилѣ* и во многихъ мѣстахъ самой сей поэмы. Сказка *о Царь Салтанъ* и о прочихъ, по объему своему, могла бы сама составить особую книжку; ибо она больше любой изъ главъ *Евгенія Онтыца*; и въ семъ отношеніи А. С. Пушкинъ, по совѣсти сказать, подарилъ своихъ читателей. Поэтъ болѣе *Байроническій*, то есть, менѣе безкорыстный, конечно, наложилъ бы сею сказкою новую дань на алчное любопытство публики.

Въ 3-й части *Стихотвореній Пушкина* помѣщены стихотворенія 1829, 1830 и 1831 годовъ. Сверхъ того 10 стихотвореній, написанныхъ Авторомъ прежде, но не вошедшихъ въ 1-ю и 2-ю ч. Всѣхъ стихотвореній числомъ 53. Въ томъ числѣ есть нѣсколько большихъ (*Посланіе къ Вельможѣ, Пиръ во время чумы, Моцартъ и Салери, Бородинская годовщина* и проч).

* * *

*) *Стихотворенія Александра Пушкина, 3-я часть.*

А. С. Пушкинъ принадлежитъ къ малому числу тѣхъ счастливецъ-геніевъ, коихъ первые подвиги знаменовались правомъ на триумфъ, и вся литературная жизнь коихъ была и есть громкое, непрерывное торжество. Сказавъ сіе, нельзя не вспомнить о великомъ — теперь уже не *нашемъ* — *Гѣте!* Отъ раннихъ лѣтъ до поздней кончины онъ наслаждался единодушнымъ удивленіемъ свѣта — и опочилъ въ *царственной* могилѣ. Хотя вокругъ него иногда и шипѣла зависть и злоба; хотя нѣто — довольно знаменитый человекъ, — когда-то принимался доказывать, что Гѣте не знаетъ по-*Нѣмецки*; хотя въ наше время *Менцель*, фанатикъ какой-то

*) «Сѣверная Пчела» 1832 г., № 81. «Новыя Книжки». Статья *Барона Розена*.

ложно-понимаемой нравственности Поэзии, своими почти всегда несправедливыми сужденіями силится разочаровать славу великаго — но что значать сіи тщетныя покушенія? Хулительный свистъ злобы производитъ одно негодованіе, а Менцелевы критики напоминаютъ только трогательныя слова, произносимыя работъ триумфатора! Менцель, сдѣлавшись триумфаторскимъ работъ Гёте, и отправляя сію должность по фанатическому убѣжденію своему, не думаетъ, по крайней мѣрѣ, возвыситься надъ господиномъ, а одинъ нашъ смѣтливый журналистъ понимаетъ это дѣло гораздо лучше: ему самому захотѣлось сѣсть въ торжественную колесницу Карамзина! Мы не упомянули бы объ этомъ, но — говоря словами сего самаго Журналиста — *оно пришлось кстати!*

Если бы позволили предѣлы газетной статьи, то мы съ особеннымъ удовольствіемъ теперь — когда міръ лишился *Гёте*, означили бы нѣкоторыя съ нимъ весьма сходныя черты въ нашемъ *Пушкинѣ*, а именно тѣ, коими не всегда отличаются и превосходнѣйшія дарованія, но кои между тѣмъ должно назвать высренними качествами такихъ геніевъ, какъ Шекспиръ и Гёте. Сіи-то качества, ясныя всего проявляющіяся въ Драмѣ: Борисъ Годуновъ, суть вѣрнѣйшее поручительство въ томъ, до чего достигнетъ нашъ Пушкинъ, если онъ, какъ должно думать, всегда будетъ слушаться демоническаго голоса своего генія, какъ онъ слушался поныѣ. Подобныя сужденія отвлекли бы насъ отъ подлежащей книги, и такъ мы, предоставляя всякому умному читателю отыскивать самому эти черты сходства, обращаемся къ дѣлу.

Сія третья часть Стихотвореній Пушкина заключаетъ въ себѣ 53 пьесы, написанныя въ три послѣдніе года. Долженствовало бы казаться, что сіи пьесы, столь рѣзко отличающіяся отъ произведеній другихъ нашихъ Поэтовъ, сильнѣе дѣйствуютъ на читателей въ литературномъ сборникѣ (т. е. среди пьесъ прочихъ Писателей) нежели въ отдѣльномъ изданіи; но мы убѣждаемся на опытѣ, что онѣ и здѣсь не только имѣютъ равное прежнему дѣйствіе, но и отъ совокупности своей еще получаютъ новую прелесть. Вообразимъ, что на свѣтѣ есть возвышенное племя, каждый членъ коего проявляетъ собою идею оригинальности и особенной красоты, одушевляющую творца; представимъ себѣ, что сіе племя разбѣяно на большомъ пространствѣ. Каждый изъ нихъ очаровываетъ отдѣльно, гдѣ бы ни находился; но если всѣ собраны въ одной свѣтлой залѣ — въ

домъ своего отца — каково должно быть общее дѣйствіе сего собранія! Сіе уподобленіе само собою представляется уму, при видѣ соединенныхъ пьесъ нашего Поэта. Каждую изъ нихъ привѣтствуемъ, какъ милую знакомку, которой мы уже платили дань удивленія, но съ коей встрѣчаться рады, припоминая ея свѣжую прелесть. Когда же всѣ представляются вмѣстѣ, то трудно рѣшить, кому изъ нихъ отдать преимущество, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, по своему назначенію рѣшительно возвышающихся надъ другими, какъ-то Драма: *Моцартъ и Сальери*. Но въ сей книгѣ есть и новыя пьесы, между коими особеннаго вниманія достойна *Сказка о Царѣ Салтанѣ, о сынѣ его славномъ и могучемъ богатырѣ Гвидонѣ Салтановичѣ, и о прекрасной Царевнѣ Лебеди*. — Большая прелестная пьеса, которая отдѣльно составила бы довольно порядочную книжку. Дабы всѣ области Поэзіи были воздѣланы нашимъ Поэтомъ, онъ обратился къ простонародной сказкѣ, доказавъ уже прежде своей народною балладою: *Наташа*, до какой степени онъ освоился съ Русскимъ духомъ. Отдѣленная отъ сора и нечистоты, и сохранившая только свое золото, Русская сказка у него золотозвучными стихами извивается по чудесной области народно-романтическаго. Геній старины, омывшись, какъ лебедь, въ Касталійскомъ ключѣ Пушкинской Поэзіи, носится мимо насъ легкимъ мелодическимъ полетомъ! Удивительно счастливо здѣсь соединена народность выраженія со всею очаровательностію Пушкинской дивціи! Для при- мѣра выпишемъ начало этой сказки. (Слѣдуетъ отрывокъ, начинающійся стихомъ:

«Три дѣвицы подъ окномъ...»

и кончающійся:

«И завидуютъ онѣ
Государевой женѣ...»

Кто не полюбопытствуетъ узнать дальнѣйшую судьбу этой Царицы, похождения Царевича Гвидона и прекрасной Царевны Лебеди, рассказанныя такъ мило, такъ очаровательно!

Баронъ Розенъ.

* * *

*) Борисъ Годуновъ.

Каждый народъ, имѣющій свою трагедію, имѣетъ и свое понятіе о трагическомъ совершенствѣ. У насъ еще нѣтъ ни того, ни другаго. Правда, что когда Французская школа у насъ господствовала, мы думали имѣть образца въ Озеровѣ; но съ тѣхъ поръ вкусъ нашей публики такъ измѣнился, что трагедіи Озерова не только не почитаются образцовыми, но врядъ ли изъ десяти читателей одинъ отдаетъ ему половину той справедливости, которую онъ заслуживаетъ; ибо оцѣнить красоту, начинающую увядать, еще труднѣе, чѣмъ отдать справедливость совершенной древности, или восхищаться посредственностію новою, и я увѣренъ, что большая часть нашихъ самозванцевъ-романтиковъ готова промѣнять всѣ лучшія созданія Расина за любовь Морлакскую пѣсню.

Чего же требуемъ мы теперь и чего должны мы требовать отъ трагедіи Русской? Нужна ли намъ трагедія Испанская? или Нѣмецкая? или Англійская? или Французская? или чисто Греческая? или составная изъ всѣхъ сихъ родовъ? и какого рода долженъ быть сей составъ? Сколько какихъ элементовъ должно входить въ нее? И нѣтъ ли элемента намъ исключительно свойственнаго? Вотъ вопросы, на которые критикъ и публика могутъ отвѣчать только отрицательно; прямой отвѣтъ на нихъ принадлежитъ поэту. Ибо ни въ какой литературѣ правила вкуса не предшествовали образцамъ. Не чужіе уроки, но собственная жизнь, собственные опыты должны научить насъ мыслить и судить. Покуда мы довольствуемся общими истинами, не примѣненными къ особенности нашего просвѣщенія, не извлеченными изъ коренныхъ потребностей нашего быта, до тѣхъ поръ мы еще не имѣемъ своего мнѣнія, либо имѣемъ ошибочное; не цѣнимъ хорошаго-приличнаго потому, что ищемъ невозможнаго-совершеннаго, либо слишкомъ цѣнимъ недостаточное потому, что смотримъ на него издали общей мысли, и вообще мѣряемъ себя на чужой аршинъ и твердимъ чужія правила, не понимая ихъ мѣстныхъ и временныхъ отношеній.

Это особенно ясно въ исторіи новѣйшей литературы, ибо мы видимъ, что въ каждомъ народѣ рожденію собственной словесности предшествовало поклоненіе чужой, уже развившейся. Но если первые

*) «Европеецъ» 1832 г., ч. I, № 1. «Обозрѣніе русской литературы за 1831 г.».

поэты были вездѣ подражателями, то естественно что первые судьи ихъ держались всегда чужаго кодекса и повторяли наизусть чужія правила, не спрашиваясь ни съ особенностями своего народа, ни съ его вкусомъ, ни съ его потребностями, ни съ его участіемъ. Не менѣе естественно и то, что для такихъ судей лучшими произведеніями казались всегда произведенія посредственныя; что лучшая часть публики никогда не была на ихъ сторонѣ, и что явленіе истиннаго гонія не столько поражало ихъ воображеніе, сколько удивляло ихъ умъ, смѣшивая всѣ разчеты ихъ прежнихъ теорій.

Только тогда, когда новыя поколѣнія, воспитанныя на образцахъ отечественныхъ, получаютъ самобытность вкуса и твердость мнѣнія, независимаго отъ чужеземныхъ вліяній, только тогда можетъ критика утвердиться на законахъ вѣрныхъ, строгихъ, обще-принятыхъ, благодѣтельныхъ для послѣдователей и страшныхъ для нарушителей. Но до тѣхъ поръ приговоръ литературнымъ произведеніямъ зависитъ почти исключительно отъ особеннаго вкуса особенныхъ идей, и только случайно сходится съ мнѣніемъ образованнаго большинства.

Вотъ одна изъ причинъ, почему у насъ до сихъ поръ еще нѣтъ критики. Да, я не знаю ни одного литературнаго сужденія, которое бы можно было принять за образецъ истиннаго воззрѣнія на нашу словесность. Не говоря уже о критикахъ, внутреннихъ пристрастіемъ, не говоря о безотчетныхъ похвалахъ или порицаніяхъ друзей и недруговъ, — возьмемъ тѣ сужденія объ литературѣ нашей, которыя составлены съ самою большею отчетливостью и съ самымъ меньшимъ пристрастіемъ, и мы вездѣ найдемъ зависимость мнѣнія отъ вліяній словесностей иностранныхъ. Тотъ судить насъ по законамъ, принятымъ въ литературѣ Французской, тотъ образцемъ своимъ беретъ литературу Нѣмецкую, тотъ Англійскую, и хвалить все, что сходно съ его идеаломъ, и порицаетъ все, что не сходно съ нимъ. Однимъ словомъ, нѣтъ ни одного критическаго сочиненія, которое бы не обнаруживало пристрастія автора къ той или другой иностранной словесности, пристрастія по большей части безотчетнаго, ибо тотъ же критикъ, который судить читателей нашихъ по законамъ чужимъ, обыкновенно самъ требуетъ отъ нихъ національности и укоряетъ за подражательность.

Самымъ лучшимъ подтвержденіемъ сказаннаго нами могутъ служить вышедшіе до сихъ поръ разборы Бориса Годунова. Иной критикъ,

помня Лагарпа, хвалить особенно тѣ сцены, которыя болѣе напоминають трагедію Французскую и порицаетъ тѣ, которымъ не видить примѣра у Французскихъ классиковъ. Другой въ честь Шлегеля требуетъ отъ Пушкина сходства съ Шекспиромъ, и упрекаетъ за все, чѣмъ поэтъ нашъ отличается отъ Англійскаго трагика, и восхищается только тѣмъ, что находитъ между обоими общаго. Каждый повидимому приноситъ свою систему, свой взглядъ на вещи, и ни одинъ, въ самомъ дѣлѣ, не имѣетъ своего взгляда, ибо каждый занялъ его у писателей иностранныхъ, иногда прямо, но чаще по наслышкѣ. И эта привычка смотрѣть на Русскую литературу сквозь чужіе очки иностранныхъ системъ до того ослѣпила нашихъ критиковъ, что они въ трагедіи Пушкина не только не замѣтили, въ чемъ состоятъ ея главные красоты и недостатки, но даже не поняли, въ чемъ состоитъ ея содержаніе.

Въ ней нѣтъ единства, говорятъ нѣкоторые изъ критиковъ, нѣтъ поэтической гармоніи, ибо главное лице: Борисъ, *заслонено* лицомъ второстепеннымъ, Отрепьевымъ.

Нѣтъ, говорятъ другіе, главное лице не Борисъ, а Самозванецъ; жаль только, что онъ не довольно развитъ, и что не весь интересъ сосредоточивается на немъ; ибо гдѣ нѣтъ единства интереса, тамъ нѣтъ стройности.

Вы ошибаетесь, говоритъ третій; интересъ *не долженъ* сосредоточиваться ни на Борисѣ, ни на самозванцѣ; трагедія Пушкина есть трагедія *историческая*, слѣдовательно не страсть, не характеръ, не лице должны быть главнымъ ея предметомъ, но цѣлое время, *въкз*. Пушкинъ то и сдѣлалъ: онъ представилъ въ трагедіи своей вѣрный очеркъ вѣка, сохранилъ всѣ его краски, всѣ особенности его цвѣта. Жаль только, что эта картина начертана поверхностно и не полно, ибо въ ней забыто многое характеристическое, и развито многое лишнее, наприм., характеръ Марини и т. п. Если бы Пушкинъ понялъ глубже время Бориса, онъ бы представилъ его полнѣе и оощутительнѣе, то есть, другими словами, подражая болѣе Шекспиру, Пушкинъ болѣе удовлетворилъ бы требованіямъ Шлегеля. Но забудемъ на время нашихъ критиковъ и Шекспира и Шлегеля и всѣ теоріи трагедій; посмотримъ на Бориса Годунова глазами, не предубѣжденными системою, и не заботясь о томъ, что *должно* быть средоточіемъ трагедіи, спросимъ самихъ себя, что составляетъ главный предметъ созданія Пушкина?

Очевидно, что и Борисъ, и самозванецъ, и Россія, и Польша, и народъ, и царедворцы, и монашеская келья, и Государственный совѣтъ — всѣ лица и всѣ сцены трагедіи развиты только въ *одномъ отношеніи*: въ отношеніи къ послѣдствіямъ царевубійства. Тѣнь умерщвленнаго Дмитрія царствуетъ въ трагедіи отъ начала до конца, управляетъ ходомъ всѣхъ событій, служитъ связью всѣмъ лицамъ и сценамъ, разставляетъ въ одну перспективу всѣ отдѣльныя группы, и различнымъ краскамъ даетъ одинъ общій тонъ, одинъ кровавый оттѣнокъ. Доказывать это значило бы переписать всю трагедію.

Но если убіеніе Дмитрія съ его государственными послѣдствіями составляетъ главную нить и главный узелъ созданія Пушкина, если критики не смотря на то искали средоточія трагедіи въ Борисѣ или въ самозванцѣ или въ жизни народа и т. п., то очевидно, что они по *совѣсти* не могли быть довольны поэтомъ и должны были находить въ немъ и нестройность, и неполноту, и мелкость, и незрѣлость, ибо при такомъ отношеніи судей къ художнику, чѣмъ болѣе гармоніи въ твореніи послѣдняго, тѣмъ оно кажется разногласнѣе для первыхъ, какъ вѣрно разчитанная перспектива для избравшаго ложный фокусъ.

Но если бы вмѣсто *фактическихъ* послѣдствій царевубійства Пушкинъ развилъ намъ болѣе его *психологическое* вліаніе на Бориса, какъ Шекспиръ въ Макбетъ; если бы вмѣсто Русскаго монаха, который въ темной кельѣ произноситъ надъ Годуновымъ приговоръ судьбы и потомства, поэтъ представилъ намъ Шекспировскихъ вѣдьмъ, или Мюльнерову волшебницу-цыганку, или пророческій сонъ:

Pendant l'horreur d'une profonde nuit,

тогда конечно онъ былъ бы скорѣе понять и принять съ большимъ восторгомъ. Но чтобы оцѣнить Годунова, какъ его создалъ Пушкинъ, надобно было отказаться отъ многихъ ученыхъ и школьных предразсудковъ, которые не уступаютъ никакимъ другимъ ни въ упорности, ни въ односторонности.

Большая часть трагедій, особенно новѣйшихъ, имѣетъ предметомъ дѣло совершающееся, или долженствующее совершиться. Трагедія Пушкина развиваетъ послѣдствія дѣла уже совершеннаго, и преступленіе Бориса является не какъ *дѣйствіе*, но какъ сила, какъ мысль, которая обнаруживается мало по малу, то въ шопотѣ царе-

дворца, то въ тихихъ воспоминаніяхъ отшельника, то въ одинокихъ мечтахъ Григорія, то въ силѣ и успѣхахъ Самозванца, то въ ропотѣ придворномъ, то въ волненіяхъ народа, то наконецъ въ громкомъ ниспроверженіи неправедно царствовавшаго дома. Это постепенное возрастаніе коренной мысли въ событіяхъ разнородныхъ, но связанныхъ между собою однимъ источникомъ, даетъ ей характеръ сильно-трагическій и, такимъ образомъ, позволяетъ ей заступитъ мѣсто господствующаго лица, или страсти, или поступка. Такое трагическое воплощеніе мысли болѣе свойственно древнимъ, чѣмъ новѣйшимъ. Однако мы могли бы найти его и въ новѣйшихъ трагедіяхъ, наприм., въ Мессинской невѣстѣ, въ Фаустѣ, въ Манфредѣ; но мы боимся сравненій: гдѣ дѣло идетъ о созданіи новомъ, примѣръ легче можетъ сойтъ, чѣмъ навести на истинное воззрѣніе.

Согласимся однако, что такого рода трагедія, гдѣ главная пружина не страсть, а мысль, по сущности своей не можетъ быть понятна большинствомъ нашей публики; ибо большинство у насъ не толпа, не народъ, наслаждающійся безотчетно, а гг. читатели, почитающіе себя образованными: они, *наслаждаясь*, хотятъ вмѣстѣ *судить*, и боятся прекраснаго-непонятнаго, какъ злаго искусителя, заставляющаго чувствовать противъ совѣсти. Если бы Пушкинъ вмѣсто Годунова написалъ Эсхиловскаго Промедея, гдѣ также развивается воплощеніе мысли, и гдѣ еще менѣе *ощутительной* связи между сценами, то вѣроятно трагедія его имѣла бы еще меньше успѣха, и ей не только бы отказали въ правѣ называться *трагедіей*, но врядъ ли бы признали въ ней какое-нибудь достоинство, ибо она написана явно противъ всѣхъ правилъ новѣйшей драмы. Я не говорю уже объ насъ, бѣдныхъ критикахъ; наше положеніе было бы тогда еще жалче: напрасно ученическимъ помазкомъ старались бы мы расписывать красоты великаго мастера, — намъ отвѣчали бы одно: Промеей не трагедія, это стихотвореніе безпримѣрное, какого нѣтъ ни у Нѣмцевъ, ни у Англичанъ, ни у Французовъ, ни даже у Испанцевъ, — какъ же вы хотите, чтобы мы судили объ ней? на чье мнѣніе можемъ мы сослаться? ибо извѣстно, что намъ самимъ

Не должно смѣть

Свое сужденіе имѣть.

Таково состояніе нашей литературной образованности. Я говорю это не какъ упрекъ публикѣ, но какъ *фактъ*, и болѣе какъ упрекъ

поэту, который не понимал своих читателей. — Конечно въ Годуновѣ Пушкинъ выше своей публики; но онъ былъ бы еще выше, если бы былъ общепонятнѣе. Своевременность столько же достоинство, сколько красота, и Промееей Эсхила въ наше время — былъ бы анахронизмомъ, слѣдовательно ошибкою*).

1833 г.

***) *Евгеній Онъгинъ*, романъ въ стихахъ. Сочиненіе Александра Пушкина. Спб. 1833 г. Въ т. А. Смирдина. 287 стр. in 8.

До сихъ поръ *Онъгинъ* продавался цѣною, малослышанною въ лѣтописяхъ книжной торговли: за 8 тетрадокъ надобно было платить 40 рублей! Много ли тутъ было лишняго сбора, можно судить по тому, что теперь *Онъгинъ*, съ дополненіями и примѣчаніями, продается по 12 рублей. Хвала Поэту, который сжалился надъ тощими карманами читающихъ людей! Веселіе Руси, въ которой богатые покупаютъ книги такъ мало, а небогатѣмъ покупать *Онъгина* было такъ неудобно!

Этимъ меркантильнымъ замѣчаніемъ могли бы и хотѣли бы мы ограничиться въ извѣстіи о *полномъ Онъгинѣ*. Но есть привязчивые люди, которые непремѣнно требуютъ отъ Журналиста сужде-

*) Сюда не вошли рецензіи за 1832 г., помѣщенные въ слѣдующихъ періодическихъ изданіяхъ: «Дамскомъ Журналѣ», часть 37, №№ 10 и 11, стран. 157—159 и 171—175 (о «Евгеніи Онъгинѣ»); тамъ же, часть 38, № 19, стран. 95—96 (о 3-й части стихотвореній А. Пушкина); «Литературныхъ прибавленіяхъ» къ «Русскому *Инваиду*», № 21, стран. 163 (По поводу «Повѣстей Вѣліана»); тамъ же, № 22, стран. 174—176 («Евгеніи Онъгинѣ»); тамъ же, № 33, стран. 262—263 (О стихотвореніяхъ А. С. Пушкина); «Сѣверной Пчелѣ», № 28 (краткая театральная рецензія о «Моцартѣ и Сальери»).

Въ 1832 году появились въ печати слѣдующія литературныя произведенія, относящіяся вообще къ Пушкину: «А. С. Пушкину (1826 г.) Посланіе Павла Катенина. Сочиненія и переводы въ стихахъ П. Катенина Спб. 1832. Ч. 1, стр. 98—100. (Отвѣтъ Пушкина на это посланіе помѣщенъ въ альманахѣ «Сѣверные цвѣты»). «А. С. Пушкину при прочтеніи сказки его о царѣ Салтанѣ». Н. Гвѣдича. Стихотворенія Н. Гвѣдича. Спб. 1832 г., стр. 187.

Примѣч. В. Земинскаго.

***) «Московский Телеграфъ» 1833 г., ч. 50, № 6 (мартъ). «Русская Литература» (Новыя книги).

нiя на заданную тему. «Какъ не сказать ничего о такомъ явленiи! Всѣ мы читали *Онѣгина* урывками, давно, и въ восемь лѣтъ не грѣхъ позабыть, что говорили о немъ прежде *Журналы*». Признаться, потери немного, если и забудутъ читатели всѣ сужденiя объ *Онѣгинѣ*. Онъ остался задачей нерѣшенной, и остался ею донынѣ. О немъ хотѣли разсуждать какъ о произведенiи полномъ, а Поэтъ и не думалъ о полнотѣ. Онъ хотѣлъ только имѣть раму, въ которую можно было бы вставлять ему свои сужденiя, свои картины, свои сердечныя эпиграммы и дружескiе мадригалы. Онъ достигъ своей цѣли. *Онѣгинъ* вѣрно служилъ ему, и Поэтъ свободно награждалъ его богатствами своего ума и своихъ чувствованiй. Какая неизгѣримая коллекцiя портретовъ, картинъ, рисунковъ и очерковъ, начиная отъ дяди старика, до Княгини Татьяны, отъ жизни Петербургскаго повѣсы, до деревенскаго быта Лариныхъ, отъ пламенныхъ обращенiй Поэта къ самому себѣ, до мимолетныхъ эпиграммъ на друзей и дамъ, на жителей большаго свѣта и степенныхъ помѣщиковъ, на сельскихъ домоводовъ и *Журналистовъ*! Сколько наблюденiй и замѣтокъ прелестныхъ, сколько ума и остроты, сколько души и чувства во всѣхъ страницахъ *Онѣгина*! Но въ подробностяхъ все достоинство этого прихотливаго созданiя. Спрашиваемъ: какая общая мысль остается въ душѣ послѣ *Онѣгина*? Никакой. Кто не скажетъ, что *Онѣгинъ* изобилуетъ красотою разнообразными; но все это въ отрывкахъ, въ отдѣльныхъ стихахъ, въ эпизодахъ къ чему-то, чего нѣтъ и не будетъ. Слѣдственно, при созданiи *Онѣгина* Поэтъ не имѣлъ никакой мысли; начавши писать, онъ не зналъ чѣмъ кончить, и оканчивая могъ писать еще столько же главъ, не вредя общности сочиненiя, потому что ея нѣтъ. Любовь Татьяны къ Онѣгину и Онѣгина къ Татьянѣ, конечно основа слишкомъ слабая, даже для чувствительнаго романа. Но... при встрѣчѣ съ Онѣгинимъ, не хочется говорить худо о немъ. Мы такъ много провели съ нимъ минутъ усладительныхъ!

Въ нынѣшнемъ изданiи, въ концѣ книги Поэтъ прибавилъ нѣсколько новыхъ примѣчанiй и разбросанныхъ по *Журналамъ* отрывковъ изъ *Онѣгина*, не вошедшихъ въ составъ цѣлаго. Хотя Авторъ и увѣряетъ, что они принадлежатъ къ ненапечатанной главѣ, но безъ всякаго волшебства можно угадать, что это просто отрывки. Въ заключенiе нашей статьи выпишемъ одинъ изъ нихъ. Онѣгинъ посѣщаетъ Тавриду.

Воображеню край свѣщенный:
Съ Атридомъ спорить тамъ Пиладъ,
Тамъ закололся Митридатъ,
Тамъ пѣлъ Мицкевичъ вдохновенный,
И, посреди прибрежныхъ скалъ,
Свою Литву воспоминалъ.

—
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда васъ видишь съ корабля,
При свѣтѣ утренней Киприды,
Какъ васъ впервой увидѣлъ я.
Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачномъ:
На небѣ синемъ и прозрачномъ
Сіяли груди вашихъ горъ,
Долинъ, деревьевъ, сель узоръ
Разостланъ былъ передо мною.
А тамъ, межъ хижинокъ татаръ
Какой во мнѣ проснулся жаръ!
Какой волшебною тоскою
Стѣснялась пламенная грудь!
Но, Муза! прошлое забудь.

—
Какія-бъ чувства ни таились
Тогда во мнѣ — теперь ихъ нѣтъ:
Они прошли, иль измѣнились....
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
Въ ту пору мнѣ вазались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груди скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безъимянные страданья....
Другіе дни, другіе сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтической бокаль
Воды я много подмѣшалъ.

—
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи,
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ;

Теперь мила мнѣ балабайка,
 Да пьяный топотъ трепака
 Передъ порогомъ кабака.
 Мой идеалъ теперь — хозяйка,
 Мои желанія — покой,
 Да шей горшокъ, да самъ большой.

Порой дождливою намедни
 Я, завернувъ на скотный дворъ...
 Тьфу! прозаическія бредни,
 Фламандской школы пестрый соръ!
 Таковъ ли былъ я расцвѣтая?
 Скажи, фонтанъ Бахчисарая!
 Такія-ль мысли мнѣ на умъ
 Навелъ твой безконечный шумъ,
 Когда безмолвно предъ тобою
 Зарему я воображалъ?...

* * *

*) *О характеръ и достоинствъ Поэзіи А. С. Пушкина.*

«И остави намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ».

Можно ли быть безпристрастнымъ въ сужденіяхъ о современныхъ Писателяхъ? — этотъ вопросъ разрѣшается другимъ: можно ли быть совѣстнымъ? Но въ свѣтъ на все свои предразсудки. Есть весьма много порядочныхъ людей, честныхъ во всѣхъ отношеніяхъ, которые однакожъ не почитаютъ безчестнымъ поступкомъ: обмануть пріятеля при продажѣ лошади, украсть охотничью собаку и завладѣть чужою книгою. Точно такъ же и въ Литературѣ: человекъ, добросовѣстный во всѣхъ случаяхъ жизни, не почитаетъ грѣхомъ позабавиться насчетъ Автора, выставить его въ смѣшномъ видѣ, и даже, въ порывѣ гнѣва, лишить всякаго достоинства, хотя этотъ критикъ и убѣжденъ внутренно, что осмѣиваемый или бранимый имъ Авторъ достоинъ похвалъ и уваженія. Оскорбленная личность и духъ партій извиняютъ такіе противосовѣстные поступки въ Литературѣ, точно такъ же, какъ и обманъ и воровство прикрывается

*) «Сынъ Отечества» и «Сѣверный Архивъ» 1833 г., т. 33, № 6. Статья О. Б. (Булгарина?), подъ заглавіемъ: «Письма о Русской Литературѣ».

именемъ *удальства* между псовыми и лошадиными охотниками. По моему, и то и другое дурно, негодно, недостойно ни Литератора, ни благовоспитаннаго, деликатнаго человѣка. — Не хочу болѣе объясняться объ этомъ предметѣ и приступлю къ дѣлу, съ твердою волею говорить то, что думаю и въ чемъ убѣжденъ душевно.

Пушкинъ составляетъ эпоху въ Исторіи нашей Литературы. — Съ Державинимъ кончилась у насъ Поэзія классическая и лирическая; Жуковский создалъ новую гармонію поэтическаго языка и показалъ намъ образцы Германскаго Романтизма; гений Батюшкова, такъ сказать, расправилъ крылья, чтобъ взлетѣть выше своего вѣка, вспорхнулъ, и остался между доломъ и высью.

Вокругъ Жуковского и Батюшкова загудѣли и заплѣли на новый ладъ новыя и старыя Поэты, которые, не двигаясь съ мѣста, думали, что идутъ впередъ новымъ путемъ. — Образованная публика, знакомая съ чужеземными произведеніями, требовала новаго рода въ Поэзіи и въ Литературѣ вообще; остальная часть Русскихъ читателей предчувствовала, что должно быть что-нибудь новое. Всѣ ждали. Явился Пушкинъ. Едва перешагнувъ за рубежъ дѣтскаго возраста, онъ исполинскими шагами опередилъ всѣхъ своихъ предшественниковъ и занялъ первое мѣсто непосредственно послѣ Державина и Крылова, двухъ Поэтовъ, съ которыми Пушкинъ не входилъ въ состязаніе. Публика, оставивъ прежнихъ своихъ идоловъ, бросилась къ Пушкину, который заговорилъ съ нею новымъ языкомъ и представилъ ей Поэзію въ новыхъ формахъ, возбудилъ новыя ощущенія и новыя мысли.

Этого переворота, этого впечатлѣнія нельзя было произвестъ, не имѣя истиннаго гениа; а потому дарованіе Пушкина столь же велико, какъ и заслуга. Но сіе дарованіе и сія заслуга болѣе велики *относительно*, нежели *положительно*, т.-е. то, что Пушкинъ сдѣлалъ въ Россіи и для Россіи, не можетъ сравниться съ тѣмъ, что сдѣлали гении-преобразователи въ Англіи, Германіи и Франціи. Удерживаюсь отъ всякихъ сравненій и постараюсь разобрать отдѣльно и въ общности характеръ Поэзіи Пушкина.

Сію Поэзію должно разсматривать: 1) въ отношеніи оригинальности или подлинности; 2) въ мелкихъ или отдѣльныхъ стихотвореніяхъ; 3) въ Поэмахъ, и 4) въ Драмѣ. — Талантъ Пушкина не одинаковъ въ мелкихъ стихотвореніяхъ, Поэмахъ и въ Драмѣ, и даже характеръ его Поэзіи столь различенъ въ сихъ трехъ ро-

дахъ, что кажется, будто въ каждомъ изъ нихъ дѣйствуетъ, мыслить и чувствуетъ другой человѣкъ, вдохновенный другимъ гениемъ. Въ мелкихъ стихотвореніяхъ Поэтъ паритъ непрерывно въ высотахъ, обозначенныхъ Байрономъ. Въ Поэмахъ Пушкинъ, возносясь порывами въ небеса, спускается частенько на землю и идетъ, иногда блуждая по стезямъ чуждымъ, иногда останавливаясь, чтобъ собраться съ духомъ. Въ Драмѣ Поэтъ еще не опредѣлилъ себѣ мѣста и носится между небомъ и землею, чаще однакожь придерживаясь земли, нежели увлекаясь въ высъ. — Но во всѣхъ сихъ родахъ Пушкинъ стоитъ выше всѣхъ Поэтовъ въ Россіи, и если мнѣ укажутъ нѣсколько мелкихъ пьесъ другихъ Поэтовъ одинаковаго достоинства съ произведеніями Пушкина, или даже выше ихъ достоинствомъ, то все это еще не отниметъ первенства у Пушкина. Что ни говори, какъ ни раздробляйся въ сужденіяхъ и эстетическихъ тонкостяхъ, а все-таки Пушкинъ со всѣми своими красотами и недостатками (скажу даже, съ важными недостатками), останется первымъ русскимъ Поэтомъ. — Быть первымъ современнымъ Поэтомъ есть то же, что быть первымъ между всѣми Русскими Поэтами, отъ временъ Пѣсни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года, ибо, что пѣли наши Баяны, того мы не знаемъ, а что вылаживали на риѣмы наши дѣды и сверстники нашихъ отцевъ, того никакъ нельзя назвать Поэзіей въ философическомъ смыслѣ сего слова. Исключаю разъ навсегда Державина *) и Крылова. Они въ своемъ родѣ первые, неподражаемы и неприкосновенны.

1. *Взглядъ на Поэзію Пушкина въ отношеніи къ оригинальности.*

Оригиналенъ ли Пушкинъ? — Послушайте нашихъ Словесниковъ, нашихъ умниковъ, нашихъ ученыхъ критиковъ, они вамъ скажутъ, что Пушкинъ — *подражатель Байрона*. — Почему? Потому, что Пушкинъ пишетъ въ такомъ же неопредѣленномъ родѣ, какъ Байронъ; что Пушкинъ такъ же, какъ и Байронъ, не досказываетъ, не обрисовываетъ вполне, не кончаетъ, избираетъ въ герои своихъ Поэмъ не князей и рыцарей, но людей простаго званія, и изображаетъ случаи, обыкновенные въ частной жизни, или такіе, о которыхъ прежде не смѣли даже рассказывать въ гостинныхъ. Вотъ,

*) О Державинѣ говорится только какъ о Лирикѣ, а о Крыловѣ, какъ о Баснописцѣ. Соч.

на чемъ основаны улики въ подражаніи! — А по моему мнѣнію, Пушкинъ есть только *сладствіе* вѣка и Поэзіи Байроновской, но самъ онъ оригиналенъ, а не подражатель. Скажу болѣе (однакожь не въ укоръ Поэту), Пушкинъ не читалъ даже въ подлинникѣ произведеній Байрона, и знаетъ ихъ только по Французскимъ переводамъ прозою. Пушкинъ даже не могъ постигнуть всѣхъ красотъ Нѣмецкой Поэзіи, ибо онъ не столь силенъ въ Нѣмецкомъ языкѣ, чтобъ понимать красоты питического языка *). Пушкинъ слышалъ вдали невнятные звуки Поэзіи Байрона, Гёте и Шиллера, и чувствуя, что душа его полна гармоніи, полна чувства и образовъ, вздумалъ испытать силы свои, ударилъ въ струну — и раздалась Поэзія — Поэзія его собственная, не Байроновская, не Гётевская, не Шиллеровская, но Поэзія своего вѣка и въ духѣ времени, Эзопъ и Пильпай писали Басни въ глубокой древности; ибо первородная Литература есть не что иное, какъ басня и апологъ. Но ни Лафонтенъ, ни Крыловъ не суть подражатели; они не создали рода, но суть оригинальные Баснописцы, ибо въ Басняхъ ихъ изображены нравы, странности и порывы ихъ современниковъ, и описаны въ духѣ народномъ. Точно такъ же и Пушкинъ, хотя въ родѣ своей Поэзіи и склоняется болѣе къ роду Байроновскому, но въ немъ кипитъ Русскій умъ, Русское чувство, вездѣ видна наша Русская современность, а въ языкѣ духъ богатаго, неисчерпаемаго Русскаго слова со всею его гибкостью и красотю. Россини есть *сладствіе* музыки Моцарта; тактика Наполеона есть *сладствіе* тактики Фридриха Великаго; Гёте и Шиллеръ есть *сладствія* Поэзіи Оссіана и Шекспира; Байронъ есть *сладствіе* Поэзіи Оссіана, Шекспира, Гёте и Шиллера, перелитой въ форму *новаго вѣка*. Пушкинъ (повторяю) есть *сладствіе* Байрона. — Но ни Россини не есть подражатель Моцарта, ни Наполеонъ Фридриха, ни Гёте и Шиллеръ подражатели Шекспира и Оссіана, ни Байронъ подражатель четырехъ послѣднихъ, ни Пушкинъ подражатель Байрона. Они всѣ оригинальны, ибо каждый изъ нихъ дѣйствовалъ своимъ умомъ, своимъ чувствомъ, сообразно потребностямъ своего вѣка, современно и для современ-

*) Можетъ быть, А. С. Пушкинъ теперь и понимаетъ совершенно Байрона и Гёте въ подлинникѣ, но когда онъ началъ писать, онъ не зналъ столько ни Англійскаго, ни Нѣмецкаго языка, чтобъ понимать высшую Поэзію. Это всѣмъ извѣстно. Соч.

никовъ. Болѣе не хочу распространяться въ доказательствахъ. Кто въ состояніи понять меня, тотъ уже понялъ, а для тупоумныхъ, я не возьму и пера въ руки!

Но оригинальность Пушкина не столь ощутительна, какъ вышеупомянутыхъ иною Поэтовъ, потому именно, что Пушкинъ ниже ихъ достоинствомъ своихъ произведеній, а оригинальность Байрона, Гёте, Шиллера, отъ того столь блистательна, столь разительна, и преимущество ихъ предъ прочими современными Поэтами отъ того столь явственно, что умъ сихъ великихъ Поэтовъ упитанъ былъ Науками, а душа ихъ созрѣла въ созерцаніи Природы и человѣчества. Вообще всѣ великіе Поэты были выше своихъ современниковъ образованностью и познаніями, и даже Шекспиръ, котораго многіе Критики упрекаютъ въ невѣжествѣ, заключая о семъ по анахронизмамъ, встрѣчающимся въ его сочиненіяхъ, даже Шекспиръ постигалъ духъ Исторіи своего отечества лучше, нежели сухіе его Критики, и, конечно, не уступалъ въ другихъ познаніяхъ образованнѣйшимъ мужамъ своего времени. Оссианъ, если онъ существовалъ, безъ сомнѣнія былъ выше своихъ дикихъ соотечественниковъ своими познаніями, столько же, какъ и силою піитическаго дара. Непремѣнная аксіома, что піитическій даръ не можетъ вполнѣ развиться, возмужать, укрѣпиться въ самостоятельности, быть подвластнымъ уму до возраста старости (какъ у Гёте), и вознестись до высшей степени совершенства, если существо, надѣленное отъ Природы піитическимъ даромъ, отдѣляясь отъ міра Наукъ, ввергнется въ пучину свѣтской жизни, и только въ поры отдохновенія отъ заботъ будетъ ждать сошествія вдохновенія. Правда, что геній ищетъ пищи въ одной Природѣ; но ученіе и созерцаніе есть не отдаленіе отъ Природы, а напротивъ того ближайшее къ ней руководство, вѣрнѣйшій путь. — Вдохновеніе является въ уединеніи и испосылается Природою. Это руда. Геній, при помощи Искусства, переплавливаетъ сію богатую руду въ горнилѣ *познаній*, и тогда-то мысль и чувство, сливаясь въ форму оригинальности, образуютъ стройное созданіе, которое, переживая вѣки, сообщаетъ безсмертіе своему творцу и даетъ характеръ своему вѣку.

И такъ, хотя Пушкинъ оригиналенъ, но оригинальность его не принесетъ такихъ плодовъ, какіе принесла оригинальность Байрона. Есть и будетъ множество подражателей Пушкина (несносное племя!), но не будетъ *сладствія* Пушкина, какъ онъ самъ есть *сладствіе*

Байрона. Пушкинъ плѣнилъ, восхитилъ своихъ современниковъ научилъ ихъ писать гладкіе, чистые стихи, далъ имъ почувствовать сладость нашего языка, но не увлекъ за собою своего вѣка, не установилъ законовъ вкуса, не образовалъ своей школы, какъ Байронъ и Гёте. Пушкинъ былъ самъ согрѣтъ тѣмъ небеснымъ пламенемъ, которое должно оживить нашу Литературу; но мы еще ждемъ своего Прометея, долженствующаго возжечь свѣтильникъ небеснаго огня, для одушевленія цѣлаго поколѣнія. Почему оригинальность Пушкина не будетъ имѣть тѣхъ послѣдствій, какія произвела оригинальность Байрона, Гёте и Шиллера, объяснено тѣмъ, что сказано мною о сихъ трехъ Поэтахъ въ отношеніи къ ихъ познаніямъ и въ ихъ созерцательной жизни. Дальнѣйшія объясненія почитаю излишними.

Разсмотрѣвъ характеръ Поэзіи Пушкина со стороны оригинальности, которой вообще такъ мало въ Русской Литературѣ, и отдавая полную справедливость его дарованію и заслугамъ, не думаю, чтобы тѣ даже, которые будутъ не согласны со мною, нашли въ моемъ мнѣніи малѣйшее желаніе унижить нашего Поэта. Сохрани меня Богъ отъ этого! Размышляя о Поэзіи Пушкина въ тишинѣ моего кабинета, я воображалъ, что цѣлыя вѣки раздѣляютъ насъ, и, смотря на Поэта, вовсе не видѣлъ моего современника. Въ слѣдующихъ письмахъ разсмотрю *три рода* его Поэзіи; по предувѣдомляю, что не стану разбирать ни отдѣльныхъ стиховъ, ни отдѣльныхъ сочиненій, а только буду смотрѣть на общій ихъ характеръ. Не хочу даже имѣть теперь передъ глазами его сочиненій, чтобъ не увлекаться ни красотами, ни недостатками, а пишу изъ памяти и по чувству, припоминая тѣ впечатлѣнія, которыя произвели во мнѣ неоднократно прочитанныя его творенія, и основываясь на томъ, что вѣздалось въ моемъ сердцѣ и въ умѣ. Со временемъ разберу и отдѣльно лучшія его произведенія, но это будетъ трудъ другаго рода и другаго вида. Вообразите себѣ странника, который, возвратясь изъ путешествія, рассказываетъ о томъ, что онъ видѣлъ замѣчательнаго, и гдѣ болѣе ощущалъ впечатлѣній. Въ портфель у странника хранятся его записки и рисунки, но онъ рассказываетъ наизусть, и припоминая только то, что сильнѣе поразило его. Слушая его, вы можете опредѣлить характеръ его путешествія. Въ такомъ точно положеніи нахожусь теперь я, бесѣдуя о характерѣ Поэзіи Пушкина.

2. *О мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина.*

Человѣкъ слабъ на добро, но твердъ на зло. Добродѣтель дѣйствуетъ на душу его, какъ вѣшній вѣтерокъ, а злоба, какъ буря, которая наконецъ уноситъ душу въ бездну злодѣйствъ. Есть люди добрые, но они страдаютъ подъ игомъ чуждой злобы и угнетенія, и они до тѣхъ поръ не будутъ счастливы на землѣ, пока страсти и сила не покорятся разуму, и пока чувство человѣчества не преодолѣетъ эгоизма. (Долго ждать!).

Вотъ основная идея Поэзіи нашего вѣка. Теперь не мѣсто разсуждать, справедлива ли сія мысль или нѣтъ. Сія идея представляется въ нынѣшней Литературѣ въ тысячѣ разнообразныхъ видовъ, но не измѣняется въ существѣ своемъ. — Главная ея черта есть выраженіе презрѣнія къ человѣчеству, вмѣстѣ съ состраданіемъ къ его жалкой участи. На первомъ планѣ картины помѣщаются сильный, торжествующій порокъ и безпомощная, страдающая добродѣтель. Впечатлѣніе, производимое сею Поэзією, есть ужасъ и жалость; слѣдствіе сей Поэзіи есть уныніе и грусть.

Байрона почитаютъ основателемъ сей новой школы, избрѣтателемъ сего новаго рода Поэзіи. — Мнѣніе сіе основано на томъ, что Байронъ превзошелъ всѣхъ современныхъ Поэтовъ и сталъ на высшей степени совершенства. По моему мнѣнію, Байронъ есть только краснорѣчивый выразитель идей и чувствованій нашего вѣка, создавшаго сію Поэзію необыкновенными событіями. Мгновенное ниспроверженіе царствъ, троновъ, имуществъ, законовъ, обычаевъ, нравовъ; непрерывные ужасы войны, казни, убійства въ теченіе послѣднихъ тридцати лѣтъ предъ появленіемъ Байрона, торжество дерзости, злобы, порока, бѣдствія народныя и частныя — произвели тѣ ощущенія и тѣ идеи, которыя, сосредоточась въ душѣ Байрона, отразились изъ нея въ пѣтическихъ образахъ и гармоническихъ звукахъ. Надобно было небеснаго устройства ума и почти сверхъестественной силы души, чтобъ уловить, удержать и столь естественно передать глубокія идеи и ужасныя чувства чуднаго нашего вѣка. Байронъ есть нравственный феноменъ, настоящее чудо. Наполеонъ Поэзіи!

Идея и чувство той же самой Поэзіи потрясли душу Пушкина, но они раздались въ ней не сильно, а потому и отразились невнятно, неявственно. Но какъ эти звуки были первые на Русскомъ языкѣ, котораго красота, сила и гибкость до сихъ поръ употреба-

лась почти исключительно на однѣ блестящія, то слухъ цѣлой Россіи обратился къ Поэту своего вѣка. Начало прельстило, удивило всѣхъ и породило высокія надежды. Не въ гнѣвъ будь сказано Поэту — онъ не исполнилъ всѣхъ нашихъ надеждъ, и я укоряю его потому только, что, по моему убѣжденію, онъ добровольно отогналъ отъ себя современное вдохновеніе, и ища новыхъ путей, сбился съ пути, указаннаго ему Природой, пути, на которомъ тщетно и печально ждалъ его покинутый имъ геній!

Сей геній, сіе современное вдохновеніе, сіе чувство и сія идея нашего вѣка, болѣе всего пробивается у Пушкина въ мелкихъ его стихотвореніяхъ, въ тѣхъ пьесахъ, которыя родились въ то время, когда, такъ сказать, геній исторгалъ душу Поэта изъ свѣтскихъ отношеній и уносилъ въ горнія. — Въ нѣкоторыхъ изъ сихъ пьесъ Пушкинъ достигаетъ до высокой точки піитическаго величія. Таково, на примѣръ, стихотвореніе его *Демонъ*, подъ которымъ Байронъ могъ бы, безъ обиды своего таланта, подписать свое имя. Сія пьеса, имѣющая не болѣе 24-хъ стиховъ, есть цѣлая Поэма. Содержаніе ея: борьба піитической души съ эгоизмомъ. Поэму сію можно было бы растянуть такъ широко, какъ *Иліаду*, и все-таки нельзя было сказать ничего сильнѣе того, что сказано въ маленькой пьесѣ изъ 24 стиховъ. — Изъ печатныхъ мелкихъ пьесъ Пушкина я ставлю *Демона* выше всѣхъ. Никто не сдѣлалъ столько вреда таланту Пушкина, какъ хвалители его, отъ того именно, что они не постигли ни глубины лучшихъ его произведеній, ни направленія его таланта. Литературные противники Пушкина, жалкіе поборники мнимаго Классицизма, школяры, невѣжды, эти отставшіе отъ стада журавли, и даже личные враги Пушкина не могли повредить ему въ общемъ мнѣніи. Говорить, что Пушкинъ дурной Поэтъ, есть то же, что написать себѣ на лбу адскимъ камнемъ (*lapis infernalis*): я дуракъ. Такъ и сдѣлали мнимые Классики! Сказать, что такая-то пьеса или Поэма Пушкина дурна, не значитъ уронить его дарованіе, ибо и геніи производятъ дурныя вещи, когда идутъ не своимъ природнымъ путемъ и берутся не за свое. Байронъ былъ, говорятъ, плохимъ парламентскимъ ораторомъ и не могъ написать повѣсти прозою. Слѣдовательно, писавшіе *противъ* Пушкина не повредили ему, а напротивъ того, могли принести пользу. Хвалители же его, которымъ онъ вѣрилъ (потому, что весьма пріятно вѣрить похвалѣ и дружбѣ), полагая

все достоинство Поэзіи въ гармоніи языка и въ живости картинъ, отвлекли Пушкина отъ Поэзіи идей и чувствованій и употребили всё свои усилія, чтобы сдѣлать изъ него *только Артиста*, Музыканта и Живописца. Наши Эстетики и Поэты (разумѣется, не всё) никакъ не поняли, что гармонія языка и Живопись суть второстепенныя вспомогательныя средства новой Поэзіи идей и чувствованій, и что въ наше время Писатель безъ мыслей, безъ великихъ философическихъ и нравственныхъ истинъ, безъ сильныхъ ощущеній — есть просто гударь, хотя бы его рѣшмы были сладостѣе Россиніевой музыки, а образы свѣтлѣе Грѣзовой головки. — Разумѣется, что нашимъ Критикамъ и хвалителямъ Пушкина болѣе нравится: *Бѣсы*, *Русалка*, *Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ* и т. п., нежели *Демонъ*, нежели *Андрей Шенъе*, нежели *Вакхическая пѣсня**), *Война*, Элегія: *Послано дневное свѣтло* и проч., *Желаніе Славы*, *Къ Овидію*, *Уединеніе*, *Къ морю*, *Наполеонъ*, *Птичка*, *Посланіе къ Личинію*, *Къ Козлову*, *Къ Прелестницѣ*, *Къ Ч—ву* (начинающееся: Въ странѣ, гдѣ я забылъ, и проч.), *Воспоминаніе* (первый стихъ: Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день), *Городъ пышный*, и еще нѣсколько рукописныхъ и печатныхъ стихотвореній, которыхъ теперь не припомню.

Трудно или, лучше сказать, почти невозможно избѣгать впечатлѣній окружающаго насъ, особенно, когда окружающія насъ лица и предметы милы сердцу или пріятны вкусу. — Сильная душа и высокій разумъ Байрона расторгли всё узы, но почти всё другіе Поэты жертвовали слабости нашей природы и увлекались впечатлѣніями прошлаго и окружающаго. Пушкинъ, видя непрерывно вокругъ себя Тиртеевъ въ бумажныхъ латахъ, бряцающихъ на лирѣ съ деревянными струнами, украшенныхъ тафтяными лаврами изъ цвѣточного магазина, слыша напѣвы (*безъ словъ*) наряженныхъ въ театральные костюмы Бардовъ, Пушкинъ не могъ выдержать искушенія, пѣлъ на тотъ же ладъ, хотя и лучше прочихъ, и первенство свое принялъ за успѣхъ. Дружина Поэта заглушила похвалами своими вопль истины, пробивавшійся изъ благонамѣренныхъ критикъ, и Поэтъ смѣшалъ друзей своего таланта съ своими недругами. Отъ стеченія сихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ про-

*) Пѣсна сія состоитъ изъ двухъ куплетовъ: первый обыкновенный, второй заключаетъ въ себѣ высокое чувство и глубокий разумъ. Соч.

изошелъ вредъ не таланту Поэта, но истиннымъ цѣнителямъ сего таланта, лишившимся лучшаго, хорошаго! Множество произведеній обыкновенныхъ ослабило вниманіе публики къ Поэту, а нѣкоторые изъ недалководидныхъ Критиковъ и недоброжелатели Пушкина уже провозгласили совершенный упадокъ его дарованія. — Правда, что надобна была сильная вѣра въ сіе дарованіе, чтобъ не усомниться въ его унадеѣ послѣ такой пьесы, какова, напримѣръ: *Посланіе къ Князю Юсупову!* — Но я пребылъ вѣренъ моему мнѣнію, что дарованіе Пушкина только сбилось съ пути, начертаннаго ему Природою, а не погубило, и Альманахъ *Сѣверные цвѣты* на 1832 годъ, обрадовалъ меня чрезвычайно, убѣдивъ, что я не ошибся въ моей вѣрѣ. — *Моцартъ и Сальери, Эхо, Анчаръ, Древо яда*, суть произведенія дарованія юнаго, сильнаго разумомъ и душою, суть отголоски Поэзіи современной, высокой, трогательной, томной, грустной, но крѣпительной и неувядаемой. Звуки сіи не гибнуть въ воздухѣ, слова не тлѣютъ вмѣстѣ съ бумагою. Такая Поэзія начертываетъ свои знаки въ сердцѣ человѣческомъ, которое тверже сохраняетъ все высокое и сильное, нежели гранитъ и мѣдь.

И такъ, утѣштесь, любители Поэзіи высокой, благородной, утѣштесь, истинные друзья таланта Пушкина! Сей талантъ не упалъ; онъ еще полонъ силы и жизни, но онъ, подобно соловью, теперь не въ порѣ и не на мѣстѣ пѣнія.

Остается рѣшить вопросъ: почему характеръ Поэзіи современной выразился съ болѣею силою въ мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина, нежели въ другихъ его произведеніяхъ, стоившихъ ему, можетъ быть, болѣе труда и болѣе обдуманности? Отвѣчаю рѣшительно: отъ того, что лучшія мелкія стихотворенія Пушкина суть не плоды чуждыхъ совѣтовъ, не слѣдствіе бесѣдъ и совѣщаній, но, такъ сказать, невольныя вспышки его природнаго генія, молнія отъ столбеновенія идей и чувствованій, самородный плодъ почвы. — И потому-то мелкія стихотворенія Пушкина — суть тѣ таинственныя буквы, которыми начертанъ *характеръ его Поэзіи*, суть тѣ числа на мѣрѣ, которыми опредѣляется *величіе его дарованія*. — Мнѣ кажется, что я разгадалъ и буквы и числа и потому полагаю, что характеръ Поэзіи Пушкина — есть *современность* (опредѣленная мною выше), а мѣсто его между нашими современными Поэтами — *первое*, и *не последнее* въ небольшомъ кругу Поэтовъ всемірныхъ. Скажу болѣе: я вѣрю, что отъ его собственной воли зависитъ удержаться,

возвыситься или пасть. Геній его просится на просторъ... подъ небеса!...

„Мнѣ душно здѣсь, я въ лѣсъ хочу!“

Θ. Б.

* * *

*) Читая продолженіе письма о Русской Литтературѣ («Сынъ Отечества» и «Сѣверный Архивъ» на 1833 годъ, № 6, стр. 1) *невольнo хочется* продолжать и выписки изъ него: такъ оно искучительно!

«Есть и будетъ множество подражателей Пушкина (несносное племя!), но не будетъ *слѣдствія* Пушкина, какъ онъ самъ есть *слѣдствіе* Байрона» (стр. 416). Ежели въ *философическомъ смыслѣ* и есть смыслъ въ словѣ: *слѣдствія*, здѣсь употребленномъ, то къ чему же отчаяніе: «Не будетъ *слѣдствія* Пушкина?» Еще труднѣе было ожидать *слѣдствія* Байрона. Но родился Пушкинъ — и *явилось слѣдствіе*, которое (между нами) — ежели рѣчь идетъ не о *потомкахъ* какого-либо человѣка — едва ли не то же, что *подражаніе*? Ибо мы подражаемъ тому или другому по *чувству*, влекущему насъ болѣе къ тому, нежели къ другому: не есть ли это *слѣдствіе* одинакаго расположенія души и сердца? *Успѣхъ* — другое дѣло. «Пушкинъ былъ самъ согрѣтъ тѣмъ небеснымъ пламенемъ, которое должно оживить нашу Литтературу; но мы еще ждемъ своего Прометей, долженствующаго восжечь свѣтильникъ небеснаго огня для одушевленія цѣлаго поколѣнія» (стр. 317). *Слѣдовательно* — не дождемся; ибо ежели ни Пушкинъ, *самъ согрѣтый* небеснымъ пламенемъ (казалось бы, чѣго-жъ болѣе?), ни Державинъ, ни Крыловъ, въ своемъ родѣ *первые, неподражаемы и неприкосновенны*, не суть еще *Прометей*: то какаѣ же надежда?... «Не думаю, чтобъ тѣ даже, которые будутъ не согласны со мною, нашли въ моемъ мнѣніи малѣйшее желаніе унижить нашего Поэта» (тамъ же). Кому-жъ это придетъ въ голову, когда мы уже видѣли *мнѣніе* ваше, что «Пушкинъ... останется первымъ современнымъ Поэтомъ, а быть первымъ» (продолжаете вы) «современнымъ Поэтомъ есть то же, что быть первымъ между всѣми Русскими По-

*) «Дамскій Журналь» 1833 г., №№: 13, 14, 16, 18, 20 и 21. Разборъ «Писемъ о Русской Литтературѣ», помѣщенныхъ въ «Сынъ Отечества».

этами, отъ временъ Пѣсни о полку Игоревомъ, до 1-го января 1833 года?»

Но вотъ что странно: на другой страницѣ послѣ сей *аксіомы* вы говорите: «Размышляя о Поэзіи Пушкина въ тишинѣ моего кабинета, я воображалъ, что цѣлыя вѣки раздѣляютъ насъ, и, смотря на Поэта, вовсе не видѣлъ» (вм. не видалъ) «моего современника. Въ слѣдующихъ письмахъ рассмотрю *три рода* его Поэзіи». И мы рассмотримъ ваше рассмотрѣніе; а между тѣмъ спрашиваемъ: гдѣ же вы были тогда, какъ находили Пушкина первымъ Русскимъ современнымъ поэтомъ? и отъ чего же эта современность исчезла въ *тишинѣ кабинета*? Что за волшебный кабинетъ?...

«Не въ гнѣвъ будь сказано Поэту» (Пушкину), «онъ не исполнилъ всѣхъ нашихъ надеждъ, и я укоряю его потому только, что по моему убѣжденію онъ *добровольно* отогналъ отъ себя современное вдохновеніе, и ища новыхъ путей, сбился съ пути, указаннаго ему природой, пути, на которомъ тщетно и печально ждалъ его покинутый имъ геній!» (С. О. и С. А. № 6, стран. 321). И такъ Пушкинъ не *добровольно*, а по вашему, какъ сами говорите, *убѣжденію* отогналъ отъ себя *современное* вдохновеніе и въ слѣдствіе того сбился съ пути, на которомъ *тщетно* ждалъ его покинутый имъ геній. На что-жь вы это дѣлали? и какимъ же образомъ, послѣ всего этого, онъ сталъ «*первымъ современнымъ* Поэтомъ, отъ временъ Пѣсни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года?» Загадка!

«Никто не сдѣлалъ столько вреда таланту Пушкина, какъ хвалители его, отъ того именно, что они не постигли ни глубины лучшихъ его произведеній, ни направленія его таланта» (*Тамъ же*). Но мы сейчасъ привели ваши слова, которыми *хвалите* Пушкина такъ, какъ еще *никто* не хвалилъ! И отъ чего же именно *ваши* похвалы не сдѣлаютъ ему никакого вреда? Онъ можетъ возгордиться ими и *опочить* на нихъ, какъ на неувыдающихъ лаврахъ! Смѣю ли еще спросить, изъ чего заключаете, что въ числѣ его хвалителей не было еще такого, который бы, подобно вамъ, *постигъ и глубину лучшихъ его произведеній, направленіе таланта его*, когда (между тѣмъ) говорите сами, что онъ *сбился съ пути*?... Подлинно *глубина непостижимая въ глаголахъ вашихъ*, м. г.! «Говорить, что Пушкинъ дурной Поэтъ, есть то же, что написать себѣ на лбу адскимъ камнемъ (lapis infernalis): я

дуракъ. Такъ и сдѣлали мнимые Классики» (стр. 322). Кто бы не пожелалъ видѣть сихъ мнимыхъ Классиковъ съ надписью на лбу: *я дуракъ!* и сказать: *такъ!* Но врядъ ли встрѣтите кому-либо сія Геркуланская ходячая рѣдкость: ибо даже и мнимый Классикъ, изъ уваженія къ самому себѣ, не скажетъ: *Пушкинъ дурной Поэтъ!* а особливо, когда вспомнить о *lapis infernalis!*... Развѣ подстрекнетъ къ тому ваша же слѣдующая апофеяма: «Писавшіе *противъ* Пушкина не повредили ему, а напротивъ того, могли принести пользу» (*Тамъ же*). Но нѣтъ! *надпись* адскимъ камнемъ остановитъ и руку, подобно какъ языкъ! По крайней мѣрѣ, на будущія времена.

«Разумѣется, что нашимъ критикамъ и хвалителямъ Пушкина болѣе нравятся: *Бѣсы, Русалка, Пѣснь о вѣщемъ Олеть*, и т. п., нежели *Андрей Шенье*, нежели *Вахтическая пѣсня, Война; Элеги: Погасло древнее свѣтило* и проч., *Желаніе славы, Къ Овидію, Уединеніе, Къ морю, Наполеонъ, Птичка, Посланіе къ Лицинію, къ Козлову, къ прелестницѣ, къ Ч — у* (начинающаеся: Въ странѣ, гдѣ я забылъ и проч.), *Воспоминаніе* (первый стихъ: Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день), *Городъ пышный*, и еще нѣсколько рукописныхъ» (?) «и печатныхъ стихотвореній, которыхъ теперь не припомню» (*Сынъ Отечества и Северный Архивъ, № 6, стр. 323*). Почему же *разумѣется?* Ежели *критики* или писавшіе *противъ* Пушкина — что все одно — и на предыдущей страницѣ у васъ *принесли пользу* ему, объявили *мнѣніе свое*; то уже и *видно*, что имъ *больше нравится*; если-жъ нѣтъ: то, можетъ быть, и *не разумѣется*. Въ сію же категорію входятъ и *хвалители*. Но какою *категоріею* можно извинить столь полную довѣренность къ своему *вкусу* — не говоримъ о прочемъ — объявляемую во всенародно? Если могли ошибаться въ *предпочтеніи* стихотвореній Пушкина *многіе*, то одному еще легче. Другое дѣло *рукописныя*, извѣстныя, можетъ быть, одному только вамъ. Но и съ вами можно поспорить — какъ это ни страшно по Голіаеской силѣ вашей на литературномъ поприщѣ — поспорить *о вкусѣ*: вы предпочитаете *Демона* стало и Домовому, о которомъ даже и не упомянули; но осмѣлюсь сказать, что съ *тѣхъ часовъ*, когда *Демонъ* началъ навѣщать Поэта, кромѣ *непостижимой таинственности*, ничего нѣтъ отмѣннаго въ семъ стихотвореніи, доказывающемъ *только артиста*, вами не уважаемаго

(*стран. 322*); тогда какъ въ стихотвореніи: *Домовому*, находимъ безсмертнаго отца — *Горация*, которому въ его стихахъ: *Къ Вафну*, нашъ Поэтъ подражалъ, какъ Суворовъ Цезарю; и такое подражаніе доказываетъ, что одинъ герой родился послѣ другаго: вотъ все *различіе*.

«Пушкинъ, видя безпрестанно вокругъ себя Тиртеевъ въ бу-
мажныхъ лагахъ, бряцающихъ на лирѣ съ деревянными струнами,
украшенныхъ лаврами изъ цвѣточнаго магазина, слыша напѣвы
(*безъ словъ*) наряженныхъ въ театральные костюмы Бардовъ, Пуш-
кинъ не могъ выдержать» (слушайте! слушайте!) «искушенія, пѣлъ
на тотъ же ладъ, хотя и лучше прочихъ, и первенство свое при-
нялъ за успѣхъ». И *принялъ* именно изъ вашихъ рукъ: ибо вы,
не взирая на описанное вами маскарадное общество, искусившее
Поэта своими *деревянными струнами*, заставившими и его пѣть
на тотъ же ладъ, поднесли Поэту дипломъ на титулъ перваго между
всѣми Русскими Поэтами, отъ временъ Пѣсни о полку Игоревомъ
до 1-го января 1833 года. Пеняйте же на самого себя, тѣмъ бо-
лѣе, что ваши напѣвы были не *безъ словъ*! «Дружина Поэта за-
глушила похвалами своими вопль истины, пробивавшійся изъ благо-
намѣренныхъ критикъ, и Поэтъ смѣшалъ друзей таланта съ своими
недругами» (*Тамъ же*). Но вы въ головахъ сей дружины, по
крайней мѣрѣ теперь; ибо, повторяемъ, никто еще не *заглушалъ*,
если не вопль истины, то по крайней мѣрѣ Поэта столь высоко-
парными похвалами, какъ вы: за что же негодуете на *хвалители*
его? Странное дѣло! Между тѣмъ Поэтъ играетъ у васъ жал-
кую роль; онъ *смѣшалъ* друзей своего таланта съ своими недру-
гами». Смѣшать можно все; но какъ это, отъ чего это, почему
это *смѣшано* Поэтомъ въ такомъ случаѣ? волею, или неволею?
и какимъ образомъ это обнаружилось? Странное дѣло! «Множество
произведеній обыкновенныхъ ослабило вниманіе публики къ Поэту,
а пѣкоторые изъ недалководидныхъ Критиковъ и недоброжелателей
Пушкина уже провозгласили совершенный упадокъ его дарованія»
(*Тамъ же*). И все это говорится о *первомъ Поэтѣ между всѣми
Русскими Поэтами, отъ временъ Пѣсни о полку Игоревомъ
до 1-го января 1833 года??!* Настоящая пѣсня, и пѣсня лебя-
диная въ своемъ родѣ! «Правда, что надобна была сильная вѣра
въ сіе дарованіе, чтобы не усомниться въ его упадкѣ послѣ такой
пѣсны, какова, наприимѣръ: *Посланіе къ Князю Юсупову!*» (*Тамъ*

же). И мы ставимъ знакъ удивленія! и спрашиваемъ: что за роковая пьеса? А Поэтъ безъ сомнѣнія *старался блеснуть* своимъ талантомъ въ *Посланіи къ Вельможѣ!*... Отъ чего же не удалось оно — *первому Поэту между всѣми Русскими Поэтами, отъ временъ*, и проч.? «Но я пребылъ вѣренъ моему мнѣнію, что дарованіе Пушкина только сбилось съ пути, начертаннаго ему Природою, а не погибло...» (Тамъ же). Какой Лѣшій обошелъ нашего *перваго* Поэта?... давно ли? надолго ли? а вѣдь и «чрезвычайно обрадовавшія насъ произведенія дарованія юнаго, сильнаго разума и душою: *Моцартъ и Сальери, Эхо, Анчаръ, Древо яда*, есть не иное что, какъ *отголоски* Поэзіи современной, высокой, трогательной, томной, грустной, но крѣпительной и неувядаемой» (стр. 325). Но чьей же именно Поэзіи *крѣпительной* и не увядаемой? Стало *иноземной*? потому что вѣдь, кромѣ Пушкина, Державина и Крылова, всѣ наши Поэты *выкладывали на рюмы* — и только. Пребудемъ же и мы вѣрны нашему (или своему) мнѣнію, что *дальновидный* Авторъ Письма о характерѣ и достоинствѣ Поэзіи А. С. Пушкина *сбивается* немного *съ пути*, начертываемаго Логикою.

«И такъ утѣшьте, любители Поэзіи высокой, благородной» (?) «утѣшьте, истинные друзья таланта Пушкина! Сей талантъ не упалъ; онъ еще полонъ силы и жизни; но онъ, подобно соловью, теперь не въ порѣ и не на мѣстѣ пѣнія» (*Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ, № VI, стр. 325*). Благодаримъ великодушнаго утѣшителя, безъ котораго мы сами конечно не *сумѣли* бы (модное слово Телеграфа и Пчелы) добраться до такой *высокой*, или высокоблагородной Поэзіи въ *наблюденіяхъ* рецензента, хотя, признаться, никакъ не *сумѣемъ* угадать, что значить: «теперь не въ порѣ и не на мѣстѣ пѣнія». Отъ чего же *теперь* не въ порѣ! *Когда* же будетъ въ *порѣ*, и какое же это *мѣсто пѣнія*? Развѣ есть какой-нибудь *крылось* для него? И о комъ же рѣчь идетъ? о *первомъ современномъ Поэтѣ между Русскими Поэтами отъ временъ Пьсни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года*. (Признаемся также и въ преимуществѣ своемъ, что мы не можемъ довольно налюбоваться тѣмъ; что для другаго, можетъ стать, проскочило бы зайцемъ: говоримъ о героическомъ сближеніи пѣнтяческихъ эпохъ нашихъ, столь часто повторяемомъ нами съ новымъ удовольствіемъ!) Но унодобленіе *соловью* нимало не

объясняетъ загадки, если допустить, что *камеральныя обстоятельства* писателя вовсе не подлежатъ суду рецензента, какъ бы они ему коротко извѣстны ни были. Другаго ничего придумать не можемъ! — Проницательный утѣшитель истинныхъ друзей таланта Пушкина говорить далѣе... Но мы уже далѣе писать не можемъ: *les bras me tombent...* и спасаемся подъ Эгидь.

«Остается рѣшить вопросъ: почему характеръ Поэзіи современной выразился съ большою силою въ мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина, нежели въ другихъ его произведеніяхъ, стоившихъ ему, можетъ быть, болѣе труда и болѣе обдуманности? Отвѣчаю рѣшительно: отъ того что лучшія мелкія стихотворенія Пушкина суть не плоды чуждыхъ совѣтовъ, не слѣдствіе бесѣдъ и совѣщаній, но, такъ сказать, невольныя вспышки его природнаго генія, молнія отъ столкновенія идей и чувствованій, самородный плодъ почвы. — И потому-то мелкія стихотворенія Пушкина — суть тѣ таинственныя буквы, которыми начертанъ *характеръ его Поэзіи*, суть тѣ числа на мѣрѣ, которыми опредѣляется *величіе его дарованія*. — Мнѣ кажется, что я разгадалъ и буквы и числа, и потому полагаю, что характеръ Поэзіи Пушкина — есть *современность* (опредѣленная мною выше), а мѣсто его между нашими современными Поэтами — *первое и не послѣднее* въ небольшомъ кругу Поэтовъ всемірныхъ. Скажу болѣе: я вѣрю, что отъ его собственной воли зависить удержаться, возвыситься — или пасть. Геній его просится на просторъ... подъ небеса...

«Мнѣ душно здѣсь, я въ лѣсу хочу!»

Подписано: «*Θ. Б.*»

А намъ кажется, что мы уже въ лѣсу — и даже въ дремучемъ: ибо вовсе не надѣемся *разгадать* ни *буквъ, которыми начертанъ характеръ Рецензента*, ни *числъ, которыми опредѣляется величіе его дарованія* — противурѣчить самому себѣ непрестанно! Лучшія стихотворенія *перваго современнаго Поэта*, то-есть Пушкина, суть *невольныя вспышки* его природнаго генія, которому *чуждые совѣты* (??) препятствовали выразиться съ большою силою въ произведеніяхъ, *стоившихъ ему можетъ быть, болѣе труда и обдуманности*, нежели въ *мелкихъ стихотвореніяхъ*: стало писанныхъ украдкою отъ *совѣщателей*, а иначе, *можетъ быть*, и они *разгадамъ бы и буквы, и числа* — то-есть, что на-

добно страшиться молніи отъ столкновенія (?) идей и чувствований, самородный плодъ почвы?? И что это за *Омары* противъ Пушкина, который до того обмороченъ ими, что онъ никакъ не можетъ потушить губительнаго факела, истребляющаго характеръ *Поэзии современной*, поставившей Пушкина на высоту, недоступную для другихъ Русскихъ Поэтовъ отъ временъ *Пьсны о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года*, и выразившейся единственно въ невольныхъ встывкахъ?... Будучи способенъ къ обдуманности своихъ произведеній (хотя — увы! и бесполезной), Пушкинъ, по словамъ грознаго оракула, никакъ не можетъ обдумать чуждыхъ совѣтовъ, чтобы предостеречься отъ ужаснѣйшаго коварства ихъ противъ его *природнаго генія*!... Этого *природнаго* (слушайте! слушайте!), не *благопріобрѣтннаго генія*, который, не взирая на большій трудъ и большую обдуманность, прилагаемыхъ къ своимъ крупнымъ произведеніямъ, никакъ не можетъ выразить характера своей *современной Поэзии* иначе, какъ въ *мелкихъ* стихотвореніяхъ!... Кажется, и обыкновенный человѣкъ могъ бы разгадать буквы и числа подобныхъ совѣтовъ, беспѣдъ и совѣщаній!... Но нѣтъ! — Пушкинъ не разгадаетъ, даромъ что мѣсто его между нашими современными Поэтами *первое и не последнее въ небольшомъ кругу (?) Поэтовъ всемірныхъ!* Вы вѣрите, м. г., что «отъ его собственной воли зависить удержаться, возвыситься — или пасть! Геній его просится на просторъ... подъ небеса»? А вспомните сказанное вами выше, что и *встывки* его *природнаго генія* — не вольныя; между тѣмъ по *доброй воли* конечно никто не захочетъ пасть, а особливо съ такой высоты, на какую поставленъ вами Пушкинъ: но онъ, какъ вы доказываете, подъ *роковымъ вліяніемъ*, силы котораго преодолѣть не въ состояніи ни воля, ни геній; и сколько бы сей послѣдній ни просился на просторъ: его не пуститъ оно; а еще менѣе подъ небеса... Такова участь *перваго современнаго Поэта между всеми Русскими Поэтами отъ временъ Пьсны о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года!!!* Симъ *апокрифомъ*, пристрастившимъ насъ къ себѣ, наконецъ выходимъ, какъ по нити Ариадниной, изъ *тѣсу*, гдѣ намъ было *душно* отъ многихъ испареній... Что-то окажется 1-е января 1834 года — относительно нашихъ Баяновъ!...

* * *

*) Имя А. С. Пушкина непрерывно встрѣчалось читателямъ въ листкахъ Телеграфа съ самаго начала сего изданія. Должно ли этому удивляться? Нѣтъ! ибо, что замѣчательнѣе Пушкина представляла во все это время Русская Словесность? Посему, въ теченіе восьми лѣтъ, Телеграфъ наблюдалъ постоянно всѣ произведенія Пушкина, и представлялъ читателямъ извѣстія и сужденія о литературномъ поприщѣ сего славнаго соотечественника. Еще не рѣшено было первенство Пушкина между современными Поэтами Русскими, когда Издатель Телеграфа, въ 1825 году, называлъ его *не вторымъ, а другимъ* послѣ Жуковскаго, и съ добродушнымъ восторгомъ юноши привѣтствовала въ томъ же году появленіе его *Онгина*. Диво возопили тогда противъ похвалъ Пушкину— похвалъ *надеждѣ будущаго*. Теперь спрашиваемъ: не оправдываются ли сіи надежды? Пушкинъ, рѣшительно, не признанъ ли *первымъ* изъ современныхъ Русскихъ Поэтовъ? Въ теченіе восьми лѣтъ много отношеній перемѣнялось, но смѣемъ надѣяться, что никто изъ читателей, ни самъ Пушкинъ, не упрекнутъ Телеграфъ въ криводушіи, низкопоклонничествѣ или завистливой злобѣ къ лавровому вѣнку его, какъ Поэта. Пристрастенъ могъ быть къ нему иногда Телеграфъ, или ошибаться въ направленіи его дарованія, и смѣло негодовать. Но кто же, человекъ съ душою, не лишенною искры неба, не увлекался иногда пристрастіемъ къ прекрасному? Кто, дорожа рѣдкимъ явленіемъ его въ мірѣ ничтожномъ, холодномъ, безчувственномъ, не негодовалъ, если видѣлъ, что оно тускнеть въ какихъ-нибудь мелкихъ отношеніяхъ свѣта? Положимъ, что послѣднее мнѣніе было бы ошибкою; но подобная ошибка непростительна, если только не злонамѣренность, и не нечистая совѣсть бывають ея причиною. Послѣ всего этого, смѣемъ думать, что не боясь подозрѣнія ни въ пристрастіи, ни въ неприязни, Телеграфъ можетъ сказать свое мнѣніе о послѣднемъ большемъ твореніи Пушкина, составляющемъ вѣнецъ всего, что донинѣ создано было нашимъ Поэтомъ въ теченіе полужизни его. Да! поль-жизни человѣческой совершилось уже Пушкину (онъ родился въ 1799 году)! Уже онъ не юноша: онъ мужъ, онъ человекъ, достигнувшій зрѣлости лѣтъ и дарованія; время *опытовъ* для него миновалось;

*) «Московскій Телеграфъ» 1833 г., ч. 49, №№ 1 и 2. «Борисъ Годуновъ», сочиненіе Александра Пушкина. Спб. 1831 г. in—8, 142 стр.

время *созданій совершенныхъ*, которыя могутъ показать, чѣмъ запишетъ себя Пушкинъ въ Исторіи для потомства, для деловѣчества — это грозное время для него настало и мчится быстро! Лови его, Поэтъ! лови: оно не ждетъ, и потомъ не воротится никогда. Любопытно теперь, съ послѣдней поэтической высоты, до которой достигъ Пушкинъ, разсматривать его прежніе труды и опредѣлять будущій его полетъ.

Предполагая подробно разсмотрѣть *Бориса Годунова*, мы знаемъ, что подобная статья не можетъ имѣть цѣны журнальной новости нынѣ, когда послѣ появленія Бориса Годунова прошло два года; но мы и не хотѣли придавать сей цѣны нашему разбору, появленіемъ онаго рановременнѣе. Намъ хотѣлось лучше и вѣрнѣе отдать отчетъ самимъ себѣ въ твореніи Пушкина. Намъ хотѣлось также сообразить и мнѣнія публики и критиковъ Русскихъ. Кажется: наговорились, написались довольно и высказали всѣ мнѣнія. Мы переберемъ сіи мнѣнія; постараемся представить притомъ нѣсколько своихъ соображеній вообще о новѣйшей Драмѣ. Взглядъ на прежнія сочиненія Пушкина самъ по себѣ необходимъ, ибо безъ того выводъ изъ одного *Годунова* будетъ недостаточенъ для сужденія о Пушкинѣ.

Не по времени только появленія въ свѣтъ, но и по сущности, по духу, по взгляду на Поэзію, Пушкинъ есть совершенно *современный* намъ Поэтъ, сынъ Поэзіи XIX вѣка, начавшейся въ Европѣ въ послѣднія двадцать лѣтъ. Метрическая справка ничего не доказываетъ въ подобномъ случаѣ. Представимъ небольшой примѣръ: М. А. Дмитріевъ, не смотря на изданіе своихъ сочиненій въ 1831 году, относится къ эпохѣ новѣйнаго Французскаго Классицизма, съ маленькою прибавкою Романтизма, чѣмъ отличались Милльвуа, Бауръ-Лорміаны и Делили. И теперь есть у насъ современники Ломоносова, Сумарокова, Карамзина, даже Тредьяковскаго — не по лѣтамъ, но по духу, по сущности своихъ созданій, по своему образованію, направленію, даже по языку. По всѣмъ же этимъ примѣтамъ, Пушкинъ оказывается современникомъ Европы нашего, XIX вѣка.

Въ статьяхъ о Державинѣ, Жуковскомъ, мы старались изложить Исторію Русской Литературы и особенно Словесности. Выводомъ нашимъ изъ симъ изложеній было то, что Жуковскій обозначилъ собою въ Россіи переходъ отъ новѣйнаго Классицизма къ Роман-

тизму новѣйшему; что Жуковский, Поэтъ очаровательно мелодическій, далъ новыя формы нашему стиху, влилъ въ Поэзію Русскую одну изъ новыхъ идей Романтическихъ — безотчетную мечтательность Шиллера, и что, ухвативъ сію одностороннюю идею, Русскіе Литераторы бросились на Романтиковъ-Нѣмцевъ, какъ прежде крѣпко держались они за Классиковъ-Французовъ. Здѣсь *кончилъ* Жуковский, и *началъ* Пушкинъ. Обратимся къ Европѣ и постараемся кратко пояснить себѣ, что тамъ дѣлалось въ послѣдніе 20 или 30 лѣтъ.

Главнѣйшія, отличительныя черты переворотовъ въ Европейскомъ Литературномъ мірѣ во все сіе время, по нашему мнѣнію, суть слѣдующія: 1) Обобщеніе Нѣмецкой Философіи и Литературы въ Европѣ и особенно во Франціи; 2) Движеніе въ Европу новой, самобытной Англійской Словесности; 3) Уничтоженіе Классическихъ теорій, и замѣна ихъ новыми, если угодно, Романтическими идеями; 4) Мысль о созданіи самобытныхъ, народныхъ литературъ, почти повсюду, и объ отысканіи для того національныхъ элементовъ; 5) Общее направленіе къ Лиризму, Роману и Драмѣ во всѣхъ Европейскихъ Словесностяхъ.

Такъ сильно, такъ глубоко было объединенное отъ остальной Европы особенное стремленіе Германіи, по всѣмъ отраслямъ чело-вѣческаго мысленія и вѣдѣнія, такъ противоположно было оно всеобщему тогда Европѣ Классическому направленію и условнымъ формамъ прежняго образованія, литературнаго и ученаго, что невозможно ему было наконецъ не обратить на себя вниманія всей Европы. Невозможно было и общности новаго образованія Германіи не изумить всякаго, кто только узнавалъ его хоть немного. Невозможно было, наконецъ, сему новому стремленію не сразиться съ старымъ: эта ошибка значила побѣду Германіи, ибо юное, крѣпкое силами, всегда побѣдитъ дряхлое, изнуренное въ силахъ. Трудно сыскать предметъ въ области ума и вѣдѣнія, котораго не коснулась бы Германская реформа съ половины XVIII и въ началѣ XIX вѣка. Въ *Философіи* Реализмъ Локка, и Матеріализмъ Энциклопедистовъ замѣнили разрушающій ихъ Трансцендентализмъ Канта, не ясный, но высокій Идеализмъ Фихте и умиряющій, новоплатоническій Идентитетъ Шеллинга. Въ *Исторіи* изслѣдованія Нибура возсоздали истинную лѣтопись Рима и показали примѣръ истинной Критики и Философіи Исторической; Гердеръ про-

явилъ совершенно новую идею Человѣчества, рассматривая оную какъ основаніе, какъ развитіе идеи Всеобщей Исторіи; Савиньи испровергъ старое начало въ Исторіи Юриспруденціи и провелъ живую идею Римскаго Права черезъ лабиринтъ вѣковъ; Крейперъ отыскалъ основныя идеи вѣчныхъ символовъ въ Мифологіи Востока и раскрылъ элементы ихъ въ Мифологіи Европейской. *Изученіе Древнихъ* перестало ограничиваться избитымъ пересказомъ однихъ и тѣхъ же словъ, и авторитеты Схоластики уступили наконецъ мѣсто истинному изученію Классической Древности. Переставъ смотрѣть на Классическую Древность, какъ на *безусловное изящество*, переставъ видѣть въ ней неподражаемые exemplaria Graeca, Германцы умѣли понять и передать надлежащимъ образомъ писанія Древнихъ, и въ тоже время понять необходимость *изученія встѣхъ другихъ литературъ и народовъ*. Это пояснило имъ необходимость всеобщности для самобытности, и самобытности для всеобщности. Такимъ образомъ, когда Шлейермахеры, Фоссы, Гейне, изучали и передавали въ истинномъ свѣтѣ Классическую Древность, Тибъ, Гердеръ, Шлегель, Бенда, Штреккфуссъ и другіе тоже дѣлали съ Испанією, Италією, Англією; глубокія изученія были произведены надъ Сѣверомъ и Востокомъ, а самобытность необыкновенная проявлена въ созданіяхъ Германской Литературы. Здѣсь число именъ и созданій приводитъ въ невольное изумленіе; разнообразіе направленій духа Германскаго заставляетъ иногда даже сомнѣваться: неужели все это было испытано и пережито въ столь короткое время? Не говоря уже о безсмертныхъ, вѣковыхъ именахъ Гете, Шиллера, Жанъ-Поля, какое множество именъ по всѣмъ частямъ Литературы! Поэзія, Романъ, Исторія освѣщены именами Мюльнеровъ, Вернеровъ, Кернеровъ, Бюргеровъ, Тидге, Миллеровъ, Геереновъ, Гофмановъ, и проч... такъ же какъ Философія блеститъ именами Астовъ, Шуберговъ, Стеффенсовъ, Штуцмановъ, а Науки и точныя Знанія именами Вернеровъ, Гумбольдтовъ, Гуфеландовъ, Боде, Ольберсовъ, Фауенгоферовъ и проч.

Замѣтимъ здѣсь *три* слѣдующія обстоятельства, важныя для наблюдателя:

1) Въ то время, какъ началось движеніе умственного міра Германіи, послѣдовало и совершенное отдѣленіе его отъ міра дѣйствительнаго, практическаго. И всегда Германія была чужда практики общественной жизни, и всегда не она обобщала въ Европѣ всѣ

вѣковыя идеи. Но здѣсь, какъ будто нарочно, послѣдовало дѣленіе самое рѣзкое, самое рѣшительное. Франція совершенно вдалась въ практику общественности; Германія совершенно объединила себя отъ сей практики: она была скалою умственного бытія Европы, о которую разбивались всѣ волны неслыханныхъ, политическихъ и общественныхъ переворотовъ. Жители сей скалы какъ будто вовсе не знали, что дѣлается въ остальной Европѣ.

2) Необыкновенное умственное усиліе, въ теченіе полустолѣтія, должно было наконецъ истощить Германію, и, отразивши умственную дѣятельность свою на Европу, Германія должна была впасть въ усыпленіе. Если всеобщность способствовала къ проявленію идеи о частной самобытности, въ то же время самобытность не могла явиться прежде, пока всеобщность не утомитъ духа, не доведетъ его до самаго величайшаго объема идеальности, гдѣ онъ долженъ погибнуть, совершенно отторгнутый отъ земли и дѣйствительности.

3) Смотра съ сей точки зрѣнія, нельзя не удивляться всеобщности, какою обладали Германцы, величины трудовъ, дѣлимости, многообъемлемости знанія ихъ. Все великое сего времени есть что-то *универсальное*, всеобъемлющее: возьмите *Шиллера*, пламеннаго, неземнаго Лирическаго Поэта: онъ въ то же время Трагикъ, Историкъ, Философъ, Романистъ. Рассмотрите самую Драму его: какое разнообразіе направленій въ *Разбойникахъ*, *Коварствѣ и любви*, *Орлеанской дѣвѣ*, *Мессинской невестѣ*, *Валленштейнѣ*, *Вильгельмъ Тель!* И притомъ, онъ переводитъ *Федру* и *Макбета!* Это волны необозримаго моря, рѣвуща, колеблемыя всѣми возможными вѣтрами. Посмотрите на *Шлегеля*-Историка, Поэта, Критика, переводчика Шекспира и Кальдерона; на *Гердера*-проповѣдника, Философа, Поэта! Наконецъ, остановитесь особенно на символѣ всего Германскаго образованія, Гёте, заключившемъ собою, даже и хронологически періодъ Германской эпохи — Гёте всего лучше покажетъ вамъ идею Германіи: онъ *все* — Классицизмъ и Востокъ, Испанія и Англія, Трагедія и Естествознаніе, Романъ и Журналъ, Пѣсня и Критическая статья, Фаустъ и Вильгельмъ Мейстеръ, Вертеръ и Германъ и Доротея, переводчикъ Вольтерова Мугаммеда и стихотвореній Саадія — Гёте все заключилъ въ себѣ, все объялъ и все сказалъ.

Изъ сего міра высочайшей всеобщности, идеальности, *вселенности*, Германія впадала въ совершенную частность, практику, на-

родность. Гевіи Германіи исчезли; Философія распалась на части; Поэзія заплѣла старинную легенду; Музыка заиграла народную пѣсню; изысканія обратились на древности отчизны. Гёте и Уландъ, Гофманъ и Шопенгауеръ, Шеллингъ и Гегель, Шлегель и Берне, Шиллеръ и Гриллпарцеръ, Моцартъ и Шпоръ — неужели это одинъ и тотъ-же міръ, одна и та же Германія? И это случилось въ то время, когда Европа, усмиривъ буйную жизнь горящей Франціи, отдыхала въ политической тишинѣ. Жадная до новаго, умственного бытія, Франція устремилась на наслѣдіе засыпающей дѣятельности германской, какъ самый расточительный наслѣдникъ.

Тогда, при сей великой субботѣ Германіи и при началѣ возбужденной дѣятельности Франціи — Англія, двадцать лѣтъ чуждая Европѣ, двадцать лѣтъ подверженная континентальной системѣ во всѣхъ отношеніяхъ, не въ одной торговлѣ и промышленности, явилась въ величій поэтическаго обновленія, совершившагося уединенно, отдѣльно, среди всемірной войны Материка и вѣчныхъ волнъ Океана. Она явилась съ новыми созданіями Муровъ, Водевортовъ, Сушеевъ, Краббовъ, Монгоммери, Борнсовъ, Колериджей, съ практической критикою своихъ *Обозрѣній*, съ своею Политическою Экономіею. Но всего громче сказались Европѣ два поэтическіе отзывы Британіи.

Одинъ — весь современность, лира и эпопея современная, вопль безнадежности, кровавая комета новой Поэзіи, потрясающій электрической ударъ. Читатели угадываютъ имя *Байрона*.

Другой — жилецъ Среднихъ Вѣковъ, полнота Прозы, Философія практики, обновитель жизни прошедшаго, гальваническая сила отъ соединенія предметовъ, по видимому, холодныхъ, разнородныхъ — соединеніе Исторіи и Сказки въ Романѣ — В. Скоттъ. И все это поверглось въ живую жизнь, въ обобщительную душу Французовъ. Мы не будемъ здѣсь входить въ изложеніе фактовъ того, что произошло чрезъ сіе во Франціи. Отчасти старались уже мы изяснить современную Исторію Французской Литтературы въ статьѣ о Романахъ В. Гюго, о Французскомъ театрѣ, и вообще въ статьяхъ объ Иностранной современной Словесности, какія помѣщались въ Телеграфѣ разныхъ годовъ. Укажемъ еще здѣсь на статьи критическія и теоретическія, какія были переводимы и почти безпрерывно помѣщаемы въ Телеграфѣ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Читатели видѣли даже мнѣнія самыхъ реформаторовъ Француз-

свихъ — Гюго, Де-Виньи, Издателей Глобуса, Французскаго Обозрѣнія и проч....

Мы обращаемся къ тремъ послѣднимъ выводамъ, выше сего нами означеннымъ, которые полагаемъ мы въ числѣ *главнѣйшихъ отличительныхъ чертъ перелома въ мѣръ современной намъ Европейской Литтературы.*

Первое, что представляется здѣсь, есть — *уничтоженіе классическихъ теорій и замѣна ихъ новыми идеями.* Въ этомъ согласятся самые упорные, даже Русскіе Классики. Читайте хоть Русскіе учебные курсы, хоть Русскія теоретическія сочиненія. Сочинители ихъ, сами того не замѣчая, подчиняются уже совершенно новому порядку идей. Сквозь Классицизмъ, сквозь ветхую вучу дряхлыхъ именъ, которыми загораживаютъ они входъ Романтизму, видимъ этотъ Романтизмъ самовластнымъ хозяиномъ въ классическомъ домѣ. Ему еще неловко, неудобно, онъ еще не привыкъ къ новому своему жилью; но, погодите: есть старикъ, который все это уладить, и о которомъ Карлъ V-й говаривалъ: «Насъ двое — *я и время*».

Второе, что слѣдуетъ изъ перваго: стремленіе осуществить теорію въ сообразной съ нею практикѣ. Практика сія требуетъ всеобщности познанія, не одного Классицизма, и потомъ возсозданія *національной, народной литтературы*, какъ единственнаго средства сдѣлаться самобытными. Не говоримъ о Германіи, гдѣ этимъ кончилось; объ Англіи, гдѣ этимъ началось; о Франціи, гдѣ это является въ неимовѣрной степени — посмотримъ на двѣ крайнія стороны Европы: *Швецію и Италію.* Тамъ и здѣсь — Романъ и Романтизмъ; школа Классиковъ падаетъ, новыя идеи народности проявляются Тегнерами, Манцони и многочисленными ихъ спутниками.

Но, отчего *третье* отличіе современности: *явное стремленіе повсюду къ Лиризму, Роману и Драмѣ?*

Не принимаемъ положенія В. Гюго, будто папъ вѣкъ есть вѣкъ *Драматическій*, и поелику вѣкъ старости походить на младенчество, потому Лиризмъ, отличіе вѣка младенчества человѣческаго, долженъ отражаться на нашемъ вѣкѣ, старости Человѣчества; не соглашаемся и съ тѣми, кто думаетъ, будто Романъ есть *современная Эпопея*, и поелику Эпопея и Драма всегда преимуществовали и должны преимуществовать, ибо онѣ суть два высшіе отдѣла творчества человѣческаго, то посему самому преимуществуетъ

въ нашемъ вѣкѣ (лишенномъ Эпопеи), подлѣ Драмы, Романъ. Все это кажется намъ односторонно и невѣрно. Мы думаемъ, что во всѣ вѣка и всегда, всѣ части Поэзіи были равносильны, равно существовали и должны равно существовать въ душѣ человѣка. Преимущественность того или другаго, въ то или другое время, суть частности, которыя мы принимаемъ за общность. Нашъ вѣкъ столько же *Драматическій*, сколько *Эпическій* и *Лирический*. Лиризмъ потому столь силенъ въ наше время, что мы начинаемъ новый періодъ, а въ началѣ новой жизни всегда духъ человѣка изливается въ лирическомъ пѣніи. «*У насъ нѣтъ Эпопеи*» говорятъ намъ. Нѣтъ Эпопеи *Классической* — согласны; но есть *Эпопея своя*. Явись только теперь эпическій геній, и онъ проявитъ ее въ великомъ созданіи. И чѣмъ же вы почитаете *Фауста* — неужели *Драмою*? А созданія Байрона: его *Гяуръ*, *Осада Коринфа*, *Манфредъ*, *Корсаръ*, *Лара* (если и назовемъ *Чайльдъ-Гарольда* Элегією, а *Донъ-Жуана* Сатирою)? Возьмемъ меньшіе примѣры — *Валленрода* Мицкевича, *Фритиофъ-Сагу* Тегнерову: или они Эпопея, или вовсе никогда не было Эпопеи. И что же? Омирова *Иліада* была рапсодіями, отдѣльными балладами, какъ *Оссіанъ* есть сборъ балладъ Шотландскихъ, и, какъ въ Испанскихъ Романсахъ, является намъ Эпопея высокая. Мы согласны назвать Романъ *Эпопеею изящной прозы*, ибо въ *Прозѣ изящной* есть такія же отдѣленія, какъ и въ *Поэзіи собственно*: Лирика — *Ораторство*, Драма — *Исторія*, Эпопеею будетъ *Романъ*. Если наша поэтическая Эпопея является въ смѣшеніи съ Драмою (какъ объяснилъ это весьма хорошо В. Гюго, указывая на Мильтона и Данте), естественно, что Эпопея прозы, Романъ, переходитъ, въ прозаическую Драму, Исторію: вотъ источникъ повсюднаго *Историческаго Романа*. Объясненіе сихъ смѣшеній не заключается ли въ томъ, что мы, утомленные раздѣльностью родовъ, отвлеченностью Эпопеи и Романа отъ Драмы и Исторіи, слишкомъ дѣйствительныхъ и положительныхъ, стремимся соединить ихъ, тѣмъ болѣе, что раздѣльность сія ставила Эпопею и Романъ — одну на ходули Классицизма, другой на ходули аханья и пошлой любви, а Драму дѣлала или ничтожною Мелодрамою, или надутою Трагедією, оставляя Исторіи только сухой рассказъ и риторскія фразы?

Надобно впрочемъ согласиться, что современная намъ литература, столь быстрое развитіе духа человѣческаго въ новыхъ фор-

махъ, должна быть еще весьма неопредѣленною для насъ, теоретически и практически. Краткое изложеніе наше показываетъ, сколь сильный, неслышанный переворотъ произошелъ въ полвѣка, сколь разнообразенъ, разнороденъ былъ сей переворотъ, сколь многихъ вопросовъ рѣшеніе задалъ онъ грядущему Человѣчеству. Но главные основанія уже и для насъ обозначены ясно.

Сей-то бурный, многообразный періодъ хлынулъ на нашу Русскую Литературу, послѣ Классицизма Французскаго; его-то начало представилъ собою въ Поэзіи нашей Жуковскій, его-то *настоящимъ представителемъ въ Русской Поэзіи* явился Пушкинъ.

Въ Поэзіи Русской, именно, и не болѣе. Пушкинъ поэтъ, не менѣе того онъ поэтъ въ полномъ значеніи сего слова, поэтъ, обладающій дарованіемъ обширнымъ, душою глубоко раздражительною, восторженною, даромъ слова удивительнымъ. Говоря о Державинѣ, мы указали на характеръ Пушкина. Осмѣлимся сказать здѣсь, что самая жизнь Пушкина можетъ подтвердить это, если обозрѣть ее философически. Но что могли мы говорить о Поэтѣ, уже почюющемъ своимъ вѣчности, того не можемъ говорить о Поэтѣ живущемъ, и, слѣдственно, должны ограничиться разсмотрѣніемъ только его *Литературной жизни*.

Мы находили въ Державинѣ совершенную противоположность Жуковскому: то же найдемъ соображая съ Жуковскимъ Пушкина— это двѣ совершенно параллельныя линіи. Напротивъ, сколько найдемъ точекъ, на коихъ Державинъ и Пушкинъ сходятся совершенно!

Вспомните общія различія: одинъ родился въ 1743-мъ, другой въ 1799-мъ году; одинъ былъ въ вѣкъ Екатерины, въ послѣднюю треть XVIII-го столѣтія; другой въ вѣкъ Александра и Николая, въ первую треть XIX-го столѣтія, а между этими двумя третями Исторія положила бездну, величиною въ тысячу лѣтъ. Державинъ увлекся порывами честолюбія; обстоятельства дали совсѣмъ другое направленіе жизни Пушкина; не забудьте, что о Державинѣ вы говорите, какъ о поэтѣ, кончившемъ совершенно свое поприще; о Пушкинѣ, какъ о поэтѣ, едва достигшемъ зрѣлыхъ часовъ генія своего, тѣхъ лѣтъ однакожъ, когда Державинъ едва только начиналъ. Державинъ вошелъ на поприще Поэзіи малограмотный, съ Одами Ломоносова, теорією Тредьяковскаго, Трагедіями Сумарокова, романами Прово, и черезъ казармы вступилъ въ свѣтъ и службу; Пушкинъ пришелъ во времени самаго стремительнаго порыва въ Рос-

сію новыхъ идей литературныхъ, когда голосъ Жуковского раздавался уже среди холоднаго міра Классицизма и Карамзинизма, когда толпа молодыхъ дарованій была подвигнута симъ голосомъ къ новой дѣятельности души. Пушкинъ вступилъ въ свѣтъ, получивъ съ малолѣтства отличное, однакожь свѣтское образованіе, былъ отвергнутъ свѣтомъ, и почти до тридцати лѣтъ странствовалъ вдали отъ него вдохновляемый своимъ гениемъ, порываемый, колеблемый всѣми бурями измѣненій міра внѣшняго, и страстей міра внутренняго. Но тотъ и другой, Державинъ и Пушкинъ, *поэты эпохъ*, съ одинаково-смѣлою, благородною, возвышенною душою, съ одинаково-пламеннымъ сердцемъ, одинаково превышающіе другихъ современниковъ своимъ гениемъ; у обоихъ Поэзія кажется врожденнымъ вдохновеніемъ: у Державина не убили ея ни нужды, ни казармы, у Пушкина (что хуже казармъ и нужды) ни свѣтское образованіе, ни большой свѣтъ. Если Державинъ былъ полный представитель Русскаго духа своего времени, Пушкинъ донинѣ былъ полнымъ представителемъ Русскаго духа нашего времени. Успѣетъ ли Пушкинъ явиться въ столь же самобытномъ развитіи созданій, какъ явился Державинъ? Узнаетъ ли онъ лучше Державина свое высокое назначеніе? Пойметъ ли онъ далѣе того, на чемъ Державинъ остановился? Далеко ли онъ означитъ своею самобытною развитіе самобытной Русской Поэзіи? Вотъ вопросы, для насъ нерѣшимые. Еще двадцать лѣтъ полнаго бытія, періодъ самой зрѣлой силы можетъ имѣть Пушкинъ въ виду передъ собою. Чего не сдѣлаетъ онъ, и чего нельзя ожидать намъ отъ Пушкина, если только сила его поэтической воли будетъ умѣть отдать себѣ отчетъ... Все, что донинѣ дѣлалъ Пушкинъ, оправдываетъ, какъ намъ кажется, наши блестящія на него надежды, и ту увѣренность, съ какою смотримъ мы на Пушкина, какъ на залогъ великаго въ будущемъ.

Только новая, односторонняя идея Поэзіи Жуковского, поддѣрпленная его подражателями и послѣдователями, пѣвунами съ его голоса, и нѣсколько дарованій отдѣльныхъ, замѣчательныхъ, были отличіемъ на поприщѣ Литтературы, холодной и безцвѣтной, когда явился Пушкинъ. Оцѣните же дарованіе этого поэта, читая *Руслана и Людмилу*. Мысль объ Аріостовой Эпопее въ Русскомъ духѣ, мысль создать Поэму изъ Русскихъ преданій, самое исполненіе сей мысли стихами плѣнительными, когда Поэту не было еще и двадцати лѣтъ — какое начало блестящее, прекрасное, исполнен-

ное упованій! Безспорно: въ *Русланъ* и *Людмилъ* нѣтъ и тѣни народности, и когда потомъ Пушкинъ издалъ сію Поэму съ новымъ введеніемъ *), то введеніе это рѣшительно убило все, что находили Русскаго въ самой поэмѣ. Руссизмъ Поэмы Пушкина была та несчастная, щеголеватая народность, Флоріановскій манеръ, по которому Карамзинъ написалъ *Илью Муромца*, *Наталью Боярскую дочь* и *Марфу Посадницу*, Нарѣжный *Славянскіе вечера*, а Жуковский обрусилъ *Ленору*, *Детнадцать спящихъ Двѣзъ*, и сочинилъ свою *Марыну рошу*. Не хотите ли понять превосходство прелестной Поэмы Пушкина? забудьте, что она изображаетъ *Русь*; прочитайте, что тогда писали другіе, и что писали критики тогдашніе именно о *Русланѣ* и *Людмилѣ*. Мы такъ уже удалились отъ 1820 года, когда вышла въ свѣтъ первая Поэма Пушкина, такъ разразнились духомъ, направленіемъ, сущностью съ Поэзією, Эстетикою и Критикою тогдашними, что намъ даже трудно теперь стать на тогдашнюю точку зрѣнія, которая можетъ показать весь блескъ дарованій Пушкина, относительно ко времени изданія *Руслана* и *Людмилы*.

Какъ много надобно было силы душевной, и самобытности дарованія, чтобы не увлечься тогдашнимъ Классическимъ громкословіемъ, и не замечаться въ блѣдныхъ подражаніяхъ Жуковскому! Пушкинъ едва носитъ слѣды того и другаго, въ самыхъ первоначальныхъ своихъ созданіяхъ. Но тѣмъ сильнѣе уступилъ онъ потомъ влиянію болѣе могущаго, современнаго ему Европейскаго генія, Байрона.

Байронъ возобладавалъ совершенно поэтическою душею Пушкина, и это владычество на много времени лишило нашего поэта собственныхъ его вдохновеній. Какъ бы кто ни былъ великъ, но всякій долженъ платить дань своему вѣку. Свѣтское, и съ тѣмъ вмѣстѣ Карамзинское образованіе въ дѣтствѣ, а потомъ подчиненіе Байрону въ юности — вотъ два ига, которые отразились на всей Поэзій

*) Въ Лукоморья дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ,
И днемъ, и ночью котъ ученый
Тамъ ходитъ по цѣпи кругомъ.
Идетъ на право — пѣснь заводитъ;
На лѣво — сказку говоритъ, и т. д.

Пушкина, на всѣхъ почти его созданіяхъ до нынѣ, а Карамзинизмъ повредилъ даже совершеннѣйшему изъ его созданій — *Борису Годунову*. Особливо прежде не дерзалъ Пушкинъ выходить изъ волшебнаго круга, очерченнаго современнымъ образованіемъ Россіи окрестъ его дарованія, и только въ послѣднее время успѣваетъ онъ вырваться изъ него, и осмѣливается расправлять самобытно свои орлиныя крылья, осмѣливается обнимать духомъ своимъ весь обширный переворотъ современной Европейской Литтературы — не въ одномъ Байроновскомъ направленіи сего переворота, какъ прежде односторонно обнималъ его Жуковскій въ идеѣ Шиллера, и подражаніи Нѣмецкой и Англійской балладѣ.

Кавказскій Пѣтнникъ былъ рѣшительнымъ сколкомъ съ того лица, которое въ исполинскихъ чертахъ, грознымъ привидѣніемъ пролетѣло въ Поэзіи Байрона. Разница та, что Байронова Поэзія была самобытна, и хотя односторонно, но обняла весь міръ современныхъ идей, изобразилась въ огромныхъ очеркахъ. Байронъ, создатель *Гяура* и *Абидосской несты*, *Донъ-Жуана* и *Чайльдъ-Гарольда*, *Манфреда* и *Беппо*, *Христіана* и *Шилонскаго узника*, *Парри* и *Осады Коринѳа*, былъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, то же для начала XIX-го вѣка, что Омиръ для Греціи, Оссіанъ для Шотландіи, Гёте для Германіи, Данте для Италіи XIII-го столѣтія, Шекспиръ для Среднихъ вѣковъ. Пушкинъ явился, напротивъ, какъ подражатель пѣвца Британскаго, былъ юнгъ, ограниченъ во всѣхъ отношеніяхъ, и особенно по образованію своему и по общественному своему мѣсту.

Отъ того блѣденъ и ничтоженъ его *Кавказскій Пѣтнникъ*, нерѣшительны его *Бахчисарайскій фонтанъ* и *Цыганы* и логокъ *Евгеній Онѣгинъ*, Русскій снимокъ съ лица Донъ-Жуанова, такъ же, какъ Кавказскій Пѣтнникъ и Алеко были снимками съ Чайльдъ-Гарольдова лица. Все это было вдохновлено Пушкину Байрономъ, и пересказано съ Французскаго перевода прозою — литографическіе эстампы съ прекраснѣйшихъ произведеній живописи?

Гдѣ же заслуги Пушкина? Гдѣ признаки сильныхъ его дарованій? Гдѣ слѣды его самобытности и залоговъ будущаго?

Прежде всего, въ той превышающей всѣхъ другихъ современныхъ поэтовъ Русскихъ степени, на которую сталъ Пушкинъ съ самаго появленія *Руслана* и *Людмилы*. Несправедливо было бы мѣрять Пушкина мѣрою Гёте и Байрона. Мы старались показать ложность

подобной мѣры въ отношеніи Державина. Сравните различіе образованія Германіи, Британіи и Россіи. Посмотрите: *идь* живетъ Пушкинъ, и съ кѣмъ живётъ онъ? Такъ же, какъ Жуковского, окружаетъ его толпа современниковъ, но—это дѣти передъ нимъ! Сличите съ нимъ Г-дъ Языкова, Баратынскаго, Хомякова, Князя Вяземскаго, Козлова, Подолинскаго, О. Н. Глинку (какъ поэта), Веневитинова, Муравьева, Дельвига: хотя дарованіямъ всѣхъ ихъ отдаемъ мы полное сознаніе, но никто изъ нихъ, безъ всякаго сравненія, не станетъ даже и близко Пушкина, ни идеями, ни полнотою выраженія ихъ, ни прелестью стиха, и—рѣшительно ничѣмъ! Далѣе, введеніе новаго элемента *Байронизма*, въ Русскую Поэзію, послѣ мечтательности Жуковского, долженствовало быть необходимо для души пылкой, свѣжей, и оно сильно споспѣшествовало конечному паденію Французскаго Класицизма въ Россіи: этимъ мы обязаны Пушкину. Для него это былъ отрицательный шагъ, назадъ; для Русской Поэзіи — шагъ положительный, впередъ.

Сообразите послѣ сего, какую заслугу оказалъ Пушкинъ выраженію нашей Поэзіи, нашему стиху. Стихъ Русскій гнулся въ рукахъ его, какъ мягкой воскъ въ рукахъ искуснаго ваятеля; онъ пѣлъ у него на всѣ лады, какъ струна на скрипкѣ Паганини. Нигдѣ не является стихъ Пушкина такимъ мелодическимъ, какъ стихъ Жуковского, нигдѣ не достигаетъ онъ высоты стиховъ Державина; но за то въ немъ слышна гармонія, составленная изъ силы Державина, нѣжности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковского. Вся классическая чопорность съ него сбита совершенно. Если Пушкину не суждено влить въ него новой самобытной души, то, по крайней мѣрѣ, вся вѣщность его пересоздана уже вполне и совершенно.

Набонецъ, не смотря на Байронизмъ, и чуждую идею, какими своими богатыми подробностями блестятъ и красуются творенія Пушкина! Рассмотрите ряды картинъ, описаній, переходовъ изъ чувства въ чувство, въ *Кавказскомъ плѣнникѣ*, *Бахчисарайскомъ фонтанѣ*, *Цыганахъ* и *Онегинѣ*. Забудьте и то, что съ каждымъ шагомъ Пушкинъ становился выше, самобытнѣе, разнообразнѣе, и что единство его генія постепенно прояснялось болѣе и болѣе. Въ *Кавказскомъ плѣнникѣ* онъ еще простая элегія; въ *Бахчисарайскомъ фонтанѣ* онъ становится уже поэтической картиною; въ *Цыганахъ* видна уже мысль. Всего лучше зайдите вы все это въ *Онегинѣ*, прочитавъ одну за другою, сряду, всѣ

восемь главъ его. Поэтъ начинаетъ Онѣгина чудною исповѣдью души, какъ будто артистъ звучнымъ, сильнымъ аккордомъ. Но *первая глава* самой Поэмы пестра, безъ тѣней, насмѣшлива, почти лишена Поэзіи; *вторая* впадаетъ въ мелкую сатиру; но въ *третьей* — Татьяна есть уже идея поэтическая; *четвертая* облекаетъ ее еще болѣе увлекательными чертами; *пятая* — сонъ Татьяны, довершаетъ поэтическое очарованіе; въ *шестой* поэтъ снова впадаетъ въ прежній тонъ насмѣшки, эпиграммы, и тоже слѣдуетъ въ *седьмой*, но поединокъ Ленскаго съ Онѣгинимъ выкупаетъ все, и — наблюдайте разницу насмѣшливаго взгляда *первой* и *седьмой* главы: тамъ острякъ — здѣсь поэтъ; тамъ холодная эпиграмма — здѣсь уже голосъ обманутой души, оскорбленнаго сердца, выражаемый поэтически. Это еще болѣе отличаетъ *восемью* главу, и послѣднее изображеніе Татьяны показываетъ вамъ, какъ измѣнился, какъ возмужалъ поэтъ семью годами, протевшими отъ изданія первой главы Онѣгина!

Идея народности проявляется наконецъ Пушкинымъ въ *Полтаву*. Его *Русланъ*, *Кавказскій плытникъ*, *Алеко*, *Опытникъ* были тѣни, которыхъ можете переносить куда угодно. *Мазепа*, *Кочубей*, *Марія*, *Петръ* — созданія Русскія, мѣстныя; еще не вездѣ видѣнъ вѣрный очеркъ, еще прежняя тѣнь Поэзіи Пушкина ложится и на сіи лица; еще не вѣренъ и отчетъ въ главной идеѣ Поэмы; но вы видите уже какъ самобытность поэта, такъ и національность его созданій, и можете предугадывать, что изъ него можетъ быть при дальнѣйшемъ порывѣ впередъ.

Не полонъ былъ бы объемъ сочиненій Пушкина, и потерялись бы для насъ примѣты его постепенно болѣе самобытности и непрерывно возрастающей мѣстности и національности его Поэзіи, если бы мы, кромѣ поэмъ, не пересмотрѣли его мелкихъ стихотвореній. Не говоримъ о *Нуминѣ* — забавной шуткѣ, *Братьяхъ разбойникахъ*, гдѣ отзывается Русь сквозь Байроновскую оболочку; но припомните собѣ три части *Стихотвореній Пушкина*. Здѣсь болѣе 200 пьесъ характеризуютъ поэтическое поприще его съ 1815-го по 1832-й годъ; здѣсь лѣтопись его поэтической жизни, и впечатлѣній, отсюду втѣснявшихся въ его душу, отъ мирной юности Царскосельскаго Лицея до новой Петербургской жизни, во все время странничества его на Кавказѣ, по степямъ Новороссійскимъ, въ долинахъ Арзерума, среди суеты столичной и въ глуши деревни. Не

будемъ говорить о пьесахъ ничтожныхъ, или подсказанныхъ разными случаями, не о мелочахъ, недостойныхъ Пушкина, какъ-то: эпиграммахъ на людей, не стоявшихъ даже щелчка, альбомномъ сорѣ, странныхъ дистихахъ въ *мнимо-древнемъ* родѣ, переводахъ, которые могъ бы Пушкинъ отдать на драку другимъ, жаждущимъ движенія поэтической воды восторга, хоть бы чужаго (впрочемъ, изъ *переводовъ* его нельзя не замѣтить нѣкоторыхъ, какъ-то: подражаній Библии, и особливо *Отрывка изъ Вильсоновой Трагедии*: они прекрасны). Мы увѣрены, что со временемъ самъ Пушкинъ выброситъ изъ собранія своихъ сочиненій многое, какъ-то: *Загадку, Собраніе настькомыхъ, Дорожныя жалобы, Посланіе къ Вельможѣ* — все это недостойно его! Обратите вниманіе на другое, на красоту пьесъ: Гробъ Анакреона, Амуръ и Гименей, Торжество Вакха, Мечтателю, Русалка, Домовому, Уединеніе, Прозерпина, Возрожденіе, Черная шаль, Нереида, Дочери Кара — Георгія, Война, Гробъ юноши, Къ Овидію, Ч — ву, Муза, Друзьямъ, Гречанкѣ, Подражанія Кораву, Вакхическая пѣсня, 19-го Октября, Воспоминаніе, Предчувствіе, Кавказъ, Делибашъ, Отвѣтъ анониму, Вѣсы, Трудъ, Узникъ, Анчаръ — пьесъ, писанныхъ въ разное время и столь разнообразныхъ. Но здѣсь еще не вполне узнаете вы поэта; здѣсь онъ еще не выше Баратынскаго, Языкова, Хомякова. Взгляните на *отличительныя* созданія Пушкина. Такими почитаемъ мы пьесы: *Наполеонъ* (пис. 1821 г.) *Демонъ* 1823 г.), *Къ морю* (1824 г.), *Андрей Шенье, Отрывокъ изъ Фауста* (объ 1825 г.), *Ангель, Поэтъ* (объ 1827 г.), *Чернь* (1828 г.), *Моцартъ и Сальери* (1830 г.). Посмотрите, какъ благородно, величественно преклоняется поэтъ предъ тѣнями двухъ великановъ современныхъ — *Наполеона* и *Байрона*, какъ съ негодованіемъ смотритъ онъ на бездушную *чернь*, непонимающую високаго изящества поэтическихъ думъ, какъ оправдываетъ онъ забвеніе *поэта*, въ чаду мірской суеты; какъ изображаетъ участь незабвенной жертвы Робеспьера! Въ *Демонѣ* — полная картина безумнаго ожесточенія души человѣческой, противъ всего возиѣщающаго ей высокое и прекрасное; въ *Ангелѣ* — глубоко запавшее въ душу самого отверженнаго духа зерно неба, и полное презрѣніе ко всему не-небесному; наконецъ, въ *Отрывкѣ изъ Фауста* раскрыта темная сторона, тайна, которую съ ужасомъ прочитаетъ въ сердцѣ своемъ каждый человѣкъ; въ *Моцартѣ и Сальери*

ярко схвачена таинственность созданій генія, приводящая въ отчаяніе обыкновенный умъ, простое дарованіе, всякое человѣческое искусство. Вотъ гдѣ обозначилъ себя Пушкинъ, вотъ гдѣ онъ становится выше современниковъ, вотъ наши залого того, что можетъ онъ создать, если, сбросивъ оковы условій, приличій пошлыхъ и суетъ, скрытый въ самого себя, захочетъ онъ дать полную свободу своему сильному генію! Почти все приведенныя нами пьесы такъ извѣстны Русскимъ читателямъ, что нѣтъ надобности выписывать ихъ; кто ихъ не читалъ, и даже не знаетъ наизусть? Но, можетъ быть, не всякій обращалъ на нихъ полное свое наблюденіе, не всякій понялъ, на примѣръ, то высокое благородство, съ какимъ Пушкинъ привѣтствовалъ тѣнь Наполеона. Еще до сихъ поръ на могилѣ великаго человѣка раздаются вопли близорукаго мщенія; мнимое усердіе къ Отечеству до сихъ поръ бросаетъ еще грязью въ незыблемый истуканъ безсмертнаго; до сихъ поръ, и въ стихахъ, и въ прозѣ, и въ Исторіи, и въ мнимо-патріотическихъ Романахъ, Наполеона представляютъ намъ какимъ-то Пугачевымъ, или много много, если Тамерланомъ и Аттилою. А Пушкинъ, въ самыя минуты Наполеоновой кончины, смѣло говорилъ ему, угадывая голосъ потомства и безсмертіе Наполеона:

Пріосѣненъ твоею славой,
 Почій среди пустынныхъ волнъ!
 Великолѣпная могила...
 Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
 Народовъ ненависть почилъ,
 И лучъ безсмертія горитъ...
 Да будетъ омраченъ позоромъ
 Тотъ малодушный, кто въ сей день
 Безумнымъ возмутитъ укоромъ
 Его развѣнчанную тѣнь!
 Хвала! Онъ Русскому народу
 Высокій жребій указалъ,
 И міру вѣчную свободу
 Изъ мрака ссылки завѣщалъ!

Менѣ ли прекрасенъ геній поэта нашего, когда онъ провожаетъ прощаніемъ могучій духъ, Байрона, стоитъ въ думѣ на берегу моря, именуетъ Байрона пѣвцомъ морскихъ волнъ, вызываетъ море, символъ Байрона, взволноваться непогодю, и говорить ему —

Онъ былъ, о море! твой пѣвецъ,
 Твой образъ былъ на немъ означенъ,
 Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
 Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,
 Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ!

Поэтъ задумчиво сливаетъ потомъ съ памятью Байрона память Наполеона, летитъ мыслью на дикую скалу среди пустынь моря, въ одному предмету, могущему поразить душу, гробницѣ славы, гдѣ въ мрачный сонъ погрузились величавыя воспоминанія, гдѣ угасалъ, и почилъ среди мученій Наполеонъ... И міръ опустѣлъ въ глазахъ поэта, когда вслѣдъ затѣмъ исчезаетъ другой властитель нашихъ думъ...

. . . . Куда бы нынѣ
 Я путь безпечный стремилъ?
 Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ
 Мою бы душу поразилъ,
 Одна скала, гробница славы:
 Тамъ погружались въ хладный сонъ
 Воспоминанья величавы —
 Тамъ угасалъ Наполеонъ!
 Тамъ онъ почилъ среди мученій...
 И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
 Другой отъ насъ умчался геній,
 Другой властитель нашихъ думъ —
 Исчезъ, оплаканный свободой,
 Оставя міру свой вѣнецъ...
 Міръ опустѣлъ....

Не будемъ разбирать *Андрея Шенъе*, полной поэмы, гдѣ блескъ стиховъ, и живопись картинъ равны грозному негодованію, потрясающему душу поэта. Но разберите *Демона*. Вотъ пьеса, гдѣ нѣсколькими стихами выражено все, могущее увлечь юную душу — новостъ впечатлѣній бытія, взоръ дѣвъ, ночное пѣніе соловья и шумъ мрачной дубравы, чувство свободы, славы, любви, и волненіе вдохновенныхъ искусствъ, осѣняющее внезапною тоскою часы надеждъ и наслажденій. Какое искусство: противопоставить всему этому тайныя посвѣщенія злобнаго генія, печаль встрѣчи съ нимъ, его чудный взглядъ, улыбку, язвительную рѣчь, вливающую хладный ядъ въ душу, его *неистощимую* клевету, которою *искушаетъ* онъ Провидѣніе, его презрѣніе вдохновенія, его названіе прекрас-

ною мечтою, его *нестріе* въ любовь и свободу! Вспомните наконецъ заключительные стихи этой глубокой философіи поэтической:

. . . . Ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ!

Не хотите ли разгадать тайну этого генія злобы? Микель-Анжеловская картина передъ вами: *ненависть* ко всему небесному, *презрѣніе* ко всему земному — и какъ очаровательно выражена эта тайна различія неба и земли! Если вы не поняли ея — истолкованія не пояснятъ ея для васъ.

Отрывокъ изъ Фауста — Гёте могъ бы вмѣстить въ свое безсмертное созданіе, и его не отличили бы въ ряду картинъ, составляющихъ эту чудную эпопею пѣвца Германскаго. Въ *Моцартъ и Сальери* такая же ужасающая истина, какъ и въ *Отрывкѣ изъ Фауста*. Вспомните только сія слова Сальери:

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній — не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ —
И озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго? О Моцартъ, Моцартъ!

И это отчаяніе, эту логику бѣшенства страсти, это ограниченное негодованіе дарованія, бессильнаго передъ геніемъ:

Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ ли онъ тѣмъ искусство? Нѣтъ!
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ:
Наслѣдника намъ не оставитъ онъ.
Что пользы въ немъ? Какъ нѣкій Херувимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть!
Такъ улетай же — чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Подробный разборъ красотъ и самыхъ выраженій должно предоставить эстетическому чувству — довольно упомянуть о великомъ и прекрасномъ; не будемъ уподобляться старымъ Лагарпомъ, доказывать правилами Риторики изящество, прелесть стихотвореній, о которыхъ мы здѣсь говорили, не станемъ доказывать читателямъ

каждаго слова и подсказывать имъ: здѣсь восхищайтесь, здѣсь плачьте, здѣсь радуйтесь, здѣсь печальтесь — тѣмъ болѣе, если угодно вѣрное логическое доказательство — что это увлекло бы насъ далеко за предѣлы нашей статьи.

Скажемъ о пьесахъ совершенно другаго рода, другаго направленія. *Вступленіе* къ Руслану и Людмилѣ и двѣ пьесы: *Женихъ* и *Утопленникъ*, дополняютъ то, что мы сказали выше сего о проявленіи въ *Полтавѣ* Пушкина самобытной народности. Наташа, съ ея добродушными словами:

Злодѣй дѣвицу губить:
Ей праву руку рубить...
Она глядитъ ему въ лицо —
«А это съ чьей руки кольцо?»

И этотъ бѣдный мужикъ, который боится земскаго суда болѣе совѣсти — эта живая картина съ природы: *Мертвецъ*, снова плывущій внизъ, за могилой и крестомъ, плывущій долго и, какъ живой, качающійся между волнами рѣки, ночная буря, явленіе утопленника — все это также наше Русское, чисто народное, какъ народны картины народныхъ сказокъ, изображенныя во *Вступленіи* къ Руслану и Людмилѣ.

Читатели можетъ быть удивятся, что мы ничего не скажемъ здѣсь объ одномъ изъ послѣднихъ сочиненій Пушкина: *Сказка о Царѣ Салтанѣ*. Имѣя на то свои причины, мы упомянемъ объ ономъ впослѣдствіи. По всему, по времени изданія, и по сущности, *Бориса Годунова* должно почестъ *окончательнымъ* твореніемъ Пушкина: въ немъ соединены всѣ его достоинства, всѣ недостатки — весь Пушкинъ и вся его Поэзія, каковы онъ и она были доннѣ, и являются въ *нынѣшнемъ* своемъ состояніи. Сообразимъ же, приступая къ *Борису Годунову*, предварительно все, что мы говорили здѣсь о Пушкинѣ и его Поэзіи.

Безъ опредѣленія предмета ничто не будетъ опредѣленно. Что дѣлать съ бѣднымъ умомъ человѣческимъ, если онъ безъ отчета Логикѣ шагу порядочно сдѣлать не можетъ, даже разсматривая произведенія поэтического восторга! Постараемся, по крайней мѣрѣ, хотя о томъ, чтобы опредѣленія наши не походили на опредѣленія одного извѣстнаго Словаря, гдѣ находите иногда дефиниціи Поэзіи и Любви, почти такого содержанія: Поэзія — *способность выра-*

жаться мѣрною рѣчью, или стихами и созвучіями, или рифмами, въ украшенныхъ картинами, описаніями, а также и другими вставочными мѣстами, сочиненія ихъ кончѣ, обыкновенная рѣчь не допускаетъ; Любовь, стремленіе душевное, соединенное съ тѣлеснымъ вождельніемъ, заставляющее находить въ одной женщинѣ все совершенства Природы и Человѣка, желать соединиться съ нею законнымъ бракомъ и производить послѣ себя потомство, или воспроизводить себя въ дѣтяхъ. Боясь, что слова наши почтутъ несправедливою шуткою, скажемъ, что немного лучше были многія Русскія критическія статьи о Пушкинѣ; доказательства сего, отчасти, представимъ мы далѣе.

Спрашиваемъ: какой поэтъ Пушкинъ преимущественно? Точно ли онъ выражаетъ собою Европейскую литературную современность, главныя черты коей означали мы въ началѣ нашей статьи? Наконецъ, какъ понимаетъ онъ приложеніе новыхъ идей къ самобытной Русской Поэзіи?

Главное сходство Пушкина съ Державиннымъ: онъ поэтъ лирическій. Въ наше время не должно ждать отъ него Одъ торжественныхъ; и самую Оду иначе теперь понимаютъ. Державинъ писалъ уже не Оды — собственно; но лиризмъ Пушкина видѣнъ во всѣхъ его поэмахъ, и въ самомъ размѣрѣ, какой онъ всего чаще выбиралъ для своихъ созданій. Если Лиризмъ сливается въ нашъ вѣкъ съ Эпосею и съ Драмою, этотъ современный намъ характеръ Поэзіи есть характеръ Поэзіи Пушкина. Но Лирическая Поэзія — мгновенный пылъ, огонь, вихрь, нисшая степень поэтическихъ твореній, ибо она не столь всеобъемлюща, не столь продолжительна, не столь глубока, какъ чистая Эпосея и полная Драма, Байронъ, безспорно, ниже Данте и Шекспира. Чѣмъ? Онъ собственно лирикъ, а Данте эликъ, Шекспиръ драматикъ. Байронъ молнія — Шекспиръ солнце.

Смѣшаннымъ направленіемъ Лиризма, Пушкинъ носитъ уже на себѣ типъ современности. Разсматривая подробно его творенія, окончательно увѣраемся, что Пушкину не чуждо было и есть все, что волновало, двигало, тревожило нашъ разнообразный вѣкъ. Всего болѣе онъ подчинялся могуществу Байрона, но и другія силы Романтизма ярко отражались на немъ: Баллада Испанская, Нѣмецкая, Поэзія Восточная и Библейская, Эпосея и Драма Романтическая, разнообразіе Юга и Сѣвера, вдохновляли его Лиризмъ, стремящійся къ Эпосеѣ и Драмѣ. Все это, выражая характеръ

современности, составляя характеръ Пушкина, должно было наполнить привести его къ Драмѣ и Роману; но Романъ, какъ прозаическое отдѣленіе, не могъ соответствовать наклонности дарованія Пушкина, и опытъ его въ Романѣ былъ вовсе неудаченъ: мы разумѣемъ здѣсь *Повѣсти* въ прозѣ, изданныя Пушкинныя, подъ именемъ *Блжжана*. Другой опытъ романа, видѣнный нами въ одномъ изъ альманаховъ, брошевъ былъ поэтомъ неоконченный: онъ лучше снисходительныхъ друзей своихъ и поклонниковъ умѣлъ оцѣнить самого себя. И такъ, подобно современности, не удовлетворяемый однимъ Лиризмомъ, и сильно устремившійся къ Эпосѣ, потомъ къ Драмѣ, Пушкинъ послѣ нѣсколькихъ Поэмъ рѣшается создать Дразу.— Но, какія же Драма займетъ нашего поэта? *Классическая* невозможна; объ ней и говорить нечего. Обратится ли онъ къ мелкой дробн драматической, *мѣщанской трагедіи*? Или захочетъ создать Дразу эпическую, южнаго происхожденія, которая оживляла мистеріи Кальдерона, и отозвалась въ нѣкоторыхъ твореніяхъ Шиллера (*Орлеанской дѣвѣ*, *Мессинской невѣстѣ*), въ *Фаустѣ* Гётевомъ, въ фаталическихъ созданіяхъ Мюльнера и мистическихъ твореніяхъ Вернера, ту Дразу, гдѣ тайны судьбы выставляются наружу, на сцену, въ дѣйствіе? Или наконецъ, осуществитъ онъ для отечества Дразу сѣверную, коей высокій типъ представляетъ Шекспиръ, и которую столь справедливо уподобляютъ статуѣ Лаокоона, гдѣ сила Судьбы выражается только змѣями—страстями человѣческими, и борьбою воли человѣка противъ сихъ змѣй, какъ тайныхъ опредѣленій Судьбы— жизнью человѣческою? И въ сей Драмѣ изобразитъ ли онъ кипѣніе страстей и рѣшенія судьбы въ подвижности событій, какъ дѣлаютъ это новые Французы; или осуществитъ ихъ въ представленіи огромныхъ характеровъ, каковы Макбетъ, Отелло, Лиръ, Гамлетъ Шекспировы, или, наконецъ, только воссоздастъ вѣрно протекшія событія въ *Историческихъ* драмахъ, подобныхъ драматической хроникѣ Шекспировыхъ Генриховъ и Ричардовъ? И въ семъ отдѣленіи Дразы будетъ ли онъ только связывать рамоу Дразы событія дѣйствительныя, какъ видимъ это въ новыхъ Французскихъ *историческихъ сценахъ*; или будетъ облекать отдѣльнымъ единствомъ полныя части событій, какъ дѣлалъ Шекспиръ, сохраняя притомъ истину Исторіи; или, наконецъ, удаляясь отъ Исторіи, представитъ ихъ въ обманчивомъ свѣтѣ идеаловъ, каковы Гётевъ *Эмонтъ* или Шиллеровы *Донъ-*

Карлосъ и Валленштейнъ? — И гдѣ возьметъ онъ краски: въ изобрѣтеніяхъ ли своихъ, или въ Исторіи, и если въ Исторіи, то въ отечественной ли?

Желая рѣшить всѣ сіи вопросы, находимъ, что Пушкинъ рѣшился создать *Драму сѣверную, Историческую*; что образцомъ его была *Шекспирова Историческая Драма*. Онъ хотѣлъ проявить притомъ самобытное, національное, и взялъ предметъ изъ отечественной Исторіи. Разборъ Драмы Пушкина покажетъ, какъ понимаетъ онъ теорію Драмы, и вѣрно ли дѣлаетъ приложенія новыхъ идей для самобытности Русской Драмы.

Предварительно нѣсколько словъ о новѣйшей Драмѣ. Утвердивъ мнѣніе, что Драма и въ нашъ вѣкъ необходимо должна существовать, какъ существовала она во всѣ другіе, спрашиваютъ: какая должна быть наша Драма?

Намъ кажется, что это вопросъ совершенно бесполезный. Отвѣтъ на него заключается въ сущности Драмы вообще, въ направленіи дарованій писателя и въ предметъ, какой избираетъ онъ для своей драмы. Что намъ за дѣло, увлекается ли онъ въ мысль о Судьбѣ Древнихъ, въ фатализмъ Германцевъ, въ духовность мистерій? — Вѣренъ ли онъ избранному идеалу созданія? Выполняетъ ли онъ изящно свою идею въ развитіи частей? Вотъ вопросы, заключающіе въ себѣ рѣшеніе Критика. Грильпарцеръ потому ничтоженъ, что онъ ложно смотритъ на сущность Драмы: Мюльнеръ потому хорошъ, что вѣрно выполняетъ свою основную, хотя и одностороннюю идею. Орлеанская Дѣва, Шиллера, тѣмъ недостаточна, что неумѣстная любовь и ничтожныя подробности вредятъ величію сей изящной мистеріи, а Вернеровъ *Лютеръ* прекрасенъ, при всѣхъ частныхъ недостаткахъ, если мы станемъ смотрѣть на него, какъ не на Историческую, но на *мистическую* Драму. Шекспирова Драма хороша тѣмъ, что она полна, огромна, соразмѣрна сама себѣ, вѣрна, отчетлива, глубока. Но Шекспирова Драма не годится для насъ — говорятъ теоретики. — Мы, новѣйшіе, должны прибавить къ ней все, чего не зналъ Шекспиръ, и что послѣ него узнало Человѣчество. Но измѣнится ли отъ этого сущность Драмы? Если Человѣчество разочаровалось кое въ чемъ, если оно пояснило для себя кое что, Поезія не измѣнилась въ своихъ основаніяхъ, Человѣкъ остался одинъ и тотъ же, только онъ ходитъ иначе, говоритъ иначе, смотритъ иначе. Это дѣло формъ. И развѣ о подробностяхъ кто-

нибудь спорить? Передъ вами всё онъ, всё роды, всё формы, всё выраженія, и свобода дается вамъ совершенная! Творите, какъ Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ, Вернеръ; изобрѣтайте свое направленіе, особенное, самобытное — мы ни въ чемъ не споримъ!

Надобно согласиться, что новая Драма еще не произвела ничего вѣковаго, великаго (исключаемъ Гётево). Безспорно, что и некогда ей было произвести, ибо она еще слишкомъ нова. Но главныя затрудненія едва ли не состоятъ въ томъ, что 1-е, мы слишкомъ много умничаемъ, не можемъ отстать отъ авторитетовъ, и не столько творимъ, сколько *сочиняемъ*, съ излишнею чопорностью глядя на Поэзію; 2-е, что мы увлекаемся крайностями и впадаемъ въ одно-сторонность. Для примѣра перваго, возьмите Гётева *Эмонта* и Шиллеровы историческія пьесы. Мало было Гёте изобразить Эмонта, какъ онъ былъ, въ величественной простотѣ Исторіи: дѣлаетъ его молодымъ человѣкомъ, героемъ, приставляетъ мечтательную Клару, видѣнія славы и свободы, и оттого все становится у него на ходули. Такъ идеальность Макса и Германскій либерализмъ Донъ-Карлоса повредили симъ прекраснымъ созданіямъ Шиллера. Напротивъ, какъ простъ, какъ хорошъ Шиллеръ въ *Вильгельмъ Телль* — это истинная жизнь, это живая Исторія!

Для примѣра другаго, могутъ послужить новые Французы. Желаніе: слишкомъ строго отдавать отчетъ мѣстности и приводить все въ философскую перспективу — вотъ недостатокъ Девины. Перспектива у него вѣрна, и мѣлочи, можетъ быть, отчетливы; но простоты жизни нѣтъ и въ огромномъ, правильномъ домѣ его живетъ система, а не человѣкъ. — Страніе идти на переборъ старому, личныя отношенія, систематическая мысль смѣшивать смѣшное и высокое, излишній лиризмъ, желаніе странныхъ противоположностей — вотъ недостатки Драмы Гюго. Совсѣмъ не такъ, кажется, дѣлалъ простякъ Шекспиръ. Онъ невѣжда и гевій. Системъ и Пинтекъ онъ не знаетъ. Ему попадаетъ курьезная, старинная: *Гисторія, о томъ, съ какимъ искусствомъ Аметъ, бывший въ послѣдствіи Королемъ Датскимъ, отмстилъ смерть отца своего Горвендила, убитаго Феннономъ, его дядею, и о другихъ случаяхъ его жизни*. Орлинымъ взоромъ проникаетъ онъ въ сущность идеи, скрытой въ этой сказкѣ; поэтическія подробности представляются ему сами собою; все освѣтилось глубиною его мысли; тутъ есть

всеуродливости генія, великое и малое страстей, безобразное и прекрасное. Но и мышъ Гамлетова, и пѣсня Офелии, и разговоръ могильщиковъ, и монологъ Гамлета — это создано, не сочинено: все это заключалось въ нелѣпой сказкѣ Беллефореста — геній Шекспира только выростилъ вѣковые дубы изъ этихъ ничтожныхъ сѣмянъ. Онъ поливалъ ихъ волшебною водою своей Поэзій, онъ зарилъ ихъ молніями великой думы своей. Что ему за дѣло до системы и Философіи? Его система въ душѣ, его Философія въ сердцѣ, его тайна въ великой идеѣ, которую угадалъ его геній. Онъ писалъ можетъ быть, на какомъ-нибудь обрубѣ, за кулисами; онъ справлялся съ психическимъ трактатомъ о душѣ человѣка. Мы не таковы: намъ надобна конторка краснаго дерева, удобный Вальтеръ, гдѣ могли бы мы сидѣть и размышлять. Если мы пишемъ Скандинавское событіе, мы справимся прежде у Маллета, что онъ пишетъ; поищемъ поэтическихъ красотъ въ Спорро-Стурлезонѣ, прочтемъ Гёте, Шиллера — постараемся блеснуть умомъ. Наша личность не дастъ намъ покоя, пока не опредѣлитъ предварительно картинъ, противоположностей, яркихъ мыслей, *интереса* Драмы.

Всего страннѣе такое напряженіе въ *Исторической Драмѣ*. Тутъ вовсе не должно быть пытки нашему воображенію. Вы читаете Исторію: глубокая идея, составляющая собою узелъ цѣлаго ряда событій, поражаетъ васъ — вы отгадали эту основную, тайную идею, *мысль* этого узла. Если вы вѣрно отгадали ее, то подробности, мѣстности, характеръ вѣка, характеры лицъ, даже языкъ ихъ, сами собою разовьются передъ вами, вы погрѣшите, можетъ быть, Археологически, Хронологически, но отнюдь не эстетически. Надѣлайте намъ такихъ ошибокъ, какихъ надѣлалъ Шекспиръ въ своихъ Трагедіяхъ, взятыхъ изъ Римской Исторіи, какія вставилъ онъ въ I-ю часть своего *Генриха IV-го* — мы не скажемъ вамъ ни слова: вы проняли основную идею по своему; полно и вѣрно развили эту идею; идея ваша глубока и многообъемлюща; объ остальномъ мы не спрашиваемъ, ибо всѣ подробности, когда онѣ будутъ вѣрны основной идеѣ, будутъ непремѣнно истинны.

Положимъ напротивъ, что вы взяли мѣлкую идею или, что вы не поняли тайной мысли судьбы въ великихъ событіяхъ. Тогда изучайте, какъ вамъ угодно, мѣстныя подробности; наставьте противоположныхъ, разительныхъ сценъ; будьте расточительны на лица,

какъ самый отчаянный Романтикъ; придѣляйте множество вводныхъ, частныхъ мѣстъ, блистайте отдѣльными красотами частей — все явится у васъ невѣрно, неудовлетворительно, ложно.

Мысль: создать *Драму Историческую* показываетъ удивительно смѣливый гений Пушкина, ибо онъ не рѣшился на созданіе Драмы, основаніемъ которой была бы мысль, имъ самимъ изобрѣтенная. Болѣе свободный въ развитіи собственной своей идеи, онъ болѣе взялъ бы на отчетъ свой, когда при томъ надобно-бы было ему создавать и характеры, и подробности. Кромѣ того, онъ хотѣлъ явить не только самобытное, но и *національное*, извлечь для сего элементы изъ своего роднаго, *отечественнаго*, а создавая свое собственное, вымышленное, онъ могъ удалиться отъ національнаго. Какой-нибудь *Фаустъ*, *Донъ-Жуанъ*, *Моцартъ* (если точно, какъ говорятъ, Пушкинъ имѣлъ въ виду сіи сюжеты для Драмы) увлекли бы его въ сферу чуждую, и не могли бы положить основанія Романтической Драмы въ Россіи.

Выборъ предмета Драмы есть также доказательство проникательнаго гения Пушкина. Мало найдемъ предметовъ, столь поэтическихъ, характеровъ, столь увлекательныхъ, событій разительныхъ, каковы жизнь Бориса Годунова, характеръ его, странная судьба его самого и его семейства. Сообразите притомъ, что на памяти Годунова положено самое счастливое для Поэзіи обстоятельство: неточность, нерѣшительность опредѣленія Историческаго — вотъ сокровище для дарованія смѣлаго, сильнаго! Прибавьте: яркость, дерзость, такъ сказать, съ какою Судьба совершала свои опредѣленія въ жизни Годунова.

Дѣйствительно: въ юности рабъ Грознаго Царя; въ зрѣлости лѣтъ любимецъ и сильный вельможа слабого сына его, послѣдней отрасли Рюрика; потомъ первый Царь Русскій по избранію, смѣлый, сильный, могущій властитель, достойный начать собою новое царственное поколѣніе, и вдругъ — низвергаемый, губимый Судьбою, въ полгода съ высоты трона бѣдственно низшедшій въ могилу — и отъ кого? какъ? Отъ бродяги, дерзкаго разстриги, отъ ничтожной толпы его сообщниковъ! И какое же могущество губить Бориса въ этомъ врагъ? Имя невиннаго отрока, погибшаго за 14 лѣтъ, подъ мечемъ гнуснаго убійцы! Всего непонятнѣе, что безпристрастная Исторія не рѣшается еще назвать Бориса *виновникомъ* этого злодѣяства, не смѣетъ положительно очернить памяти великаго чело-

вѣка проклятымъ названіемъ цареубійцы. Сколько тутъ поэзи, и что созданное воображеніемъ посмѣемъ мы поставить рядомъ съ Исторіею Бориса! Какія богатія краски притомъ: Россія съ своею *царемлюбовію, православною* Москвою; Польша, съ своими рыцарскими, наѣздническими нравами, съ своимъ суевѣрнымъ Королемъ, и подлѣ нея Казаки—буйная, полудикая толпа, слѣдующая за хоругвами дерзкаго искателя престола и приключеній; наконецъ, тайная судьба Промысла, рѣшающаго участь двухъ великихъ царствъ, и жертва непостижимыхъ рѣшеній его въ участи семейства Борисова... Повторимъ мысль не новую: никогда фантазія никакого поэта не превзойдетъ поэзи жизни дѣйствительной. И если когда-нибудь это можетъ быть справедливо, то, конечно, въ судьбѣ Бориса Годунова.

Тенерь цѣль и выборъ прекрасны. Какъ приступитъ нашъ Поэтъ къ воссозданію жизни минувшаго, къ проявленію великой мысли, запавшей въ его воображеніе? Передъ нимъ лежитъ чистое поле Романтизма, и ничто не стѣсняетъ его. Опѣнитъ ли онъ вполне свою идею? Гдѣ поставитъ онъ предѣлы объему своей Драмы? Какъ создастъ онъ цѣлое изъ непрерывнаго ряда событій, и на какія точки обопретъ онъ *единство* Своей Драмы?

Прочтите листокъ, слѣдующій послѣ заглавнаго листа драмы Пушкина: *«Драгоцѣнной для Россіянъ памяти Н. М. Карамзина сей трудъ, гениемъ его вдохновенный, съ благоговѣніемъ и благодарностію посвящаетъ Александръ Пушкинъ»*. И такъ: еще разъ суждено было Пушкину заплатить дань своему воспитанію, образованію своихъ юныхъ лѣтъ, предразсудкамъ, авторитетамъ стараго времени! Еще разъ Классицизмъ, породившій Исторію Карамзина, долженъ былъ восторжествовать надъ сильнымъ представителемъ Романтизма и Европейской современности XIX-го вѣка въ Россіи! Прочитавъ посвященіе, знаемъ напередъ, что мы увидимъ *Карамзинскаго* Годунова: этия словомъ рѣшена участь драмы Пушкина. Ему не пособятъ уже ни его великое дарованіе, ни сила языка, какою онъ обладаетъ. Мы увидимъ въ его Драмѣ только борьбу сильнаго генія, блѣдный оттѣнокъ великой идеи, и подробности должны быть непременно ложны и сбивчивы или безцвѣтны. Не пособитъ и широкая рама Романтизма. Ошибки новѣйшихъ Драматиковъ отразятся на Пушкинѣ: онъ самъ на себя надѣлъ цѣпи. Одну изъ неудачныхъ частей *Исторіи государства*

Россійскаго составляет у Карамзина описаніе царствованій Іоанна Грознаго, Θεодора, Бориса, Лжедмитрія и Шуйскаго. Не говоримъ о подробностяхъ: онѣ могутъ быть, болѣе или менѣе, вѣрны. Но Карамзинъ безчеловѣчно ошибся въ основныхъ началахъ событій цѣлаго столѣтія, и до такой степени былъ изысканъ въ расположеніи ихъ подробностей, что истина совершенно потухла подъ оптическимъ зеркаломъ его разсказа, и, вмѣсто настоящихъ характеровъ и дѣйствій, у него явились какіе-то призраки.

Прежде всего, Карамзинъ не понялъ (или *не хотѣлъ понять* — и тѣмъ хуже!) совершеннаго измѣненія въ духѣ народа, и въ отношеніяхъ Русской Удѣльности, какія начались съ Василія Темнаго и кончились Іоанномъ Грознымъ. Василій Темный наложилъ роковую руку на голову гидры Удѣловъ, въ борьбѣ съ Шемякою; Іоаннъ III-й сжалъ крѣпкою рукою разрозненныя части государственнаго тѣла Россіи; смерть внука Шемякина и присоединеніе Рязани къ Москвѣ Василіемъ довершили Исторію Удѣловъ. Князья сдѣлались послѣ того вельможами, властители боярами, Великій Князь Царемъ; политическая борьба съ полемъ междоусобія перешла въ палаты Царскія. Какъ сильна, какъ дѣятельна должна была быть сія новая жизнь! Она и была такова. Посмотрите на партіи Глинскихъ, Телешневыхъ, Шуйскихъ, Бѣльскихъ, Курбскихъ; вслушайтесь въ буйство партій при смертномъ одрѣ Іоанна, уже побѣдителя Казани, уже 7 лѣтъ самовластителя Россіи, мужа въ полной силѣ возраста, супруга добродѣтельной Анастасіи, и вы узнаете, что сдѣлало сильнаго, умнаго, хотя и возмущаемаго страстями Іоанна *Грознымъ*. Онъ ужасенъ. Возставъ съ своего смертнаго одра, онъ также свирѣпо началъ терзать Аристократію, какъ немилосердно дѣдъ и прадѣдъ его терзали Удѣльную систему. Но гибель Новгорода, *шесть эпохъ* казней, и двадцать пять лѣтъ желѣзнаго правленія Іоаннова, убило-ль все это Аристократію Дворскую? Нѣтъ! въ лицѣ Курбскаго, она смѣлась безсильной ярости Іоанна; въ лицѣ Скуратовыхъ, потворствуя страстямъ владыки, какъ прежде, въ лицѣ Адашева, владѣя добрыми его свойствами, она унижалась, работничествовала, и — владѣла царствомъ, тяготѣла надъ народомъ. Не смѣла она поднять взоровъ своихъ на Царскій тронъ, когда умеръ Грозный, когда 14-ть лѣтъ рукою слабого Θεодора правилъ честолюбивый отважный членъ сей Аристократіи, Борисъ Годуновъ. Она позволяла ему богатѣть, славиться, властвовать; но и сама,

какъ туча молніями, богатѣла связями, силою, смутами. Борисъ перехитрилъ всѣхъ — онъ попралъ ногами Аристократію, онъ сѣлъ на престолъ Царскій; но съ сего часа онъ обрекъ себя на погибель. Что онъ станетъ дѣлать: свирѣпствовать, какъ Іоаннъ? Унижаться, какъ потомъ унижался Шуйскій? Онъ думаетъ сначала привязать къ себѣ мудростью, кротостью, силою — тщетно! Вокругъ него кипятъ волненія, глухія, тревожныя — и Борисъ принимаетъ жалкую систему *полумѣръ* (*demimesures*), самую вредную для прочной власти. Тогда настаетъ минута перелома. — Кто дѣйствитель? Дерзкій смѣльчакъ, назвавшійся убиеннымъ сыномъ Грознаго. Это имя могло ли быть страшнымъ Годунову? Нѣтъ! обвиненіе Годунова въ смерти блаженнаго отрока было такъ неопредѣленно, и народъ никогда не посмѣлъ бы судить совѣсти счастливаго Царя своего. Но Польша видѣла политическое средство кинуть планъ раздора въ Россію. Имѣя свои расчеты, она поддѣрживала Самозванца. Побѣды заставили бы ее умолкнуть; Духовенство — обстоятельство важное — было притомъ на сторонѣ Борисовой. Чего-же трепеталъ онъ? Что заставило его робѣть, не оставлять Москвы, не являться самому къ народу и войску, при извѣстной своей отважности, и не принимать смѣло виѣшней бури на грудь свою? Аристократія: ее трепеталъ Борисъ, не дерзая въ это время рѣшиться ни на грозныя, ни на милостивыя мѣры; Аристократія заставляла его бояться тѣни, обманывала его, измѣняла ему, возмущала умы, отвлекала отъ Бориса сердца народа. Борисъ ясно видѣлъ, чувствовалъ это, и — не перенесъ: кровь хлынула у него изъ внутренности тѣла, среди великолѣпія Двора, когда онъ взиралъ на униженіе передъ собою тѣхъ, отъ кого долженъ былъ погибнуть онъ самъ и семейство его. Тогда началось и обнаружилось необузданное своеволіе Аристократіи: въ немъ погибли жена, сынъ Бориса, потомъ погибъ Самозванецъ, наконецъ погибъ и Шуйскій; оно оставило въ Россіи память *Семибоярщины*, предавало Россію Польшѣ, препятствовало побѣдѣ вѣры и народа, въ лицѣ Минина и Пожарскаго, и въ самомъ избраніи Михаила Романова, среди вликовъ восторга и радости, посѣяло для себя средства для новыхъ дѣйствій. Но мы всё — орудія въ рукѣ Провидѣнія, и все послужило потомъ во благо и счастье Россіи.

Такъ должно смотрѣть на политическую завязку жизни Бориса, и рядъ тогдашнихъ событій государственныхъ. Но что же видѣлъ

Карамзинъ? Вовсе не обозначивъ измѣненія системы Удѣловъ въ Дворскую Аристократію, онъ описываетъ событія, какъ началъ описывать ихъ съ самаго Рюрика, исчисляетъ погодно происшествія, побраниваетъ, гдѣ видитъ худо, похваливаетъ, гдѣ кажется ему хорошо — и только! Но ему надобны средства для Искусства, и — вотъ Грозный является у него театральнымъ тираномъ, Полоніемъ Сумарокова; самыя нелѣпныя клеветы лѣтописей повторяются, чтобы въ Борисѣ непременно представить убійцу Дмитрія Царевича, какъ прежде повторялось все, что клеветалъ на Иоанна Курбскій; цѣль противорѣчій и ошибокъ составляетъ у него описаніе всѣхъ событий. Для чего это? Для того, чтобы составить разительную картину: мщеніе Божіе за кровь невинную. И вотъ всѣ яркія краски истощены, чтобы явить Бориса сначала сильнымъ, могущимъ, мудрымъ, въ 1-й главѣ XI-го тома *Исторіи Государ. Россійскаго*. И словно театральныи громъ, вдругъ разражается надъ цареубійцею II-я глава того же тома! Будто такъ бываетъ въ жизни и будто такъ было и при Борисѣ? Нѣтъ, совсѣмъ не такъ! Риторика, фразы, и сущая пустота и несообразность, отрываются при самомъ легкомъ взглядѣ Критики на все, что писалъ Карамзинъ о событіяхъ въ Россіи съ 1533-го до 1612-го года...

Какъ могъ Пушкинъ не понять поэзія той идеи, что *Исторія не смѣетъ утвердительно назвать Бориса цареубійцею?* Что недостоверно для Исторіи, то достоверно для Поэзіи. И что могъ извлечь Пушкинъ, изобразя въ Драмѣ своей тяжкую судьбу человѣка, который не имѣетъ ни силъ, ни средствъ свергнуть съ себя обвиненіе, передъ людьми и передъ потомствомъ! Клевета безвѣстная, глухо повторяемая народомъ, тлѣетъ въ душахъ Аристократовъ, когда имя *Самозванца* отдается изрѣдка въ слухъ Бориса (онъ зналъ объ этомъ за пять лѣтъ до явнаго похода Лжедмитрія). Надъ головою его умножаются бѣдствія; Аристократія дѣйствуетъ — легкій слухъ превращается въ явный говоръ — Борисъ губитъ Романовыхъ, преслѣдуетъ Шуйскихъ — политика Польши обращается на Россію — и что казалось мечтою, дѣлается всеокупающею дѣйствительностью. Какое великое развитіе тайнъ судьбы, какое обширное раздолье для раскрытія характеровъ, для изображенія Россіи, Польши, Бориса, Самозванца, Аристократіи, народа!

Все это утратилъ Пушкинъ, взявъ идею Карамзина. Остроумно замѣтилъ Критикъ *Европейца*, что содержаніе Драмъ Пушкина

составляетъ очищеніе преступленія, наложеннаго на совѣсть Бориса убійствомъ царственнаго отрока. Слѣдовательно, вся драма Пушкина есть только исполненіе приговора, уже подписаннаго Судьбою? Критикъ *Европейца* обращаетъ это въ особенную похвалу Пушкину. Мы поговоримъ далѣе, можно ли было на сей идеѣ основать Трагедію. Теперь посмотримъ, какъ развилъ Карамзинскую идею Пушкинъ.

Замѣтите сначала, въ какую нерѣшительность поставила она нашего поэта. Онъ создаетъ *Драму* — всѣ видятъ это, и самъ онъ знаетъ, но онъ не смѣетъ назвать ее Драмою, и говорить просто: *Борисъ Годуновъ*. Это похоже на дѣтскую игру — ребенокъ закрываетъ лицо руками и думаетъ, что онъ спрятался. Пушкинъ и не дѣлитъ Драмы своей на дѣйствія: двадцать два сплошныя явленія заключаютъ въ себѣ событія съ Февраля 1598-го до Іюня 1605-го года, въ теченіе семи слишкомъ лѣтъ, начинаясь избраніемъ Бориса на царство, оканчиваясь смертію сына Борисова, и провозглашеніемъ Царя Дмитрія; новая странность; но въ сторону мелочи — будемъ смотрѣть на что-нибудь поважнѣе.

Драма начинается разговоромъ Боаръ Шуйскаго и Воротынскаго. Шуйскій открываетъ своему собесѣднику, что Борисъ былъ убійцею Дмитрія Царевича, и подсмѣивается надъ упорствомъ Бориса принять вѣнецъ Царскій. Объявленіе на Красной площади: еще разъ собраться народу, и снова идти уговаривать Бориса. — Въ третьей сценѣ является Борисъ, уже принявшій престоль, и клянется право править Россію.

Промежутокъ — *пяти лѣтъ*. — Вводная сцена: Инокъ лѣтوني-сець и Отрепьевъ, служба его, будущій Самозванецъ, еще робкій, еще не дерзающій на умыселъ, бесѣдуютъ въ кельѣ Чудова монастыря. Сны, вѣщающіе грядущее, тревожатъ юнаго служку. Инокъ подробно рассказываетъ ему повѣсть о убіеніи Царевича, которой Отрепьевъ *не зналъ до тѣхъ поръ!* Инокъ смѣло называетъ Годунова убійцею.

Остатокъ Драмы, отъ сего мѣста, заключаетъ въ себѣ времени два года. Весь сей остатокъ дѣлится на *четыре* части.

Двѣ заключительныя сцены составляютъ особенный эпилогъ. Не произвольно выдумываемъ мы сіе раздѣленіе драмы Пушкина: оно является само собою.

Отд. I. *Умыселъ и быство Самозванца*. Сцена Патриарха,

которому доносить о бѣгствѣ Отрепьева, уже дерзко называвшаго себя Царевичемъ Димитріемъ, спасеннымъ отъ умысловъ Годунова. Патріархъ не рѣшается однакожь тревожить Царя извѣстіемъ объ этомъ. — Сцена во Дворцѣ: Борисъ печалится, груститъ и высказываетъ самъ себѣ упреки своей совѣсти за убіеніе невиннаго Царевича. — Дѣйствіе переносится на Литовскую границу, гдѣ хитроуловкою Самозванецъ спасается отъ царскихъ приставовъ. Слѣдательно — Борисъ *уже знаетъ объ немъ*, уже беретъ сильныя предосторожности.

Отд. II. *Слухи объ успѣхахъ Самозванца и страхъ Бориса.* Пиръ въ домѣ Шуйскаго. Хозяинъ, оставшись наединѣ съ Пушкинымъ, искреннимъ другомъ своимъ, разговариваетъ о слухахъ изъ Польши: тамъ уже принимаютъ, чествуютъ Самозванца. Бояре страшатся смятеній и высказываютъ другъ другу взаимныя жалобы на правленіе Бориса. — Сцена во Дворцѣ: Борисъ хочетъ насладиться бесѣдою съ сыномъ и дочерью; но является главный шпіонъ его, Семенъ Годуновъ, съ докладомъ о пирѣ Шуйскаго и гонцѣ, пріѣхавшемъ изъ Польши къ Пушкину. Шуйскій предвидѣлъ это — онъ самъ пришелъ донести обо всемъ. Борисъ ужасается (неужели онъ не зналъ всей мѣры опасности?) и требуетъ удостовѣренія отъ Шуйскаго о томъ, точно ли Царевичъ былъ убитъ въ Угличѣ? Шуйскій начинаетъ рассказывать ему всѣ подробности; но рассказъ этотъ приводитъ въ трепетъ Бориса. Онъ видитъ, что на него идетъ точно Самозванецъ, и велитъ только усилить предосторожности.

Отд. III. *Дѣйствіе Самозванца въ Польшѣ и походъ.* Иезуитъ и Самозванецъ оканчиваютъ какой-то разговоръ; приходъ Русскихъ изгнанниковъ, измѣнниковъ, Казаковъ, Поляковъ, готовыхъ идти съ Самозванцемъ; Самозванецъ принимаетъ ихъ; какой-то поэтъ подноситъ ему стихи. — Вводная сцена на балѣ у Мнишека: Марина обольщаетъ Собою Самозванца, и назначаетъ ему свиданіе ночью, въ саду. Большая вводная сцена сего свиданія: желая узнать его ли самого, или только *имя* Царевича любить въ немъ Марина, Самозванецъ открываетъ ей свою тайну. Нерѣшительное слѣдствіе сего объясненія. Сцена перехода черезъ границу Русскую Самозванца и его сообщниковъ.

Отд. IV. *Успѣхи Самозванца и гибель Бориса. Дѣйствіе въ Москвѣ и разныхъ мѣстахъ Россіи.* — Совѣтъ Бориса; онъ отправляетъ противъ Самозванца войско. Патріархъ совѣтуетъ при-

нести въ Москву тѣло убіеннаго Царевича, и тѣмъ уличить Самозванца. Но это снова смутило совѣтъ Бориса. — Битва подъ Новгородомъ Сѣверскимъ. — Сцена Юродиваго, который *еще разъ* напоминаетъ Борису о смерти Царевича. — Двѣ различныя сцены похода Самозванца въ Россію: представленіе плѣнника предъ Самозванца, и ночлегъ въ лѣсу, послѣ разбитія Самозванца, гдѣ онъ показываетъ свое удивительное хладнокровіе. — Разговоръ Басманова съ Борисомъ, изъявляющимъ ему полную довѣренность. Борисъ идетъ послѣ сего принять на аудіенціи гостей Нѣмецкихъ; Басмановъ остается одинъ; слышно смятеніе — Бориса выносятъ умирающаго: онъ велитъ оставить себя наединѣ съ сыномъ, и даетъ ему послѣднія наставленія. — Дѣйствіе въ ставкѣ Басманова: присланные отъ Самозванца уговариваютъ его измѣнить юному Θεодору; Басмановъ колеблется.

Эпизодъ. Гонимы Самозванца являются въ Москвѣ, на Лобномъ мѣстѣ, уговариваютъ и возмущаютъ народъ. Толпы буйствуютъ, стремятся низвергнуть Θεодора. — Послѣдняя сцена; Θεодоръ, сестра и мать его, въ заключеніи; Бояре идутъ къ нимъ; слышны шумъ и вопль; Бояре выходятъ, и объявляютъ народу, что Θεодоръ и мать его отравили себя ядомъ.

Если разсматривать сцены, каждую отдѣльно, то большая часть изъ нихъ прекрасны — нѣкоторыя особливо отдѣланы полно, мастерски. Таковы: Инокъ Пименъ и Самозванецъ; монахи на Литовской границѣ; Рѣчь Патріарха въ совѣтъ; Марина и Самозванецъ ночью въ саду; битва подъ Новгородомъ Сѣверскимъ, Юродивый, и обѣ сцены эпизода. За то другія слабы, ничтожны; таковы: самая первая; также сцена, гдѣ Борисъ избирается на царство, то, гдѣ онъ потомъ груститъ; сюда же отнесемъ пиръ у Шуйскаго и приходъ Шуйскаго къ Борису послѣ того; всего несоответственнѣе сцена кончины Борисовой. Но такой отдѣльный разборъ сценъ будетъ всегда неопредѣлительнъ и ни къ чему не поведетъ. Притомъ, что одному нравится, то не нравится другому. Для примѣра, скажемъ, что мы видали многихъ, которые въ восторгъ отъ сцены Курбскаго при переходѣ черезъ границу; намъ кажется, напротивъ, что это слишкомъ натянуто, изысканно, и не въ духѣ времени. Другіе ожидаютъ сцену сраженія, гдѣ Маржеретъ и Розенъ говорятъ по-Французски и по-Нѣмецки; намъ кажется, что ничего не можетъ быть выразительнѣе и естественнѣе этой сцены. Не будемъ входить

и въ мѣлкую критику выраженій. Все это, разборъ явленій и словъ, должно слѣдовать за разборомъ основаній идеи и развитія оной, и когда сіи двѣ части неудовлетворительны, то красота подробностей плохая помога поэту; при удовлетворительности ихъ мы готовы простить всѣ частныя ошибки и погрѣшности.

Но общее ли мнѣніе всѣхъ есть то, что когда вы прочитаете Драму Пушкина, у васъ остается въ памяти множество чего-то хорошаго, прекраснаго, но несвязнаго, въ отрывкахъ, такъ, что ни въ чемъ не можете вы дать себѣ полнаго отчета? Вотъ голосъ простаго чувства всякаго читателя.

Входя критически въ подробности, соображая цѣлое и части, идею и исполненіе, Исторію и Драму, вы увѣритесь, что все это совершенно справедливо, и происходитъ:

1-е Отъ бѣдности идеи, которая не позволила поэту развить ни характеровъ, ни подробностей, когда Драма только и живетъ ими.

2-е Отъ несправедливаго понятія объ Исторической, или вообще Романтической Драмѣ. Судя по Драмѣ Пушкина, все отличіе ея отъ Классической Драммы состоитъ въ безсвязной пестротѣ явленій, и прыжкахъ отъ одного предмета къ другому. Но это невѣрно: Романтическая Драма имѣетъ свои строгія правила и свой порядокъ дѣйствій, который, какъ замѣчаетъ Девиньи, можетъ быть, еще тяжеле Классическаго. Мнимая легкость Романтизма есть свобода, данная ея условіемъ — выкупить ее большею отчетливостью.

Мы уже говорили о томъ, какъ много потерялъ Пушкинъ, оставивъ самую поэтическую сторону жизни Годунова — неопредѣленность обвиненія въ смерти Царевича, забывъ при этомъ истинную причину его паденія и успѣховъ Самозванца — буйную Русскую Аристократію, забывъ и политическія отношенія Польши къ Россіи — онъ, естественно, долженъ былъ потеряться въ планѣ и развитіи его. Если съ перваго явленія намъ сказали тайну Бориса, что сдѣлалась вся Драма Пушкина? *Le dernier jour d'un condamné (Последній день приговореннаго къ смерти)*! Виѣсто того, чтобы изъ жребія Годунова извлечь ужасную борьбу Человѣка съ Судьбою, мы видимъ только приготовленія его къ казни, и слышимъ только стонъ умирающаго преступника. И въ этомъ размѣрѣ Поэтъ могъ бы творить обширно, свободно, могущественно, если бы раздвинулъ предѣлы, далъ болѣе жизни и мѣры дѣйствію. Положимъ, что Пушкинъ создалъ бы *два* драмн. *Одну*, гдѣ показалъ бы намъ

ненасытнаго честолюбца, его стремленіе къ трону, его злодѣйство, царевубійство, ужасъ симъ произведенный, тѣнь Царя въ лицѣ слабаго Θεодора, рядомъ съ нимъ добродѣтельную сестру Бориса, и, кончивъ восшествіемъ на престолъ Бориса, въ *другой* драмѣ изобразилъ бы намъ честолюбца достигшимъ престола, славнымъ, могущимъ, почти тестемъ Королевскаго сына, готовымъ благотворить, быть великодушнымъ при удачѣ и въ счастіи. Вдругъ перстъ Судебъ кладетъ на него печать проклятiя. Въ то время, когда Природа затворяетъ вѣдра изобилію земли, когда казны Царской недостаетъ на окупленіе бѣдствій народа, нарѣченный зять злодѣя умираетъ. Тутъ страсти людскія кипятъ — въ народѣ разбоями и буйствомъ, въ боярствѣ смутю и интригою. И среди ихъ проникаетъ слухъ о Димитріи — уже давно тревожившій душу царевубійцы. Онъ трепещетъ, губить тайно близкихъ враговъ, не смѣя однакожь рѣшиться на грозное мщеніе. Имя *Димитрія* перелетаетъ въ Польшу; честолюбіе вельможъ, политика Польскаго Короля, несутъ эту бурю въ Россію. Она падаетъ на голову Бориса, и передъ ней исчезаютъ послѣдняя любовь народа, смиренное лукавство Боярѣ, счастіе и умъ Годунова — гибель и измѣна на полѣ битвъ, гибель и измѣна въ чертогахъ его, и — тогда только страшное сознаніе излетаетъ изъ собственныхъ устъ его — признаніе царевубійства! Намъ кажется, что выразивъ такимъ образомъ въ обширной драмѣ мысль свою, поэтъ явился бы самобытнымъ создателемъ, и изумилъ бы насъ тѣмъ величіемъ, какое изумляетъ въ самомъ несовершенномъ объемѣ подобной мысли, въ *Мессинской невѣстѣ*, Шиллера, или *Очищеніи* (Die Schuld) Мюльнера.

Но, что видимъ въ Драмѣ Пушкина? Борисъ, лицо намъ незнакомое, съ робкою совѣстью, съ унылою грустью, съ терзаніемъ души, является вдругъ, мимоходомъ, на минуту, принять вѣнецъ, и пять лѣтъ послѣ того пролетѣло безъ дѣйствiя! Другая сцена: Борисъ груститъ, какъ неопытный юноша, какъ будто въ 20 лѣтъ правленiя, при Θεодорѣ и лично, онъ не зналъ ни вѣнца, ни боярѣ, ни народа! Онъ приходитъ потомъ еще разъ полюбоваться на дѣтей, что-то разыгрывается въ немъ, но едва успѣлъ ему Шуйскій напомнить о Царевичѣ, Борисъ бѣжитъ со сцены. Опять является онъ, мудрымъ Царемъ, въ думѣ своей — неосторожный Патриархъ напоминаетъ о смерти Царевича, и Борисъ *поттеть*, и тотчасъ удаляется. Вдругъ видимъ мы его выходящаго изъ Собора, гдѣ

проклила Самозванца: Юродивый ему на встрѣчу, съ прежнимъ, извѣстнымъ упрекомъ, и Борисъ не радъ ничему. Но вотъ *послѣдняя* сцена: только что разговорился Борисъ о своихъ великихъ намѣреніяхъ, какъ спѣшить за кулисы и оттуда выносить его проговорить 65 стиховъ политическаго завѣщанія сыну. Это ли Борисъ *Историческій*? И вообще таковъ ли долженъ быть страшный преступникъ, въ которомъ заключается сущность цѣлой Драмы?

Характеръ Самозванца едва-ли вѣрнѣе и естественнѣе Борисова; но, по крайней мѣрѣ, въ немъ есть жизнь, по крайней мѣрѣ онъ удалъ, буренъ, порывистъ. Мечтатель въ сценѣ съ Пименомъ, онъ ловко отдѣлывается въ корчмѣ, щегольски отличается у Вишневецкаго и Мнишеха, страстенъ у фонтана, и точный искатель приключеній въ трехъ сценахъ: переходѣ черезъ границу, допросѣ плѣнника, ночлегѣ послѣ разбитія. Советимъ *не таковъ* былъ Самозванецъ Историческій, сколько можемъ мы представить его себѣ; но и созданный Пушкинымъ, вслѣдствіе мысли его, какъ исполнитель кары за преступленіе Бориса, онъ — можетъ похвастаться сноснымъ.

При ошибкѣ въ двухъ главныхъ характерахъ, гдѣ же Польша, гдѣ Боярство Русское, гдѣ народъ, гдѣ подробности событій? Все это скрыто за кулисами. Только Шуйскій безпрерывно вертится около Бориса, стережетъ Москву, проговаривается Воротынскому, отпирается отъ этого, пируетъ, неосторожно заговаривается съ Пушкинымъ, доноситъ на него, пугаетъ Бориса, поправляетъ неосторожность Патриарха, берется уговаривать народъ. Такую же роль играетъ у Самозванца неизбѣжный Пушкинъ (который, по Исторіи, только присланъ былъ въ Москву послѣ смерти Бориса, съ письмами Самозванца къ народу). И Шуйскій и Пушкинъ наконецъ исчезаютъ; другіе во все время только безмолвствуютъ въ совѣтѣ, на пиру, или сказавъ по нѣсколько словъ, мелькаютъ мимо; Метиславскіе, Романовы, Салтыковы и прочіе, вслѣдствіи столь важныхъ лица, по своему вліянію, не отгѣнены никакими красками. Самый Васмановъ только въ одной сценѣ кажется не тѣнью, а живымъ человѣкомъ. Польшу, Іезуитовъ, Пановъ, шляхту Польскую, важное участіе всего этого въ дѣлѣ Самозванца, находимъ только въ двухъ небольшихъ, мимолетныхъ явленіяхъ, не представляющихъ собою никакого характеристическаго отличія мѣста и времени. Марина отцвѣчена сильно, но безъ пользы, и мы готовы спросить: что слѣдуетъ изъ яркаго ея очерка?

Будучи столь неудовлетворителенъ въ отношеніи *Исторической* правды, Борисъ Годуновъ долженствуетъ быть также неудовлетворителенъ и въ *Драматическомъ* изяществѣ, ибо, уклоняясь отъ Истории, поэтъ не замѣнилъ сего уклоненія ничѣмъ фантастическимъ. Нѣтъ единства ни въ дѣйствіи, ни въ развитіи частей, ни въ проявленіи характеровъ; нѣтъ жизни въ подробностяхъ; все совершается за глазами зрителя и читателей; едва дѣйствіе хочетъ развернуться, едва дѣйствующіе знакомятся съ нами, какъ все опять исчезаетъ, и мы не знаемъ ни дѣйствія, ни лицъ, пока они не придутъ вновь и не расскажутъ намъ, что сдѣлалось, пока они скрывались отъ насъ за кулисами.

Изяснять здѣсь, что Романтическая Драма основывается на строгомъ единствѣ дѣйствія, не только даетъ обширныя средства развитію подробности и характеры въ дѣйствіи, но и требуетъ непременно сего развитія; что она имѣетъ свои вѣрные, неразрушимые законы, было бы излишне: неужели думаютъ, что допуская въ дѣйствіе даже цѣлую жизнь человѣка отъ рожденія до смерти его, она становится черезъ то безпорядочнымъ смѣшеніемъ различныхъ явленій? Напротивъ: она гибнетъ безъ единства; она составляетъ изъ цѣлой жизни и изъ толпы дѣйствователей нѣчто *единое цѣлое*. Въ ней нѣтъ только *Классическихъ единствъ* и условій, которыя безобразили бы истину и жизнь; она только составляетъ противоположность Классической Драмы тѣмъ, что Классическая говоритъ — Романтическая живетъ, Классическая рассказываетъ — Романтическая дѣйствуетъ; та выставляетъ образчики и прячется — эта разстилаетъ все вполне, и сама является на сценѣ. Не думаемъ, чтобы Пушкинъ хотѣлъ нанизать только *Историческіе сцены*; въ семь случаевъ, его сочиненіе, сжатое, краткое, еще менѣе выдерживаетъ судъ Критики: нѣтъ! онъ хотѣлъ создать *Драму*, и въ этомъ отношеніи должно смотрѣть на его Бориса Годунова.

Вмѣсто всякихъ объясненій Романтической Драмы, и изложеній теоретическихъ, мы рѣшаемся представить здѣсь практической примѣръ ея, взятый изъ Шекспира. Его драма: *Король Ричардъ II-й* (King Richard II) имѣетъ нѣкоторое сходство въ положеніи дѣйствующихъ лицъ съ сочиненіемъ Пушкина. Такъ же, какъ Годуновъ, сильный Ричардъ самовластно управляетъ Англіею; бѣдный изгнанникъ возстаетъ противъ него, и въ нѣсколько мѣсяцевъ Ричардъ

былъ низвергнуть и умерщвленъ, а противникъ его началъ царствовать подъ именемъ Генриха IV-го.

Въ порядкѣ событій, Шекспиръ слѣдовалъ совершенно Исторіи: прочтите Юма, Лингарда; событія сіи чрезвычайно просты: изучаетесь, не зная драмы Шекспира, и спрашиваете — можно ли извлечь изъ нихъ что-либо драматическое? Но гений поэта умѣлъ изобразить сіи событія въ очаровательныхъ драматическихъ картинахъ, умѣлъ найти въ нихъ и единство, и характеры, и подробности.

Ричардъ II-й вступилъ на престолъ въ 1377-мъ году, будучи одиннадцати лѣтъ. Англіею управляли дяди Ричарда во время его несовершеннолѣтія, ограничивали власть его, даже оскорбляли лично его самого. Событія были довольно бурны, пока самъ Ричардъ не вступилъ въ управленіе, въ 1389 году. Народъ любилъ юнаго Короля; все казалось тихо и благополучно; но вскорѣ характеръ Ричарда измѣнился: онъ обременилъ народъ, покусился на права его, жестоко мстилъ врагамъ своимъ, безчеловѣчно умертвилъ старика дядю своего, Герцога Глостерскаго. Сынъ другого его дяди Герцога Ланкастерскаго, Генрихъ Болингброкъ, былъ обвиненъ въ порицаніи Короля. Онъ утверждалъ, что это злобная клевета, и вызывалъ обвинителя своего, Герцога Норфолькскаго, на *Божій судъ*. Когда оба соперника, равно опасные Королю, сошлись для поединка, Король объявилъ имъ обоимъ изгнаніе. Отецъ Болингброка скончался отъ горести; Король захватилъ все его наслѣдственное имѣніе. Онъ отправился потомъ укрощать утѣсенную имъ Ирландію, и въ это время Болингброкъ явился въ Англію, будто бы за требованіемъ своего наслѣдства. Отсюда стеклись его сообщники; народъ присталъ къ нему; Правитель Англіи въ отсутствіе Ричарда, Герцогъ Йоркскій, третій дядя Короля, принужденъ былъ уступить. Ричардъ, съ притворною почестью принатый Болингбромъ, по возвращеніи своемъ изъ Ирландіи, былъ объявленъ плѣнникомъ, и когда побѣдитель и плѣнный Король прибыли вмѣстѣ въ Лондонъ, сила Болингброка заставила Парламентъ возобновить дѣло о убійствѣ Герцога Глостерскаго, обвинить, низвергнуть Ричарда, и отдать корону Болингброку. Тутъ открылся разговоръ Герцога Авмерльскаго, сына Герцога Йоркскаго, въ пользу Ричарда — казнь была участіемъ заговорщиковъ (вромъ Герцога Авмерльскаго); Ричардъ, возбуждавшій опасеніе, былъ измѣнически умерщвленъ

въ темницѣ. Что сдѣлалъ поэтъ? Онъ взялъ для своей Драмы только два послѣдніе года жизни Ричарда. Вотъ очередь его творенія:

Дѣйствіе I. Торжественное обвиненіе между Болингброкомъ и Норфолькомъ, и опредѣленіе поединка. — Сцена между отцомъ Болингброка и герцогинею Глостерскою. — Поединокъ, во всемъ его величїи; но едва начать онъ, Король прекращаетъ его, и объявляетъ изгнаніе соперникамъ; тщетно молить его о пощадѣ отецъ Болингброка. Трогательное прощанье родныхъ. — Ричардъ готовится въ Ирландію; онъ торжествуетъ, слыша о тяжелой болѣзни Герцога Ланкастерскаго.

Дѣйствіе II. Смертный одръ Герцога Ланкастерскаго. Герцогъ Йоркскій, Король и Королева являются къ нему; дерзкія насмѣшки Ричарда. Смерть и отнятіе имѣнія Герцога Ланкастерскаго. Король отправляется въ Ирландію. Сцена вельможъ, передающихся Болингброку, при первомъ слухѣ появленія его въ Англіи. Горесть Королевы. Герцогъ Йоркскій идетъ на Болингброка. — Свиданіе и сцена между нимъ, Болингброкомъ и Лордами измѣнниками. Бессиліе его противиться Болингброку. — Салисбюри, начальникъ Ричардовыхъ войскъ, видитъ, какъ всѣ они разбѣгаются отъ него.

Дѣйствіе III. Сцена между Болингброкомъ и захваченными имъ вельможами Ричарда. — Ричардъ и Герцогъ Авмерльскій являются въ Англіи. — Войско Болингброка окружаетъ крѣпость Флинтъ, гдѣ скрылся Ричардъ, увидѣвъ, что всѣ войска его разбѣжались. Переговоры съ нимъ и необходимость Короля уступить сопернику. — Сцена Королевы, при извѣстїи объ этомъ.

Дѣйствіе IV. Парламентъ. Судъ надъ убійцами Герцога Глостерскаго. Герцогъ Йоркскій приноситъ отрѣченіе Ричарда; споры, явленіе самого Ричарда, его отрѣченіе личное. — Смятеніе, жалость, имъ возбужденныя. Генрихъ принимаетъ корону.

Дѣйствіе V. Прощаніе Ричарда, при разлукѣ съ Королевою. — Сцена между Герцогомъ и Герцогинею Йоркскими: отецъ открываетъ умыселъ сына противъ Генриха. Раскаяніе, слабость виновнаго. Отецъ спѣшитъ обвинить его, мать проситъ за него. — Явленіе ихъ передъ Королемъ. — Злые прислужники, изъясняющіе слова Короля о Ричардѣ: Have I no friend will rid me of this living fear (неужели нѣтъ у меня друга, который избавилъ бы меня отъ этого живаго страха)? — Они бѣгутъ въ темницу Ричарда. — Сцена въ темницѣ и убїеніе Ричарда. Торжествующій Генрихъ. Къ нему

приносятъ гробъ Ричарда. Негодованіе Генриха и упреки его убійцамъ.

Не знаете, чему болѣе удивляться въ этомъ превосходномъ созданіи: искусству ли, съ какимъ извлечено единство дѣйствія Драмы; связи ли подробностей, величественно, богато раскрытыхъ поэтомъ, вѣрности ли, съ какою слѣдовалъ Поэтъ Исторіи*), или простотѣ его созданія, и глубокому познанію характеровъ, угаданныхъ Поэтомъ въ сухой лѣтописи? Нѣсколько словъ о *характерахъ*: они должны были быть точно таковы, какъ изобразилъ ихъ Шекспиръ: легкомысленный, гордый, жестокий по прихоти, не по душѣ, потомъ упавшій духомъ Ричардъ; хладнокровный, величественный въ самомъ преступленіи, увлеченный успѣхомъ, смѣсь добра и зла, Болингброкъ; слабый, вѣрный обязанности, полагающій добродѣтель въ исполненіи словъ Властителя, Герцога Йоркскій, не отступающій отъ Ричарда, пока вѣнецъ былъ на головѣ его, потомъ столь же преданный Генриху; Герцогъ Авмерльскій, пылкій, добрый, но ничтожный; Герцогиня Йоркская — истинная женщина и мать; Королева — трогательная жертва бѣдствій; Норфолькъ, Нортумберландъ, Салисбури, Архіепископъ Кантербурийскій, Экстонъ — каждый съ своимъ рѣзкимъ типомъ, всѣ отгѣненные ярко, сильно, живые, движимые. Историкъ можетъ изучать Шекспирову Драму, чтобы послѣ того лучше понимать Юма и лѣтописцевъ Англійскихъ! Какія разительныя положенія, какіе неожиданные переходы страстей и отношеній, какое искусство внушить состраданіе, поселить ужасъ, увлечь читателя и зрителя въ положеніе дѣйствующаго лица... По общему суду критиковъ, это еще *не лучшая* изъ Историческихъ Драмъ Шекспира.

Впрочемъ мы не для того выставляемъ здѣсь Шекспира, чтобы по его гению осудить нашего Поэта: уродливый мужикъ этотъ, въ продолженіе 20 годовъ, написалъ 40 пьесъ, и въ теченіе многихъ лѣтъ ежегодно выставлялъ по драмѣ, а эти Драмы были — *Ромео и Юлія*, *Гамлетъ*, *Ричардъ II-й*, т. п., съ прибавкою еще каждое лѣто по одной Комедіи. Но мы говоримъ о Шекспировомъ Ричардѣ для поясненія словъ нашихъ, что *Борисъ Году-*

*) Только одно отступленіе сдѣлалъ Шекспиръ: представилъ Королеву, супругу Ричарда; но его первая супруга уже умерла въ это время, и она была только обрученъ съ малолѣтнею Изабеллою, Французскою Принцессою, но свадьба отложена была до ея совершеннолѣтія.

нояъ не выдерживаетъ суда Критики, разсматриваемый, какъ Дра-
матическое созданіе, и примѣръ Шекспира надобенъ былъ намъ
для опредѣленія, что и какъ извлекаетъ изъ чего-нибудь подобнаго
великій Драматическій геній.

Для большаго поясненія, мы укажемъ здѣсь еще на твореніе,
мало извѣстное Русскимъ читателямъ. Въ бумагахъ Шиллера, послѣ
смерти его, найденъ былъ полный планъ Трагедіи: *Димитрій
Самозванецъ*, и нѣсколько сценъ, уже написанныхъ. Намъ кажется,
весьма любопытно сличить здѣсь, какую идею и какъ образовалъ
изъ Исторіи Бориса и Самозванца Шиллеръ, безъ сомнѣнія, самый
Драматическій геній новой Поэзіи. Завязку его Драмы составляетъ
Самозванецъ собственно. Шиллеръ преображаетъ многое по своему;
но — повѣрять ли? Въ его Драмѣ найдемъ мы болѣе даже Исто-
рической правды, нежели въ Драмѣ Пушкина. Отчего? Поэтъ
угадалъ основную идею событій; подробности его поэтически полны,
стройны, разительны, великолѣпны и частныя невѣрности исчезаютъ
для насъ въ истинѣ Поэзіи. Конечно, не должно искать мѣстности,
національности въ Шиллеровомъ сочиненіи; но судите объ немъ,
какъ о поэтическомъ созданіи, и оно невольно изумитъ васъ. Вотъ
очеркъ сего сочиненія: *Дѣйствіе I*: Сеймъ въ Краковѣ. Самозва-
нецъ проситъ защиты Короля и Рѣчи Посполитой, какъ сынъ
Іоанна, у котораго отнялъ престолъ хищникъ, покушавшійся на
самую жизнь его въ младенчествѣ; но Провидѣніе спасло Димитрія,
и онъ вѣритъ, что Іоаннъ былъ отецъ его. Смятеніе Сейма; раз-
доръ партій. Сапѣга, другъ Бориса, разрушаетъ сеймъ своимъ veto.
Но Король позволяетъ принять участие въ предпріятіи Димитрія
Мнишеку и другимъ. Честолюбивая Марина составляетъ душу со-
общниковъ Димитрія. Она жаждетъ престола, какъ другіе жаждутъ
славы, корысти, приключеній.

Дѣйствіе II: Отдаленный монастырь, гдѣ скрывается отъ свѣта
монахиня Марѳа, бывшая супруга Грознаго, мать истиннаго Ди-
митрія. Бѣдный рыбакъ приноситъ въ обитель вѣсти о появленіи
Димитрія въ Польшѣ. Изумленіе, радость, ужасъ Марѳы: она готова
сомнѣваться въ смерти своего сына; она готова назвать сыномъ
чужаго человѣка, если видитъ въ немъ мстителя своему злодѣю.
Является Архіерей, присланный отъ Бориса, чтобы потребовать
отъ нея обличенія Самозванца; Марѳа отказывается, и изъ глуши
обители поражаетъ ужасомъ гордаго Царя на престолѣ. — Сцена

перехода Самозванца черезъ границу Россіи: передъ нимъ разсти-
лаются раздольныя Русскія страны; радость войска, грусть Ди-
митрія, при мысли, что война опустошитъ сіи прекрасныя области.
Возмущеніе въ деревнѣхъ, гдѣ жители пристають къ Димитрію.

Къ сожалѣнію, здѣсь оканчиваются неполныя сцены II-го дѣй-
ствія. Остальное Шиллеръ успѣлъ только изложить краткими
замѣтками. Вотъ какъ хотѣлъ онъ продолжать и окончить свою
драму.

Станъ Димитрія. Онъ разбитъ; но Борисъ не смѣетъ двинуться на него
послѣ побѣды, видя дурное расположеніе войскъ своихъ. Димитрій
готовъ предаться отчаянію. Казаки его бунтуютъ. Станъ Бориса.
Удаленіе Бориса въ Москву (куда бросился онъ искать подкрѣ-
пленія войску и утѣшать измѣну) производитъ безпорядки въ его
лагерь. Салтыковъ измѣняетъ. — Борисъ деспотствуетъ въ Москвѣ.
Не смотря на вѣрность многихъ Бояръ, онъ страшится общаго
бунта. Сцена между имъ и Архіереемъ (какая? неизвѣстно). Отсюду
приходятъ пагубныя вѣсти; Бояре бѣгутъ къ Димитрію, города сдаются,
народъ бунтуетъ, войско почти все переходитъ къ Самозванцу.
Сцена между Борисомъ и Ксенією. «Какъ отецъ (выписываемъ
здѣсь вполнѣ собственныя слова Шиллера), Борисъ долженъ воз-
буждать состраданіе; въ разговорѣ съ дочерью онъ открываетъ ей
всю свою душу. Онъ восшелъ на престолъ преступными средствами,
но, бывши Царемъ, онъ исполнялъ свои великія обязанности: онъ
отецъ своего народа, и думаетъ только о благѣ его. Если недо-
вѣрчивъ, строгъ, даже свирѣпъ, то это только для личной своей
безопасности. Своимъ умомъ онъ столько же превышаетъ все его
окружающее, сколько и своимъ саномъ. Продолжительное насла-
жденіе величіемъ, привычка повелѣвать, самовластіе его правле-
нія такъ увеличили его честолюбіе, что безъ трона онъ не доро-
житъ жизнію, не можетъ существовать. Онъ не обольщаетъ себя
слѣдствіемъ настоящихъ событій, но хочетъ остаться Царемъ до
послѣдней минуты, и не унижается, ибо онъ рѣшился умереть. Онъ
суевѣрно вѣритъ предчувствіямъ, и что прежде показалось бы ему
незначительно, то представляется теперь значительнымъ и важнымъ,
какое-нибудь частное событіе почтеть онъ голосомъ Судьбы, и
оно рѣшитъ жребій его. За нѣсколько времени передъ смертью,
характеръ его пережѣняется. Спокойно слушаетъ онъ самыя несчаст-
ныя вѣсти, стыдится гнѣва, какой оказывалъ прежде, распраши-

васть у вѣстниковъ въ подробности, и награждаетъ ихъ. Когда видитъ онъ событіе, по мнѣнію его, предвѣщающее ему окончательное рѣшеніе судьбы его, онъ удаляется молча, хладнокровно, рѣшительно. На минуту является онъ еще въ платьѣ монаха; отправляетъ дочь свою въ монастырь, думая, что сыну его, невинному дитяти, нечего опасаться. Онъ принимаетъ ядъ, и скрывается въ свои уединенные чертоги умереть тихо и одиноко». — Эти слова Шиллера не показываютъ ли, какъ глубоко, какъ поэтически понималъ и хотѣлъ онъ изобразить Бориса, не смотря на свои ошибки Историческія. Если бы Шиллеръ зналъ еще поэзію истинныхъ событій, какую прелесть и силу получила бы его Драма!

Романовъ является съ войскомъ. Онъ любитъ Ксенію, и хочетъ остаться вѣрнымъ потомству Бориса. Онъ спѣшитъ къ войскамъ, собраннымъ противъ Димитрія. Бояре и народъ бунтуютъ въ Москвѣ; Ксенія и Феодоръ въ оковахъ; послы отправлены къ Димитрію. Измѣны и притворное великодушіе довершаютъ торжество Димитрія. Онъ посылаетъ за инокинею Мареою: тутъ является неизвѣстный человекъ — убійца истиннаго Царевича, и открываетъ ему, что онъ Самозванецъ. Ужасъ, изумленіе, отчаяніе Димитрія. Въ бѣшенствѣ, онъ убиваетъ страшнаго своего обличителя. Борьба его съ самимъ собою; рѣшеніе—продолжать прежнюю роль; но спокойствіе, счастье его исчезли: не стало прежняго Димитрія, самоувѣреннаго, сильнаго, пламеннаго. Свиданіе съ Мареою: съ ужасомъ видитъ она въ немъ — отвратительнаго Самозванца! Молчаніе и притворство; мрачное, зловѣщее что-то въ самыхъ торжествахъ, какими знаменуется вступленіе Димитрія въ Москву.

Романовъ въ темницѣ. Ксенія успѣваетъ скрыться у Маронъ; Димитрій видитъ ее и влюбляется въ нее. Онъ уже Царь; но его помощники чужеземцы; совѣтъ терзаетъ его; буйство Поляковъ оскорбляетъ народъ; нарушеніе Димитріемъ обычаевъ производитъ ненависть. Димитрій хотѣлъ бы отказаться отъ Маринны, но это невозможно — Димитрій видитъ бездну, на которой стоитъ тронъ его. Маринна въ Москвѣ. Притворство и коварство взаимное. Ксенія отравлена ядомъ по повелѣнію Маринны. Печаль, отчаяніе Димитрія; но великолѣпная свадьба уже готова. Едва отступивъ отъ брачнаго алтаря, Маринна унижаетъ Димитрія своимъ презрѣніемъ, объявляя ему, что ей давно извѣстно было его самозванство, и что не самъ онъ, не любовь его, но только престоль Московскій оболь-

щали ее. Шуйскій предводительствуетъ между тѣмъ заговоромъ; бунтъ въ Москвѣ; смерть Димитрія (мы не упоминаемъ здѣсь объ эпизодѣ Романова, и Лодоиски и Казимира, вставочныхъ лицъ).

Разсматривая этотъ планъ Шиллера, неконченный, необработанный, едва наброшенный, согласимся, что, какъ Поэтъ Драматическій, Шиллеръ хотѣлъ создать нѣчто великое, превосходное; что онъ глубоко проникалъ въ возможность страстей; что онъ успѣлъ дать дѣятельную жизнь своему созданію. Его Димитрій Самозванецъ сталъ бы выше Бориса Годунова, созданнаго нашимъ Поэтомъ...

Но оставимъ всё сравненія и обратимся къ рѣшительному выводу о сочиненіи Пушкина. Мы сказали, что *Бориса Годунова* должно почестъ окончательнымъ твореніемъ Пушкина, до *нынѣшняго времени*; что въ немъ соединены всё его достоинства, всё недостатки, весь Пушкинъ, и вся его Поэзія, каковы онъ и она *были донинѣ*, и являются въ нынѣшнемъ своемъ состояніи. Когда вышелъ *Борисъ Годуновъ*, мы замѣтили, что онъ есть новый шагъ нашего поэта впередъ; что Пушкинъ, разсматриваемый *какъ Русскій литераторъ*, является въ немъ съ новымъ блескомъ; но *какъ Европейскій писатель*, какъ современный Драматистъ XIX вѣка, онъ далеко не достигаетъ совершенства, коего могъ достигнуть. Мы разсмотрѣли теперь подробно Бориса Годунова и указали на нѣкоторыя основанія и образцы Романтической Драмы — остается повѣрить справедливость прежнихъ нашихъ выводовъ симъ разсмотрѣніемъ и указаніемъ *).

*) Продолженія этой статьи въ слѣдующихъ книжкахъ «Московского Телеграфа» не оказалось.

Сюда не вошли двѣ маленькія рецензіи 1833 года, появившіяся въ *Литературныхъ прибавленіяхъ* къ «Русскому Инвалиду», № 34, стр. 270—271 (о «Евгеніи Онѣгинѣ»); тамъ же, № 69, стр. 546—547 («Домикъ въ Коломнѣ»).

Что касается литературы 1833 года, имѣющей отношеніе вообще къ біографіи Пушкина, то см. «Стихотворенія Н. Языкова», стр. 11—22 («Тригорское». Посвящено П. А. Осиповой); тамъ же, стр. 115—116 («Къ нянѣ А. С. П.—а»); Тамъ же, стр. 204.—207 («На смерть няни А. С. П.—а»).

Примѣч. В. Зелинскаго.



Оглавленіе 3-й части.

	<i>Стран.</i>
Критика тридцатыхъ годовъ	1
1830 годъ	1—123
«Евгеній Онѣгинъ»	1—37, 123—129, 130—133, 151—154
«Бахчисарайскій фонтанъ»	37—38
1831 годъ	38
«Борисъ Годуновъ»	38—120, 146—151, 171—213
«Повѣсти Бѣлкина»	120—123
1832 годъ	123—151
«Стихотворенія Пушкина»	133—145
1833 годъ	151—213
«О характерѣ и достоинствѣ поэзіи А. С. Пушкина»	154—170



1
23
54
38
38
13
23
51
45
13
70

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

В. А. ЗЕЛИНСКИМЪ:

Собрание критическихъ материаловъ для изученія произведеній-И. С. Тургенева. Два выпуска. Москва, 1884 г. Ц. 4 р. (Осталось нѣсколько экземпляровъ 2-го выпуска).

Историко-критическій комментарий нъ сочиненіямъ **Ө. М. Достоевскаго** (сборникъ критикъ). Съ портретомъ **Ө. М. Достоевскаго**. 3 части. Москва, 1885—1886 г. Цѣна 3 р. 25 к. (Каждая часть продается отдѣльно: 1-я и 2-я части по 1 р., а 3-я—1 р. 25 к.).

Сборникъ критическихъ статей о **Н. А. Некрасовѣ**. Три части. Москва, 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій въ русскомъ языкѣ. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ **К. Говорова**. Москва, 1886 г. Ц. 35 к. (Печатается 2-мъ изданіемъ).

Алфавитный справочникъ по русскому правописанію. Составленъ по **Гроту**. Изданіе 2-е. Москва, 1887 г. Ц. 25 к.

Русская критическая литература о произведеніяхъ **А. С. Пушкина**. (Хронологическій сборникъ критико-библиографическихъ статей). 3 части. Москва, 1887—1888 г. Ц. 3 р.

Русская критическая литература о произведеніяхъ **Л. Н. Толстого**. 2 части. Москва, 1888 г. Ц. 2 р. (3-я ч. въ печати).

Зрительный диктантъ. (Самодиктованіе и самоисправленіе). Новая система для самоизученія русскаго правописанія. Москва, 1888 г. Ц. 40 к. (Печатается 2-мъ изданіемъ).




Складъ изданій **В. А. Зелинскаго** въ Москвѣ, на Патріаршихъ прудахъ, д. Миролюбовой.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку каждой книги 10 к. и сумму менѣ рубля — почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Цѣна 1 руб.

LIBRARY
HON. P. W. W. W. W. W.
CARIBBEAN
LIBRARY

Stanford University Libraries

3 6105 015 006 799

PG
3356
Z42
v.3

XY11

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--



THE 34

3-49